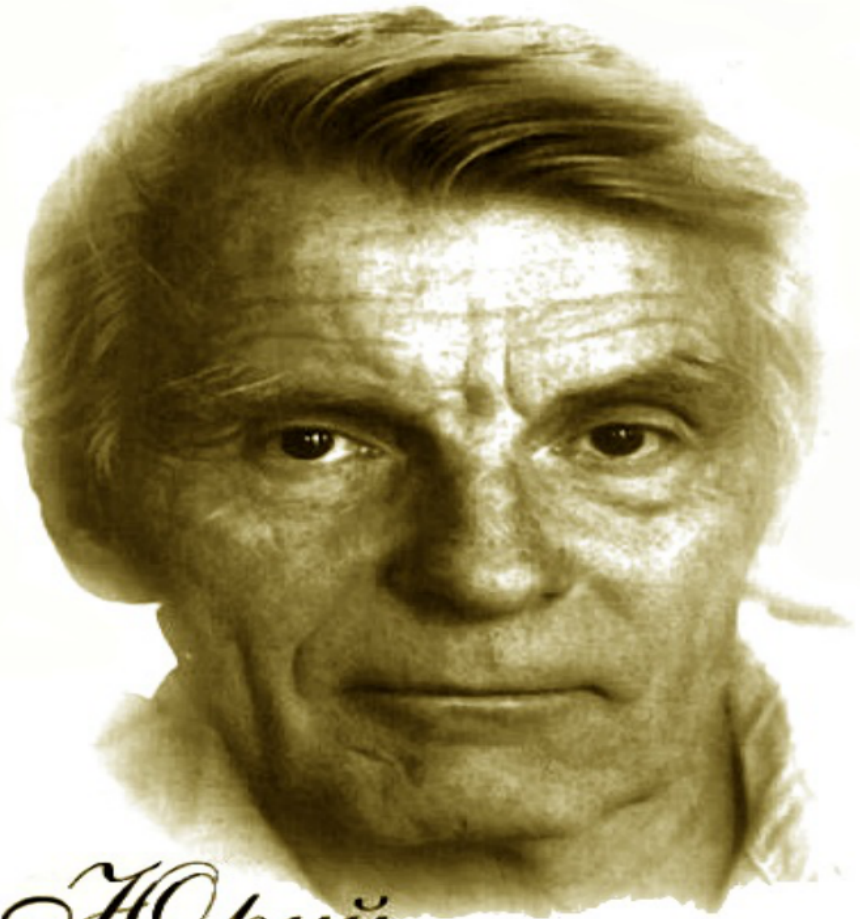

Юрий НАЗАРОВ

Только не о кино

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Актер Юрий Назаров родом из Сибири. Это его гнездовье, где прошло военное и послевоенное детство — с заснеженными окнами и раскаленной докрасна печкой зимними вечерами, с настоящей мальчишеской дружбой и мечтами о мореходке. Однажды «футбольный бог» и премьер школьного драмкружка, в будущем замечательный писатель Виктор Лихоносов решит его судьбу раз и навсегда — только искусство, сцена! Вместе с другом поедут они в Москву поступать в театральное училище. Потом будут метания, стройка в Казахстане, возвращение к актерской профессии… И, наконец, кинематограф, где сыграно более полутора сотен ролей в фильмах «Непрошеная любовь» (по рассказу М.Шолохова «Чужая кровь»), «Кавказский пленник», «Горячий снег», «Последние залпы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Баллада о Беринге и его друзьях», «Давай поженимся», «Маленькая Вера», «Две судьбы»…

Урывками, в перерывах между съемками, вел он записи, поверяя душу слову. Так сложилась эта книга — о собственной судьбе в судьбе Родины, о людях и событиях, с которыми столкнула жизнь.

- Юрий Владимирович Назаров
  - «Все русское искусство — за людей!»
  - Что-то вроде предисловия
  - Но как же без любви?
    - Из моей жизни
    - Путешествие из Москвы в Заельцовку[4]
    - Потолкуем о счастье
    - Мои корни
  - Во что верил
    -
    - О дружбе
    - О моей профессии
    - Как преподавать литературу в школе
    - Опять о любви
    - К Шолохову — за смыслом, жизни
  - «Вооще»
    - Немножко собственной доморощенной философии
    - Кое-что по поводу «Маленькой Веры», или Мой злосчастный триумф
    - Маяковский и наша «перестройка» сознания и

        - истории
        - Интервью с самим собой
    - Что было, что будет, чем сердцу успокоиться
        - Самолеты-перелеты
        - Ещё о профессии
        - Чем мне дорог Тарковский
        - И мой Пушкин
        - О телефильме «Кавказский пленник»
        - Ах, если бы…
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12

Юрий Владимирович Назаров
Только не о кино

«Все русское искусство — за людей!»

Эти слова замечательного актера Юрия Назарова я вынес в заголовок нашего с ним диалога в книге «Созидающие», куда вошли беседы-откровения с сорока наиболее заметными людьми России, сохранившими свое лицо в гнилостную эпоху рыночной экономики и не поспешившими присягнуть на верность сначала горбачевскому, а потом и ельцинскому правлению.

В плеяде русских артистов-классиков я особо выделяю и высоко ценю творчество Юрия Назарова. Услышал о нем впервые на съемках «Андрея Рублева», где я работал консультантом. Так случилось, что, несмотря на тесный контакт со всеми почти участниками съемочной группы, Юру я увидел на фотопробах и отснятых начальных кинокадрах. Тарковский сказал тогда: «Савва, вот этот красавец будет играть сразу двух князей — старшего и младшего». — «Слушай, Андрей, потрясающе! У него лицо словно списано с икон XV века «Битва новгородцев с суздальцами» или «Молящиеся новгородцы». — «Ты знаешь, — продолжил Тарковский, — я с ним мало общался, но чувствую, что там такая мощь!» — «А сыграет достоверно, без актерской клюквы?» — «Нет, старик, клюквы не будет точно». Тогда при отборе актеров мы больше всего опасались «псевдятины» и внешнего прочтения роли.

На съемках «Рублева» мы с Юрой так и не сошлись близко, как, например, с Иваном Лапиковым, Михаилом Кононовым или Анатолием Солоницыным. Всю последующую историю отечественного кино без Назарова представить невозможно. Нет практически ни одного магистрального советского фильма, где бы он ни сыграл главную или эпизодическую роль. Причем назаровские эпизоды дорогого стоят. Юрий Назаров из гвардии Жженова, Гостюхина, Стриженова, Заманского, Михайлова — высоко чтящих достоинство и честь русского актера. Любую роль он старается сыграть филигранно — не важно, положительного или отрицательного героя он изображает. Чтобы создать столько разных образов, надо иметь богатый духовный опыт, а у Назарова он, безусловно, присутствует. Я рад, что в годы «катастройки» близко сошелся с Юрой. Он не предал годами выношенных идеалов патриотизма и подлинной любви к России. В нашей беседе из цикла «Созидающие» Назаров говорит: «Все русское искусство, начиная со «Слова о полку Игореве» и еще раньше, с

«Поучения Владимира Мономаха» — все оно за громаду. Вся величайшая русская культура на этом стоит… За други своя, а не за собственную задницу. Сколько я знаю талантливейших людей, которые очень серьезно относились к самим себе и вредили этим общему делу! Так что сегодня надо все-таки за други своя. Вот вычитал дивные слова Сергия Радонежского: «Любовию и единением спасемся».

Да, дорогой Юрий Владимирович, только великая вера спасет русского человека. На ней держится твое творчество и искусство всех, кто противостоит разнузданному швыдковскому глобализму. А он хуже любого западного, ибо там люди, подобные тебе, не загнаны в угол и не презираемы так, как презирают российские «олигархи» и заправилы грязного шоу-бизнеса истинных служителей прекрасного в России.

Савва Ямщиков

Что-то вроде предисловия

Быть может, в Лете не потонет…

А.С. Пушкин

На старости я сызнова живу…

А.С. Пушкин

Кто даст мне крылья, чтобы настигнуть дни мои прошедшие?..

Б.В. Шергин

Затеял я писать эту «книгу» не вчера. Ну, может, не с первых записей заведенного еще в 7-м классе дневника — там писалось все-таки для себя еще. Но со временем, поскольку поиски, строительство себя, самовоспитание не замыкались только на себе, а постоянно искали своего места в общей жизни, с течением времени все отчетливей проявлялась мысль: поделиться, предложить свой опыт людям. А вдруг не такой уж он и пустой? Вдруг в нем что-то может оказаться и полезным людям? Да детям собственным хотя бы…

И прислал мне в 1977 году мой — школьный еще! — друг Лихоносов Виктор Иванович (член Союза писателей, лауреат Госпремии РСФСР и «вооще»!) «Книгу для черновой записи шариковой ручкой» (тетрадью ее действительно не назовешь: страниц 300, а то и больше… Истинно — книга! И точно — только шариковой. Жидкие чернила расплывались). И написал на титульном листе: «Капище моего сердца — Ю. Назаровъ (так и написал: с «ером», с «ъ»!).

По В.И.Далю: «капище»— идолище, жрище, кумирня, вообще божница идолопоклонников; по С.И.Ожегову — просто языческий храм. При чем тут Ю. Назаровъ? Да и со своим сердцем? Ну да Бог с ним, с Лихоносовым, он — писатель, ему видней… Да и звучит ведь тоже: капище… А предпослал он это «капище» таким наставлением: «И благословили его не только друзья, но и сам Господь писать заметки о своей жизни — для детей своих и в назидание будущим поколениям». Во как! Благословили… В

назидание!..

Но я, с вечными моими не то самостоятельностью, не то упрямством, а может, и поперечностью (как в сказке, та поперечная жена, которая, даже утопнув, поплыла не по течению, а против!) — я, конечно же, никаким «капищем» свои опыты именовать не собирался. Не надо нас подталкивать. Мы сами с усами. Конечно же, никакое не «капище»… При чем тут божница идолопоклонников?

А что же тогда?

Первые слова, написанные в этой «Книге для черновых записей» моей рукой: «Радость неразделенная»… Не подойдет?»— это я сам с собой по поводу будущего названия размышлял… Радости слишком много было. Переполняла! И одно только горе: постоянно не было рядом того, с кем данной конкретной радостью надо, необходимо было поделиться. Не одинок был, нет, никогда, но вот рядом друг, а радость идет, которой необходимо поделиться с детьми, а их сейчас нет под рукой, а потом — наоборот и т. д. и т. п. Очень диалектическое название… С устремлением постоянным, решил я сам с собой тогда, где-то в районе конца 70-х.

По сусекам дневников и записных книжек

19 января 1961 (Минск, киноэкспедиция по картине «В трудный час», 24-й год мне, из неотправленного письма).

Позавчера, прибыв с рассветом на съемку и увидав дивный восход над малозаснеженной холмистой равниной, над кладбищенскими березами, увидав чудные розовые отблески восходящего солнца на заплесневевших нежной зеленью бревенчатых серых стенах старых амбаров, на зелено-голубой церкви, на березах — я хотел писать тебе… Писать обо всем: об этом рассвете, о счастье восприятия всем своим существом, каждой клеточкой, каждой жилочкой этого роскошного солнечного мира, о счастье, которое непосильно одному, которым нужно делиться и делиться с тем, кто может принять это счастье… Тысяча бесшабашных, чистых и искренних, нахально-обаятельных предложений к тебе рвались из меня…

А правда, очень много радости было: солнце — радость! Погода, природа, простор, снег, степь, ливень, гроза, зелень, весна!.. А плавание? Лыжи?.. А лошади?! Это уже не просто радость, это — восторги, ликование! Неудержимое, неостановимое! Душа поет, жизнь — как на крыльях! Ветер в ушах свистит!.. А море!!

А Прага? Рим? Киев?.. А Дальний Восток! А Сеул?

А музыка? А поэзия? Живопись? Литература?.. Да опять всего не перечислишь, не переберешь… Как мы с Виктором (с ним же, с Лихоносовым) в молодости страницами друг другу из «Тихого Дона» шпарили! Наизусть! Взахлеб! Не уча специально. От восторга!

> Всякое учение имеет то свойство, что оно гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником.
>
> *Франческо Петрарка. «Моя тайна»*

Другого подтверждения, кроме Петрарки, как-то сейчас под рукой не оказалось, но считал ведь Петрарка, что любимое, т. е. очень сильно эмоционально подкрепленное, «внедряется в душу гораздо легче»… Вот так же у нас с Витей и с «Тихим Доном» было. Да только ли с Витей? И только ли с «Тихим Доном»?..

А любовь? Тоже ведь не сказать, чтоб она меня совсем уж не коснулась, не тронула, не задела своими крылами, не осияла своим Светом. Бывало… Задевала, касалась. И стишки пописывали, и песенки сочиняли… И не в муку, не в тягость сочинительство-то это бывало! Само изливалось. Не могло не изливаться, поскольку уж очень душеньку-то распирало…

По сусекам дневников и записных книжек

2 октября 1990 г. Москва. Человек— не сказать, чтоб смеялся, — его… распирало смехом. А еще вернее: распирало человека счастье. Может такое быть? Перло счастье из человека, нагло, неудержимо, не стыдясь и не совестясь окружающих… И человек-то был не молодой, давно привыкший держать себя в руках и давным-давно держание это ни за труд, ни за подвиг не почитавший, а тут вот… Да, наверно, и не заботился сдерживать-то себя — знал, что ненадолго это. Очень-очень ненадолго…

С-час-тье — сейчас, в этот вот миг, в сей час побудет — и все… Так оно всегда было, есть и будет. И этот миг не был и не станет исключением…

Преподавал у нас когда-то в Щукинском училище русскую литературу Павел Иванович Новицкий, так он считал, что стихи в определенные моменты жизни должен, обязан писать каждый нормальный человек, ну а поскольку я был вроде живым,

нормальным, то и…

9 июля 1959 г. (22 года, каникулы перед последним 4-м курсом Щукинского; из «душевного штопора», в котором крутило и било меня в 19 лет в 1956-м, давно вышел, в душе и в делах относительный порядок, хотя… проблемы, конечно, были. Когда было, чтоб их не было?..)

Полтретьего утра. Первая ночь дома. Родной Новосибирск, Заельцовка… Не спится… Говорят, привычка к московскому времени…

За окном мирно и деловито уркотел трактор. На душе светло и спокойно-радостно: труд! созидание! Далекий милый Казахстан вспоминается… В темноте комнаты — частые синие электрические вспышки… За окном — только родненький трудяга трактор. Тишина…

И вдруг по всему небу глухое, темное, мрачное грохотание, все сильнее, сильней, с угрюмостью и упрямством убийцы… Глупая фантазия: атомная бомба? Разрушение, смерть…

И тут же яркий отблеск на потолке и — трррреск!.. Задорный! Озорной, мальчишеский какой-то… родной, природный, не искусственный, не рукотворный… Со здоровым, честным и открытым (не скрытным, не подспудным!) треском и скрежетом. И разгульный рубаха-парень гром открыто и широко раскатился во все края и стороны!.. Проказница-гроза творит свою веселую и благодатную работу. Посыпался, заплямкал и — вот уже полил с крыши обильный, полный дождь.

…Закурил махры, вышел на крыльцо… Темно. Один. А дождь хорош! Все наяривает и наяривает! Как плясун чечетку: вроде приутихнет, притомится, передохнет — и вдруг — сильнее! еще сильнее! еще!! Еще!!!.. Темно, один… Дома спят мои труженики. Им работать с утра. А то бы сам кинулся плясать вместе с дождем, да пришлось бы их потом беспокоить…

Вот так и жить — все прекрасно! И — никакой атомной бомбы. Это не тот «разгул»… Этого хулиганства допустить никак нельзя. Пусть водород в гелий превращается на Солнце, на то оно и Солнце… А здесь — Земля, люди живут, и подобные безобразия здесь абсолютно недопустимы. Ой… чтой-то, прям, стихи из меня толкаются, просятся…

Я сегодня ночую дома.
Только с поезда. Из Москвы.
То ль привычка к московскому времени
Гонит сон от моей головы?
То ли воздух родной, знакомый?
Шелест ветра, журчанье листвы…

Я не сплю, размышляю в темени…
Синий всплеск — знать, зарниц сиянье…
Мирно трактор урчит под окном.
Я не сплю, вспоминаю недавнее:
Казахстан, мостопоезд, Дон…
На душе и светло, и уверенно:
Созиданье и труд кругом!
Вдруг — угрюмо, глухо и медленно,
Как упрямый убийца — гром.
Может, это не гром? Может, бомба
Водородная?.. Давит всех,
Разрастаясь, рыча утробно,
Погребая под рыком смех?..
И сейчас же — новая вспышка
Ярко брызнула на потолке…
Бодро, весело, как мальчишка,
Первый отзвук оттарахтел —
И за ним — развернулся в ударе
И! — пошел ковылять-крушить
Гром — разгульный рубаха-парень
С широтою русской души!
Этот — свой! Прямой и открытый,
Добрый труженик-великан!..
Дождь пошел… Заплясал, запрыгал,
Все сильней!. Как чечетку рвал!
Все сильней, удалей, бесшабашней!..
Чуть вздохнет лишь — и шибче наддаст!
Полоскал и луга, и пашни…
И работал по-настоящему!
И работа как пляска неслась!
И тебе с ним плясать хотелось!
Жить, смеяться, работать, любить!..
Только вот с хулиганством дело
Надо с атомным прекратить.
Водород превращается в гелий
Пусть на Солнце, а тут — Земля:
Люди ходят, детишки бегают,—
Это здесь допустить нельзя!
Есть турбины, есть генераторы —
Расщепляй, извлекай, крути…
Совершенствуй хоть тот же трактор
Иль к Луне проложи пути,
Только помни, что ты — живущий.
И дала тебе жизнь — Земля.

И себе ее портить, а, пуще,
Всем другим — ну никак нельзя!

Да… Уже пять. Трактор заливается… Наверно, хорошо после дождя, сейчас пойду подышу. Стих вот написал… Называется «Дружеское послание (или — обращение) молодого новосибирского жителя поджигателям войны».

А душу можно ль рассказать?

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»

Судя по интонации, Лермонтов не очень твердо верит, что можно. И никто за прошедшие с тех пор более полутора сотен лет особенно не преуспел ни в возражении ему, ни в переубеждении его и нас, что таки можно…

Не знаю, можно ли, но — надо. Если что-то и надо рассказывать, так только душу. Да вся культура человеческая многовековая — что это, как не постоянная попытка «рассказать душу»? Вся культура. И духовная, и материальная. Кто их разделит, представит в очищенном виде? Они же переплетаются, взаимопроникают друг в друга. И обе — не для себя. Для общества, для людей. Для мира, для громады.

Только душой человечество и связано. Без нее — особи, индивидуумы. Как в животном мире. С ней — человечество, семья. Единство. И борьба вечная, но все равно — единство! И тот, кто постарался, помучился, пострадал для общей души человеческой, пытаясь понять ее, разобраться, для начала в своей собственной хотя бы, но, сознавая ее частью общей души человеческой, тот и остался в памяти людской. Чем более преуспел на сем поприще, тем более и памятен и чаще поминаем людьми. И Вы, Михаил Юрьевич, с вашими сомнениями «… можно ль рассказать» — в том числе.

Как-то в бумагах моего внука, тогда первоклассника, попался мне такой вот интересный документ: ДЛЯ НАС В СТАРАСЬТИ… Не могу взять на себя смелость менять авторскую орфографию и пунктуацию. Мне кажется, что редактура — всякая, даже в тех редких случаях, когда она не лезет в соавторство, даже саморедактура — все-таки калечит, уродует, а то и убивает живое тело вдохновенной авторской мысли. В этом и Пушкин со мной солидарен (или я с ним):

Как уст румяных без улыбки,

Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю…
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей…

И не только Пушкин. Был у нас еще такой критик А.В. Дружинин, который различал у Л.Н.Толстого(!) «безграмотность офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже» и «безграмотность нововводителя и сильного поэта»! Есть, стало быть, и такая. Есть!.. Ну это меня слегка занесло. От бумаг внука аж до Льва Толстого! Хотя, чем черт не шутит…

Еще народу русскому пределы не поставлены, Пред ним широкий путь.

Н.А.Некрасов

«План», по крайней мере, у Федора уже есть! «Для нас в старасьти». Стало быть, и мне годится:

1. самае главнае штобы книга была на другие не похоже.
2. надо иметь терпиливось и знать што пишиш…

Ну и там еще 8 пунктов… Не все, безусловно, но что-то из этой программы мне вполне подходит. Бесспорно надо «знать што пишиш» и… тоже как-то возжелалось, чтобы моя книга была на другие «не похоже»… Действительно, что ж похожие-то одна на другую писать? Все-таки творчество, как-никак… Не конвейер, не поточная линия…

По сусекам дневников и записных книжек

1961 г., город Минск.

30 января (гостиница «Минск», во время съемок фильма «В трудный час», второй мой фильм после окончания училища, первый — «Последние залпы»), Съемки нынче нет. Проснулся в 10 утра — солнце било, прямо-таки лупило лучами в окно, звало на улицу, гулять — не встал… Проспал, провалялся до часу дня… В 3 вылез-таки на улицу размяться.

Солнце уже не «било»… Этакая милая предвесенняя четкость и чернота на улице: почерневший снег, крыши, стены домов… черный асфальт… мокрый… С крыш льет обильно, по-мартовски… Видно

далеко.

Хотя дали еще не весенние, предвесенние: горизонт расширился, но еще не ясен, не прозрачен. В теплой предвесенней грязной дымке — впечатление все той же мягкой черноты.

А воробьи ору-ут!.. Нахохлились, мерзнут, но — орут! Нахально, дружно, сидя на ветках огромными компаниями. Настойчиво, неотвязно зовут весну! Которая, как бы дразня, оторвала их от обыденных зимних забот и напомнила о себе. Желанной, вожделенной, ожидаемой так страстно… Орут, как скотина перед обедом, которой напомнили о кормежке, но еще не несут.

Выбрался на какие-то захолустные улочки с деревянными домишками, голыми причудливыми тополями, ивами, с рыхлым, черным, хранящим все следы последних дней снегом. Небо и солнце закутаны в нежные, но не пропускающие лучей облачка, сквозь которые солнце улыбается еще робко и неуверенно, но уже ласково и с лукавинкой. Словно женщина… очаровательная, желанная, тайно любимая тобой женщина дарит тебе первую приветливую улыбку. Она еще не сказала и не думала говорить «да», еще неизвестно, скажет ли вообще, но — она тебя заметила! И впервые ласково, приветливо улыбнулась. И ты счастлив!

Счастлив до краев, счастлив сегодня, сейчас. Для тебя в этой улыбке и радость, и надежда, и обещание, разрешение верить в счастье, необъятное, полное щедро плещущее через край, разрешение верить и радоваться блещущему счастьем будущему…

Недолго оно, солнышко, улыбалось. Может, всего раз и улыбнулось-то…

И ему в ответ ослепительно улыбнулись санные полированные колеи и вся золотисто-голубая от этой улыбки, искрящаяся снегом, тихая, малоезженая, безлюдная улочка. Потом облака плотнее укутали солнце. Оно уже не улыбалось, или просто не стало видно его улыбки из-за облаков… И наступил холодный, немного грустный, обыденно-серый предвечерний час.

> Нет выше наслаждения, чем созерцание природы. Земля ведь рай. И жизнь — тайна… Прекрасная тайна! Прославляйте жизнь.
>
> *А.К.Саврасов, художник, поэт русского пейзажа, автор щемяще пронзительных «Грачей» («Грачи прилетели»)*

Мой дед занимался когда-то фотографией. Давно еще, на заре нашего ушедшего нынче XX века. В Сибири, в

интеллигентном, университетском городе Томске. Любительски занимался, в порядке «хобби», но художественной фотографией. Кружок там у них был, или общество, или клуб — не знаю, да и спросить уже не у кого. Но что я запомнил из всего этого (возможно, по моей извечной привычке к систематизации, систематизированию), — усвоил от деда еще, что вся их фотография (художественная) разделялась на 3 вида: портрет, пейзаж и жанр. Дед был жанристом, хотя иногда что-то пробовал и в пейзаже, и в портрете (все бабку мою, жену свою любимую, — и в жанре ее же: то с курями, то за швейной машинкой, ей, правда, до звания «бабки» далеко тогда еще было).

Если мое «творчество», жизнь, душевные склонности, устремления, литературные упражнения, во всяком случае, подвергнуть вот такой же «систематизации»?..То я, как ни странно, скорей всего…пейзажист?.. Вот тоже: актер и… пейзажист. А что делать? Так всю жизнь и маюсь. Ну, изредка отвлекусь или увлекусь жанром или портретом…

Ну еще маленько философией доморощенной, философствованием… В изобразительном искусстве философию ведь не изобразишь, она не визуальна, она — болтовня, любомудрие… Да и в актерстве философию в лоб не покажешь. А в литературе!.. В литературе со всем остальным сложней: и с портретом, и с пейзажем, и с жанром, а с философией-то… Болтай — не хочу!.. Вот я и хочу.

Итак, выучили «на артиста», люблю пейзаж, а тянет… к философии. С тем и примите.

Но как же без любви?

Из моей жизни

1953 год, 3 января. (Возраст — неполных 16 лет, еще Сталин жив! 73-я мужская средняя школа Кировского района города Новосибирска. Города, в котором родился и прожил до 17-ти лет, до окончания школы. А это — 9-й еще класс, зимние каникулы, разговор с самим собой, начистоту.) Но я не сказал, что из всего этого можно сделать еще один вывод… Правда, самый неприятный для меня, но, пожалуй, самый верный: просто я — дурак, который видит в каждом пустяке то, чего вовсе нет, а что только хочется ему (т. е. мне, дураку) видеть…

> Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас… положим, у нас хоть и не так хорошо, но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше потому, что больней. Это совсем особенная логика. Но все-таки логика, и именно — логика любви.
>
> *М.Е. Салтыков-Щедрин*

Жил-был на свете дурак Иван Иванович…

А.П. Чехов. «Шляпный сезон»

Весна 1991-го… Бурлит, пузырится и разливается «новое мышление». «Коммунизм» вроде еще у руля, но приумолк, растерялся, сказать нечего… До Августа, до триумфа «демократии» и позора всей страны еще далеко. Все как-то быстро и бойко «перестраиваются», а я — все никак… Не могу начать (или «начать»?) мыслить по-новому, все как-то по старинке… А тут уже 6-й съезд кинематографистов подоспел… А я на нем — делегатом(!)

Снялся я когда-то в роли Главного Инженера Проекта (ГИПа), который нашел какое-то экономически очень выгодное решение (полтора миллиона экономии, до «перестройки» еще, в твердой валюте 1981-го года, но проведение которого в жизнь почему-то жизнь всем осложняло и чуть ли не обижало всех: жену, организацию проектную, тетю Машу уборщицу — ну, всех: «Ну

как же? Проект уже составлен, одобрен. Ожидается премия! Ну и что, что новый вариант даст 1,5 млн. экономии? Кому? Не нашей же проектной организации, а неведомо кому…» «Государству». «Так государству, а не нам, не нашей организации… А разработка нового проекта потребует нового финансирования, тыщ 10, не меньше, которые лягут на НАШУ организацию. А сэкономленных полутора миллионов нам никогда не видать! Из-за чего же ты бьешься?!»

В общем выходило, что он, герой мой, — дурак. Положительный — но дурак. Он слабо оборонялся перед женой: «Я бы на твоем месте гордился, что у тебя муж — дурак… Не будет нас, дураков, — кто ж работать-то будет?» Он действительно был положительным, но почему-то оказывался один против всех. Он вроде был за всех, за всеобщее благо, но это всем как-то очень мешало. Без этого его «блага» всем получалось, может, и не так хорошо, но как-то привычней, спокойней…

К чему я об этом? А к тому, что сам себя сегодня ощущаю чем-то вроде того своего героя. Вроде дурака… Хотя и с самыми благими, да вроде бы не такими уж и глупыми (с моей точки зрения) намерениями.

Съезд наш зарылся куда-то в дебри процедурных проблем, а какие тут процедуры, когда вообще неизвестно, ЧТО строить и ЗАЧЕМ строить. Отрицание — оно все-таки проще и скорее объединяет людей (V съезд кинематографистов, к примеру): всем что-то мешало жить и развиваться — ну, собрались вместе да и убрали, снесли, своротили с дороги эту всеобщую преграду. А вот строить — тут каждому хочется свое: тому с рюшечками, этому с завитушечками, третьему еще что-то, четвертому — двадцать пятое… Поди тут, договорись. Ну, основное направление (у нас, в кино) вроде вырисовывается, нащупывается. Ну очевидно же, что настрадался советский народ за предыдущие 70 пуританских кинолет без лицезрения голых задниц (и передниц тоже, обоего пола). Мы-то, глупые, в пионерах пели: «Отцы о свободе и счастье мечтали…», чтоб достичь свободы и счастья, сами себя призывали: «Работай, учись и живи для народа…» А тут как все просто-то оказалось: заголил, показал у кого что есть — тут тебе и свобода! тут и счастье! На кой черт еще мучиться — работать да учиться?.. Жрать, правда, нечего стало, ну это — «коммунисты виноваты», пусть сами и выправляют положение, а мы… «Мы ждем перемен!» Ждем!!!

Не знаю, как там у нас в сфере материального производства с рыночными отношениями, но в кино, по-моему, давно и прочно воцарился рынок. Причем, самый черный.

А мне почему-то, возможно, по причине моего сталинского

еще пионерского и комсомольского воспитания, все так же упорно, как тогда, в детстве и отрочестве, кажется, что главная задача искусства — просветительская. Не потребительская. Потребительское — вот это для рынка. И оно бывает очень высококачественным, даже высокохудожественным, для любителей самого изысканнейшего, «интеллектуального кайфа».

У нас почему-то считается чуть ли не бесспорным и само собой разумеющимся, что получать кайф от саксофона — извлекаемых из него звуков — гораздо интеллигентней и благородней, чем получать кайф на продавщице гастронома? Это, конечно, «Такси-блюз», самые свежие, самые последние эстетические впечатления, прямо со съездовского экрана… Но ведь кайф — это же для потребления. Для самоудовлетворения. Не для жизни — взращивания ее, защиты, воспитания, поступательного ее движения. А я где-то краем уха слыхал (вроде В.М.Песков по ТВ, может, сам сказал, может, цитировал кого), что уважение к жизни — вот универсальная этика (!). И очень я с этой формулировкой, согласен. Да ведь, помнится, нас когда-то призывали (давно, правда, в прошлых веках) «сеять разумное, доброе, вечное»… или хотя бы «чувства добрые… пробуждать»… и вроде глупостью это не считалось. Собственно я-то (когда-то, смолоду) стремился в эту область человеческой деятельности (в искусство, в артисты) только ради этого — «сеять разумное, доброе, вечное» и «чувства добрые… пробуждать», а никак не ради того, чтобы демонстрировать (с экрана ли, со сцены) способы выпускания кишок или сексуального общения (с покойниками ли, на подоконнике ли), чем сейчас так решительно и углубленно занялась наша рыночная кинематография.

Ну а НЕ рыночная? Осталась же еще такая? Осталась… Но ее дела и свершения (для меня, в моем восприятии) нисколько не отрадней, чем дела рыночной. Тут — полная растерянность, недоумение, ничегонепонимание и, естественно, ничегонеделание. Даже такая, казавшаяся очевидной и вроде бы сама собой разумеющейся вещь: не было у нас всезатопляющего изобилия шедевров, потому что «давили» сверху: система, начальство, тоталитаризм. И все-таки были шедевры! Немного, не каждый день, но — были! Прорывались и Тарковский, и Иоселиани, и Шукшин… И другие прорывались. И кино было! А сегодня? Никто не давит, не душит, не «учит», не «притесняет», не руководит, а где шедевры? При застое и давеже сверху — были, а при свободе — где?

По поводу шедевров, о создании которых мы так бурно печемся и об отсутствии которых столь искренне и горько сетуем, когда-то очень мило выразился Анатоль Франс: «Для того чтобы

создать шедевр, нужна истинная гениальность и вовсе не обязательно заранее принятое решение». Гениальность, конечно, штука неплохая, но ведь известно, что даже люди, ею бесспорно наделенные, шедевры создавали не каждый день, а все-таки от случая к случаю. Стало быть, кроме гениальности, или хотя бы таланта, еще что-то бывало необходимо… Еще что-то бывало побудительной причиной! Что? Случай? Стимул? Толчок какой-то?.. Реакция на что-то?.. Может быть, мысль, идея? Мне почему-то кажется, что все-таки— мысль… Счастливая находка мысли… Не суррогата мысли, не болтовни, не пустых словес, не видимости, а мысли, осмысления. Да и вообще мысль, как мне кажется, всегда лежит в основе всякого разумного человеческого созидательного деяния. И сегодня, если мы хотим какого-то созидания, а не разрушения, не развала, не анархии, не крови, не победы идиотизма и безответственности (это еще 1991-й, до августа еще!), сегодня мы должны, наверно, прежде всего осознать самих себя: кто мы, что мы, откуда, из каких корней — или совсем без корней? — осознать себя в истории. Не в выдуманной. Не в проклятой. Не в «осужденной» (или поощренной…). Мне кажется, историю нельзя ни проклинать, ни осуждать, ни поощрять, ее можно — и нужно! — только изучать. И — делать из нее выводы. Восхваление своей истории тоже ни к чему хорошему не приводит. Ну в этом-то мы вроде уже убедились… А осуждение и проклинание ее нисколько не менее пагубно. Если не более.

Отечественная история наша никогда не была простой. Она еще П.Я. Чаадаева доводила до истерики: «Опыт веков для нас (имеется в виду Россия. — *Ю.Н.)* не существует… общий закон человечества не для нас». «Мы ничего не дали миру», «ничего не взяли у него». «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», «…мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомков…». «Ныне же мы… составляем пробел в нравственном миропорядке», вариант: «…в порядке разумения» (П.Я. Чаадаев, из первого «Философского письма» и его вариантов). А за ним и Л.Д. Троцкий: «Россия приговорена своей природой на долгую отсталость», она «являлась лишь поверхностной имитацией высших Западных моделей и ничего не внесла в сокровищницу человечества». Ну уж Вам-то, Лев Давидович, грешно так клеветать: «ничего не внесла». Это Чаадаев еще не мог знать, а уж Вы-то не могли не знать и о Менделееве, и о Достоевском, и о Чайковском и о многих-многих других «внесениях» России в «сокровищницу человечества».

Если Чаадаев имел еще какие-то основания так сетовать и сокрушаться по поводу наших несовершенств — XIX век, наш

блестящий, фантастический, изумивший и обогативший мир, был еще впереди, — а уж нам-то… с Л.Д. Троцким вместе. Поль Валери вон заявлял, что ему в истории мировой культуры известно только три чуда, три случая ее массового взлета: это Античность (Др. Греция и Рим, 7–8 веков, от V–IV до н. э. до 4-го нашей), это Европейский Ренессанс (3–4 века) и это русский XIX век (!!!). Ну и XX немного зацепили всякими Рахманиновыми, Станиславскими, Вавиловыми… «Ничего не внесла…» Сегодня мы все, кажется, в массовой истерике от нашей истории. Но почему же сегодня мы, пытаясь найти какую-то опору в прошлом, опираемся на истерику Чаадаева? Забывая Пушкина, его мудрость, мужество и верность России и ее истории. Вовсе не слепую верность, зрячую, знающую все грехи и минусы нашей российской истории — и, тем не менее, — верность! Кстати, недавно так дружно «реабилитированный» у нас Тарковский в самой трудной, самой, можно сказать, героической своей картине «Зеркало», умудрившейся дойти до экрана в самой дремучей, непролазной глуши застоя, на 10–15 лет раньше «Покаяния», делавшегося тоже еще в застое, но выходом на экран в немалой степени обязанного перестройке… Так Тарковский в том далеком и невообразимо трудном «Зеркале», в своих неподъемно трудных размышлениях о судьбах России опирается не на Чаадаева, а на ответ ему Пушкина… «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться, — возражает Чаадаеву Пушкин, — клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Вообще с Пушкиным тяжело: зацепишь его — и невозможно оторваться! Как будто вот он, рядом, только что про наш сегодняшний день сказал, в крайнем случае, про вчерашний: «… нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние…»

Давно сказано? Не вчера?.. А уж про завтрашний-то день — точно! — найдете у него соображения лучше и умнее всех, кто у нас сегодня об этом (о завтрашнем дне) размышляет и пишет…[1]

Вот так вот «трудно» с ним… Но это ж и прекрасно!! Что он есть у нас! Навсегда с нами! Никуда никогда от нас не денется! (пока мы живы на этой земле…).

Вся «концепция» нашей сегодняшней исторической истерии (или истерической историчности?) замечательно, на мой взгляд,

и вполне законченно выражена в тяжелом, честном, может, даже героическом, во всяком случае, смелом до самоотверженности, до безрассудства… фильме «Так жить нельзя», завершившем 1-й день съезда… Конечно же нельзя! Кто ж спорит? Но вот в чем безрассудство, на мой не бесспорный взгляд, в чем безрассудство этой бесспорно честной и мужественной картины? Да вот в такой стройной концепции фильма. По фильму получается совершенно однозначно, что весь этот ужас, до которого мы докатились, вся эта нищета (и материальная, и духовная), темнота и преступность зачаты, вдохновлены и организованы… В.И. Лениным. В фильме, правда, всего один, но зато весомый «завет Ильича»: «расстреливать детей» (?). И иллюстрация в фильме: расстрелянная царская семья, фотографии самого государя и его расстрелянных детей. Я, правда, где-то слыхал, что вроде бы не Ленин «первый начал», было там что-то и 9 января 1905 года… И расстрелянных там было не меньше. И Его Величество Государя Императора Николая Александровича в народе «Кровавым» величали. И расстреляли царскую семью не по приказу Ленина, вопреки ему, по частной инициативе Екатеринбургского губкома. На контрреволюцию гораздо действеннее работал не живой, подверженный влияниям, непостоянный, давно отрекшийся от престола император, а убиенный — почему от Ленина был послан специально комиссар охранять царскую семью. Но Екатеринбургский губком объявил ленинского комиссара «врагом революции», и семью самовольно расстреляли. Была там жуткая, кровавая драка, неразбериха, именуемая во все века и у всех народов «революцией» (слово, кстати, тоже не Лениным и не большевиками выдуманное), а уж никак не одностороннее дьявольское преступление В.И. Ленина против совести и человечности, с запрограммированным на последующие 70, а то и больше лет планомерным уничтожением нации, страны, России.

О Господи!., хоть я в Тебя не верю (имею я право на свободу совести?). Как же мы любим обвинять! Все и вся. Кроме себя. Ну чисто «по-сталински»: не разобравшись и безжалостно. Теперь добрались до Маркса с Лениным… Покойный Толя Солоницын, помнится, слышать не мог имени Станиславского… Даром, что на Станиславского весь просвещенный Запад молится. И не только актерский. Да и к Марксу с Лениным там не столь категоричны. Не Станиславский виноват, а свора неуемных и неумных его «ревнителей», «проводителей в жизнь» его гениальной системы. Господи, господи!.. Какие ж мы замечательные учителя! Учители!.. Не помните чеховский еще рассказ, как учитель гимназии, у которого мыши погрызли какой-то фолиант, учил котенка их ловить? Выучил!.. Кот, ставши взрослым, завидя

мышь, взлетал на дерево, забор ли проворней, чем от собаки! Рассказ, кажется, называется традиционным русским названием «Кто виноват?»…

К истории нашей не столь безжалостны и категоричны были и М.А. Булгаков (и «Белая гвардия», и «Дни Турбиных», и «Бег»), даже Б.В. Савинков! А уж у них-то, казалось бы, куда больше должно было быть поводов ненавидеть большевиков!.. А вот, поди ж ты, признавали! А вот наследники…

А как они все любили ее, Россию! И Пушкин, и Булгаков, и Савинков… И даже Чаадаев!

А Блок? А?.. Да кого ни возьми!.. А в общем-то, кто любил, тот в памяти ее и остался, те и дороги, и необходимы нам. А без любви?.. Я этого не понимаю, это не по моим слабым мозгам…

А Максимилиан Волошин?

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца— Русь!..
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Коктебель, 12 января 1922 г.

И это — «смятение русского интеллигента», «стремление остаться над схваткой», как до сих пор объясняет наша мудрая и принципиальная критика?..

Волошин не отрекался, мы — отрекаемся. Савинков признал, мы — не признаем. Булгаков, не скрывая своего невосторженного отношения к революции, тем не менее, не стеснялся самому «Хозяину» заявлять: «Долго думал и все же пришел к решению, что русскому писателю негоже жить вне России». Но нам все эти мучительные, трагические поиски, все эти мужественные решения, — нам все это не указ. Мы — поумнели! Враз! Как не раз уже «умнели» в нашей истории…

Сегодня все мы дружно и бескомпромиссно осудили все вчерашнее. И себя вчерашних, в том числе. Правда, не особенно делая на этом упор, на себе-то. На то, что брежневский застой вершился при нашем непосредственном участии: «с чувством глубокого удовлетворения», при всенародной поддержке и просто

нашими руками! Так же, как в свое время и хрущевского времени идиотизм, а до того — и сталинские репрессии. Все делалось с нашего согласия. Или — с безмолвного попущения, а чаще дак и со всенародного одобрения — я помню, как на одном собрании в одном учреждении рабочие и служащие единодушно приветствовали ввод войск в Чехословакию, да еще подбадривали из зала: «Давно пора!» Но об этом мы сегодня вспоминать как-то не любим, не хотим, нам слаще винить кого-то: «А что я мог сделать? Это все большевики (или коммунисты)…»

Но это же холуйская позиция — обвинять во всем правителей: «Ах! Нас не так вели!.. Не туда завели. Генофонд наш уничтожили, интеллигенцию нашу, которая бы нас вела туда и так…»

А нам бы, если б мы были не холуями, не рабами, не «винтиками» — добровольными, — нам бы не позволять! Себя не туда вести. Генофонд свой уничтожать. Где ж мыто были, которые в восторге писали корявыми, заскорузлыми пальцами на грифельных досках: «Мы — не рабы! Рабы — не мы!..»?

Рабы! Причем, добровольные. Как Пушкин про французов времен их первой революции (от имени А. Шенье, казненного революцией) писал: «Мы свергнули царей. Убийцу с палачами избрали мы в цари». Сами избрали и мы тоже, свергнувши царей-то, так что… неча виноватых искать, неча на зеркало пенять, коли рожа… Кто мне мешал, какие «враги», недоброхоты, русофобы, что я собственного сына до тридцати лет не могу убедить, что ученье — свет, а неученье — тьма, пропасть, тупик, бездна?! Только жена с тещей, которые взлелеяли в нем лень мою генофондную…

От всего цивилизованного мира мы сегодня именно в этом отстали: в образовании, в просвещении. Давным-давно всем известно, что наш средний инженер раз в 15 (если не больше!) тупее, ленивее, неспособнее западного, японского, южнокорейского… Я говорю только о средних. Вон у меня недолгое время зять был, который в графе «образование» писал: «вышшее»!! Через два «ша»!! А ведь этих средних с «выпилим» образованием у нас большинство. Поди-ка не ошибусь, если скажу: подавляющее! Средних инженеров, средних врачей, педагогов, актеров, режиссеров… Несредних всех давно «доброжелательный» цивилизованный Запад (только вот кому он добра желает? Нам ли?) — давно переманил и приголубил. Сейчас остаточки подчищают, подбирают… Ведь Тарковский у нас был не правило, а исключение. То-то мы его и выпнули из своих монолитных рядов. Работать ему не дали. То же самое с Солженицыным… То же самое с Сахаровым…[2]

…Слезы крокодиловы лить после допущенного — нами же! — преступления — это мы можем! Обожаем призывать к покаянию!.. Да хоть мы с утра до ночи будем каяться всей страной, а не будем вовремя угадывать, поддерживать и спасать наших светочей, нашу гордость — ну так и будем до скончания века позволять наглым дуракам и неучам возвышаться над нами, править нами, будем их и под ними терпеть («с чувством глубокого удовлетворения»), а после их смерти, когда они заведут нас в новую бездну, будем их беззаветно смело и безжалостно, беспощадно критиковать, непримиримо осуждать и опять лить крокодиловы слезы и рабски, холуйски сокрушаться: ах, опять нас не туда завели!.. Опять система виновата!.. Мы — такие хорошие, славные, и все-то мы понимаем и так искренне каемся, но вот с системой нам постоянно и как-то даже фатально не везет…

Мы сегодня все дружно и, не взирая ни на какие «плюрализмы», довольно-таки единодушно решили: виновата система! Ну и естественный вывод и выход: взорвать ее! Впервой что ли? Ведь это же так очевидно. Были, правда, встречались в истории и на эту тему инакомыслия, ну это где-то далеко, не у нас. Да и задолго до сегодняшнего нашего массового просветления. Ну, подумаешь, ну, высказывался там какой-то Ромен Роллан: «Я обвиняю не систему, а Человека…» Да кто он такой, этот Ромен Роллан?! Да еще, как сегодня всем нам стало ясно и очевидно, навек опорочивший себя своим любопытством и симпатией к социализму, восторгами по отношению к И.В. Сталину, дружбой, перепиской и совместным фотографированием с бесспорным, как тоже сегодня мы выяснили, врагом русской культуры и прогресса А.М. Горьким…

Трудно. Тяжко, неуютно да и страшновато в таком безнадежном одиночестве сегодня. В сегодняшнем просветленном и враз поумневшем мире.

Пусть мы — нация преступников и баранов, которых хитрый ли, жестокий ли преступник может, если захочет, завести куда угодно, в любую пропасть, и мы пойдем. Пусть так. Пусть все наши 70 советских лет — сплошной мрак, ужас и преступления. (Непонятно, правда, как из этих «баранов» Вавиловы, Ахматовы, Тарковские иногда получались…) Ну ладно, пусть. Пусть так. Это не народ и не страна (в цивилизованном понимании). «Это не цивилизация и даже не нация, это — ад»,[3] — как прочел я недавно в одном сценарии, который со дня на день станет фильмом и выйдет на отечественные — а может, и международные — экраны просвещать (?), воспитывать (?), радовать (?), ублажать (?) зрителя. Пускай даже все так. Но мы же вышли из этой страны! Или все приехали? Все 280 млн.? Все

приехали из чистых, культурных, цивилизованных стран, приехали — и ужаснулись? Мы же вышли из нее! И в том ужасе, бардаке и помойке, каковые являет сегодня наша страна, неужели нашего (лично каждого из нас) вклада ни грамма? Все только «бяки-коммуняки» виноваты? А мы тут ни при чем?

Представляется мне на эту тему еще такая картинка (артист, все-таки, стало быть, мыслю не столько понятиями, сколько образами). Жила-была женщина. Падшая. Мразь, пьянь, потаскуха, воровка, ничтожество, слякоть (по нонешним временам вроде бы такое нетрудно себе представить). И вот. Как-то. Случайно? Невзначай? Аборт не успела сделать? Не успела убить. Выродила. Ребенка. Случайно. Может такое произойти? Представим. А выродивши — вдруг пожалела рожденное-то. (Это уже сложнее сегодня представить, но, говорят, бывало. Раньше. Редко, но случалось.) И вот вырастила она его. Выкормила. Подняла. И даже воспитала! На все свои неправедно добытые средства (проституция, воровство и пр.). Воспитала! В хорошем каком-то заведении. Это тоже трудно сегодня представить, но — представим. Так вот. Вырастила, подняла, воспитала. А оно (дитето) выросло, поднялось, ума набралось, образовалось, оделось почище (на мамины неправедные средства!) да ее же, маму, этак модным, лакированным каким-нибудь сапогом (на ее же неправедные денежки купленным!), ее же, маму, и в харю: «Пошла, мол, вон, грязь, мразь! Не смей меня пачкать!» Возможная картинка? Достоверная? А мы, сегодняшние, поумневшие, не напоминаем такое вот дите? Не из нашей ли истории, какой бы страшной, грешной и грязной она ни была, мы взялись и выросли? Нам ли ее пинать и топтать?

Екатерина Романовна Дашкова (Екатерина Малая, подруга и наперсница юности Екатерины Великой, первый Президент Российской академии наук) завещала нам, дуракам: «Свобода *без просвещения* породила бы только *анархию* и *беспорядок».* Помним мы заветы не последних умов наших? Вникаем в них? У Шекспира Гамлет трагически сетовал, что порвалась (или «распалась») связь времен! А мы «в детской резвости» *сами* ее рвем, не предвидя от сего никаких последствий…

Сцепились как-то (по ТВ) с виду очень интеллигентные депутаты, но в очень неинтеллигентной (чтоб не сказать хамской), базарной форме по поводу и против нашей армии, особенно против ее мечты и вожделения о «сильной руке».

А потом встала тетенька, седая, пожилая, и напомнила, освежила в памяти, что, мол, в том, что мы полвека живем в мире, заслуга, между прочим, нашей армии… (А кстати, и правительства, правительств, бывших все эти годы, подумал я про

себя.) Ну, действительно, не исключительно же только «репрессиями» или «застоем» занимались наши прежние правительства? Ну были, конечно, ошибки, страшные, жуткие, но не из одних же только ошибок состояла деятельность прошлых наших правительств? Или только ошибки, вредительство и — больше ничего?

Отстояв когда-то право оставаться самостоятельной державой, право самостоятельно развиваться, не служить необъятной базой, кладезем ресурсов, рабсилы, не быть грабимой, разоряемой колонией, каковой «цивилизованный» мир пытался нас когда-то, на рубеже XIX–XX веков сделать, — мы развиваться не стали, уперлись, как в новый плетень, — в «оборону» (тоже не без помощи и, так сказать, «моральной поддержки» наших нежных сегодня друзей из-за океана…). А сегодня еще добровольно и слезно просимся: сделайте из нас колонию! Заберите наши ресурсы! Все заберите, только дайте нам фирменные шмотки, «Мальборо», «Панасоники», «Тойоты»…

Да-а… «Вынесет все… И широкую, ясную грудью дорогу проложит себе….

А может они правда ненормальные были, классики-то наши? С их любовью к этому народу, с их неуемной верой в него?.. Достоевский — с его народом-«богоносцем»… Несем!.. Только ЧТО? И куда? И кому? Один Пушкин потрезвее был: «лет чрез 500», полагал он, начнет у нас что-нибудь меняться в сторону цивилизованности нашего общества. По крайней мере, в первых двухстах годах он не ошибся.

О российской «привычке» и благоволении к «новым эрам в своей жизни», о наклонности «начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день не потонул под неизбежной тенью», что мы вышли из него, из вчерашнего дня, он в нас и никуда нам от него не деться — об этом сокрушался еще В.О. Ключевский, выдающийся наш историк, почетный академик Петербургской Академии наук. И очень точный диагноз ставил: это от «пренебрежения к исторической закономерности», от «недостатка исторического мышления» (мышления? — мышления? В произношении-то запутались — где уж нам мыслить?..). А умер Василий Осипович в 1911 году, задолго еще до «воцарения» коммунистов, а беды и ошибки в России были все те же, в каких мы сегодня обвиняем коммунистов и какие сами тупо и настырно вслед за ними, за коммунистами, повторяем.

Замечательно сформулировал одну из самых главных и все тормозящих сегодня наших ошибок — если не самую главную! — делегат какого-то съезда? сессии?., вроде из Магадана, а может, из Челябинска… «Беда наша и топтание в тупике оттого, что мы

занимаемся *не анализированием причин, а поиском виноватых».* Абсолютно солидарен! Именно!

И потом — это же чистейший «сталинизм» — поиск-то виноватых. «Сталинизм», который замечательно и безущербно жив по сей день! Не потому ли мы сегодня все никак не можем успокоиться по поводу обвинений сталинизма, что он благополучно жив, не ушел ни в какое прошлое? Он — в нас! Со всеми своими очаровательными чертами и качествами: предвзятостью, некомпетентностью, нежеланием анализировать причины и остервенелым неустанным поиском виноватых! Ну, разве что чуть понежнее того, изначального, давшего имя термину: мы все-таки хоть и ищем виноватых, но еще и сомневаемся (уже *сомневаемся,* уже прогресс!). Да еще искать-то ищем, но, не дай Бог, найдем, еще ведь неизвестно, что с ними делать, с найденными-то. Маленький нюанс, но все-таки… Тот, давешний наш, сталинизм не сомневался. И называл не «виноватыми», а определеннее: «врагами». И что делать — знал.

«Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви». Опять А.С. Пушкин.

Как же все-таки одиноко и неуютно одному! Я с детства (упорно и принципиально, как мне кажется) остаюсь атеистом. А ведь сегодня все дружно бросились в религию! (Опять как бараны?) Когда-то так же дружно в «коммунизм» бросались, «сбрасывали Пушкина с корабля современности», Рафаэля с Растрелли «расстреливали»… Сегодня все качнулись к Богу, резко «поверили в Бога». Ладно. Но ведь религия недвусмысленно говорила: «Всякая власть от Бога!» Стало быть, священна? Всякая! Стало быть, и ленинская, и сталинская, и хрущевская, и брежневская? Что же мы тогда сегодня их всех порицаем? По-божески ли это? Скорей по-«коммунистически», точней, по-«коммунячьи». Сплошные вопросы, неувязки, неясности… И опять Пушкин нам перечит, возражает: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим».

Ладно, с Лениным и его заветами мы разделались. А с этим как быть: «Новый Завет», «Первое послание к коринфянам св. Апостола Павла»: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а *любви* не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто… Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится… А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»! С этим как быть? Мне нравится этот завет. Кем бы ни были вдохновлены слова сии. (Мне-то, как атеисту, конечно, представляется, что Человеком, не Богом.) А верности ему нонешних, «боголюбивых», «Богу верных» я не вижу. Не вижу! Мне смолоду еще мыслилось, что талант в человеке — это умение и любовь. Причем любовь, пожалуй, еще и больше. Но одно без другого в таланте не живет. И все равно: любовь — больше! Без умения таланта не бывает, а без любви — вообще человека. Даже если с умением, но без любви — это не человек.

Не знаю, как там у меня насчет умения, но вот любовь была… Была любовь! Да вроде и по сей день еще не выветрилась. К жизни, к земле своей, к истории нашей, многотрудной, тяжкой, часто неутешительной, может еще чаще невыносимой. Но как же без любви-то? Разве можно? Без милосердия? Не христианского (атеист же), человеческого?!

Как же хочется порой, в печальном одиночестве, среди сегодняшнего прозревшего, поумневшего мира, в его жестоком немилосердии ко всему своему прошлому, — как же хочется прямо по Маяковскому (хоть и не очень-то мной любимому): «Оглушить бы вас трехпалым свистом! В бабушку и в бога-душу…»

И некому нам сказать, как сказал когда-то Тарас Бульба сыну своему Андрию: «Так продать? Продать веру? Продать своих? Стой же, слезай с коня!» Несемся… Куда?.. Не даем ответа… Ни кому-нибудь, ни самим себе… Так Андрий-то «продавал веру и своих» хоть ради прекрасной полячки, а мы-то ради чего? Ради «Мальборо» и датского или шведского пива в жестянке?..

«Но, Бог с ним, с миром («общество» так когда-то называли на Руси, «всех»). Бог с ним, с миром, — говорит сам себе атеист. Будем скромнее. По возможности, интеллигентнее. Закончим тихо. По любимому (уже без оговорок!) С.А. Есенину:

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнут ложь и грусть, —

Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким Русь.

Ну, это Есенин собирался воспевать — и воспевал! Да как! А мое дело хотя бы тихо любить. А вы, умные, как хотите… За сим: Аминь.

По сусекам дневников и записных книжек

«Как замечательно приезжать на каникулы, когда наскучаешься в городе и надоест он до отвращения! Тогда окунаешься в дорогу домой, словно в чистые, прохладные волны, смывающие серость, пыль, пот ежедневной привычности — и дома выплываешь из этих вод свежей и чуткой ко всему в мире, с промытыми глазами и мыслями».

Т. Поликарпова, из рассказа «Почему Сережу назвали Сережей».

Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае, да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст.

А.П. Чехов. «Из Сибири», 1890 г.

Это про мою родину. Причем не клевета, а истинная правда.

24 декабря 1971 г. («Земную жизнь пройдя до половины», на 35-м году жизни). Новосибирск (приехали снимать «Горячий снег». Сценарий хороший был, но 12-й год «воевать» на экране надоело, только ради Новосибирска и согласился), гостиница «Центральная», 14 час. 45 мин. За окном — солнце! Сибирь, зима, та самая, что в самый разгар наших съемок взыграет до — 47°, одна или две лошади не выдержали, пали, режиссер обморозился. Старые рамы, кремовые занавески, солнце просвечивает сквозь них… Чем все это отличается от солнца и зимы, и кремовых занавесок во всех других местах планеты? От Праги до Мукачева,

от Москвы, от Саранска — чем? Но почему же именно здесь мне так хорошо?

Чем-то изначальным моим, младенческим, еще довоенным веет на меня от всего этого. Умирать бы сюда приехать… Не чтоб похоронили здесь, нет — какая разница, где лежать? А вот перед смертью бы! Чтоб последний вздох был этим воздухом, последний свет в глазах от этого солнца!.. Приплыть, приползти бы угрю-рыбе к родным истокам и протокам, долететь бы гусю-журавлю до родимых гнездовий..

Чем все это отличается от других мест на земле — не знаю, не объясню, не расскажу, но узнал же я в Кругликове Новосибирскую область по запаху! Сразу узнал, отличил от Томской.

И нигде мне так хорошо и умиротворенно не бывает, как здесь, дома.

Помереть бы здесь… Зимой, летом, весной, осенью — но только здесь.

Удружите, а? — кто будет провожать и обряжать в последний… вернее, предпоследний путь: последний — это уже на кладбище, а в предпоследний — умирать. Хоть обманите, что за билетом на Новосибирск поехали…».

Путешествие из Москвы в Заельцовку [4]

О колыбель моих первоначальных дней!..

Г.Р. Державин. «Арфа»

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!

С.А. Есенин. «Исповедь хулигана».

— Граждане пассажиры! Через 40 минут наш самолет произведет посадку в Толмачевском аэропорту города Новосибирска. Температура воздуха в Толмачеве — двадцать семь градусов. Просим пристегнуть привязные ремни и воздержаться от курения.

По привычке я бросаюсь к левому борту — ничего не видно. Справа — тоже темно. Я вдавливаюсь лбом и ухом в иллюминатор, надеясь хоть где-нибудь, может отвесно под брюхом, может, далеко за хвостом или прямо по курсу самолета, отыскать, заметить хоть след электрического зарева, хоть какой-нибудь признак близости ночного города. Ни-че-го. Ровная синяя темень. Нигде ни фонаря, ни слабого отсвета на снегу от горящего окошка. Глухая зимняя ночь. И — степь, наверно?.. Где же город? Далеко впереди мелькнула одинокая, красными огоньками обведенная полоска — аэродром?.. Значит, никакого города уже не будет? Значит, садимся мы не как всегда, делая предпосадочный вираж над городом и возвращаясь на аэродром с востока, со стороны города, — а прямо с запада? Значит, так. С городом я не поздоровался…

Так я домой еще не прилетал. Обычно вынырнет самолет из низких туч — не успеешь испугаться неожиданной близости земли, не то с кустами, не то с деревьями на метущем поземкой снежном поле, — как под крылом пробегут широкие дворы окраинных новосибирских заводов, и — вот под тобой уже пустое пространство замерзшей Оби с двумя мостами — и вот ты уже над центром города… Нечасто и неподолгу смотришь на город с такой точки. Но тем ярче и взрывчатей радость узнавания: все, все знакомо, до мелочей известно, до слез близкое и родное. И на правом берегу и на левом. И в первую очередь, конечно же, Оперный и вокзал!

Оперный и вокзал… Гордость и главные достопримечательности Новосибирска, основные отличительные принадлежности силуэта города. Первыми бросающиеся в глаза и впервые приезжающему сюда, и тебе, здесь родившемуся… с воздуха ли или из тамбурного окна вагона, чаще мигая, чем положено, со сбившимся дыханием, ждешь ты после долгой разлуки первой встречи — встречи глазами с родным городом… Даже ночью узнавал я с воздуха красиво и правильно вычерченную фонарями развилку у «Башни» на левом берегу и идущую от этой «развилки» длиннющую «ручку» из огней: проспект Маркса, переходящий в дамбу и дальше в коммунальный мост, а рядом — редкие рабочие огни железнодорожного моста…

Сейчас все было не так. Бывало, еще с вокзала в Москве или с площади Революции,[5] где садишься в аэропортовские автобусы… Да раньше! Как только взял билет на поезд или самолет — уже полностью принадлежишь Новосибирску: все московские студенческие и иные заботы рассеиваются, растаивают, как дым, как наваждение, будто их и не было никогда — ты едешь домой. К друзьям! На родину! И как порой ни малы получались каникулы, несмотря на все досрочные и сверхсрочные сдачи экзаменов зимней сессии, мне всегда хватало даже недели, проведенной дома, на родном целительном сибирском зимнем воздухе. И в Москву я всегда возвращался абсолютно отдохнувшим, свежим, бодрым, готовым к любым новым мытарствам непростой нашей студенческой жизни. А сейчас вырвался я проветриться на родном воздухе, прийти в себя после большой, трудной и долгой, без летнего отпуска, работы. Только на этот раз не то что на площади Революции или в самолете, но уже опустившись на новосибирскую землю, выйдя из уютного тепла ТУ-104 на знакомый, прямо «палящий», «обжигающий» мороз, встретив холодный чистый и необъятный восход — мой восход, родной, степной, новосибирский, — все равно не почувствовал себя дома. Я был еще где-то в Москве, где на этот раз ничего не развеялось: осталась моя Татьяна, на руках у нее трехмесячный наш парень, а ему только что привили оспу, и кто их знает, как они там, мои молодые и совершенно неопытные ребята, с этой оспой справятся…

Тем не менее, мы уже прилетели… Пассажиры нашего рейса где-то ждут и получают багаж, автобус ждет пассажиров. Я занял место перед широким незамерзающим окном водителя, а сам вылез на мороз. Я хочу, как бывало, вдохнуть, захлебнуться живительным морозным воздухом родины, чтобы вновь, как прежде, ощутить себя полноправным сибиряком, здешним,

«тутошним», не случайным гостем, не чужаком среди этого восхода, этой суровой, неприветливой, но зачаровывающей, могучей и равнодушной красоты и беспредельности… Но вот последний багаж последним пассажиром получен, все погрузились в автобус, можно ехать. Поехали…

Все серо в рассветающем мире: снег, редкие бараки, мазанки, голые деревца перед ними… В ушах отстраненно и вроде безотносительно ко всему пробегающему перед глазами звучит почему-то начало отрывка из «Тихого Дона», который я читал еще в училище на экзамене по сценической речи: «За всю дорогу, до самой станицы Абинской, Григорию запомнилось только одно…» Едем. Справа какая-то автобаза: машины, черные бочки с горючим, серый дощатый забор… Только почему-то очень маленький. По колено мне, не выше. Почему? И вдруг вспомнил! Я ведь не в «станице Абинской. Это — снег! Снег вровень с забором, снег, который в детстве сокращал нам массу дорог, преграждаемых летом заборами, который поднимал нас над ними и надо всем родным заснеженным миром. Значит, я все-таки дома… В Новосибирске… Ни на Дону, ни под Москвой, ни в Белоруссии, ни на Украине не встречал я такого снега. Он и сейчас кого-то поднимает над миром и над автобазой: вон, будто пятилетней рукой нарисованные — неуверенно, коряво, непараллельно — лыжные следы от забора — явно пацан лазил по гребню…

А восток меняется, светлеет… Из морозно-румяно-розово желтеет, потом нежно зеленеет… Очень скоро и небо, и воздух поголубеют, побелеют, и беспечное ясное утро быстренько превратится в пасмурный короткий зимний день, в самом начале своем уже предвещающий свой близкий неминучий конец. Но все это будет потом, когда я подъеду почти к самому дому, а покуда я гляжу на светлеющий восток.

И вспоминаются мне другие мои восходы… Только не зимние. Зимние я встречал в Казахстане, после ночной смены. А здесь — весенние, апрельские, с балкона родной четырехэтажки. А с балкона пятиэтажки провожал солнце…

С довоенного еще времени и довольно долго после 54-го года (после того, как мы с друзьями уехали в Москву учиться) они так назывались даже в почтовых адресах: «4-этажка» и «5-этажка». Ни улицы, ни номера дома… Потому что улицы не было. Была степь по всему высокому левому берегу, голая степь между «Соцгородом» (рабочим поселком завода «Сибсельмаш») и деревней Бугры. И посреди этой степи два больших, одиноких, «как верблюды в пустыне», острили наши шутники, всему миру видных дома, четырех- и пятиэтажный, дома работников ТЭЦ-2. И

там жили мы с матерью, работавшей на ТЭЦ. Сперва вдвоем жили, обживали, а потом привезли от бабки подросшего Борьку, младшего брата. Там прошли все мои школьные годы, со 2-го по 10-й класс. Со 2-го по 6-й жили в 4-этажке, а потом, по 10-й — в 5-ти. Окна 4-этажки смотрели на восток, а 5-ти — на запад.

С балкона 4-го этажа выстилалась передо мною по утрам рассветная степь. С дорогой, уходящей за горизонт, в Бугры, с редкими бабами на ней, идущими в «город» или обратно. Слева чернели домишки Горской — «Горой» считался крутой спуск берега к широченному нежилому заливному пространству до самой реки, с озерами-старицами и огородами на нем, а застроена, заселена «Гора» была вот этой самой улицей Горской. За Горской виднелся железнодорожный мост через Обь и на далеком правом берегу — маленький, игрушечный город.

А прямо на меня из-за Бугров вставало солнце… Ослепительно сверкал весенний воздух, тонул в утреннем мареве далекий город, и каким-то безотчетным счастьем дымилась убегающая навстречу солнцу степь… И я дышал. Дышал всем, чем мог: не только легкими, но и раскинутыми в утренней гимнастике голыми руками, шеей, плечами… и глазами. Да, глазами! Вдыхая, впитывая в себя это утро, этот простор, этот воздух. Это — всегда весна, всегда середина-конец апреля и первая зарядка на свежем воздухе в 6 часов утра. А в 6 потому, что в конце апреля почти уже осязаемо ощущалась близость экзаменов, и пора было кончать разгильдяйничать (чем преимущественно я занимался в течение всего учебного года), пора было приступать к учебе, и дня на учебу уже не хватало: в 12 — в час ночи я валился на подушку, а в 6 вставал, чтоб перед отходом в школу успеть доделать вчерашние уроки. Но чтоб хватило сил на это доделывание и на весь большой учебный день, надо было вдохнуть утром свежего апрельского сибирского воздуха. Вот я и вдыхал. И однажды надо мной, из-за моей головы, из-за 4-этажки на восток, навстречу солнцу, пролетела пара белых лебедей. Высоко-высоко… В лучах восходящего солнца.

К концу 7-го класса мы переселились в 5-этажку, и теперь солнце ко мне в комнату и на балкон приходило вечернее, закатное — с запада. Восходы были серые, стальные, холодные, утреннее солнце не попадало даже на кухню — жили на 3-м этаже, и весь свет утром загораживала 4-этажка. Но зато теперь я засыпал весной перед экзаменами на балконе под далекие паровозные гудки с Кривощековского вокзала. Солнце садилось за вокзал и металлургический завод, и этот сибирский закат, казалось, ни с чем другим больше и не мог бы гармонировать, как только с могучими трубами металлургического завода и вообще с

понятием «металлургический». А где-то за заводом, за этим закатом, где-то там была Москва… И туда звали паровозные гудки со станции Кривощеково.

Едем… Отличное, новое катится под колеса шоссе. Года 4 назад его еще не было, тогда мы ехали по этой дороге за клубникой на субботу-воскресенье и изрядно протряслись в бортовой машине. Теперь же, из Толмачевского аэропорта до Кривощекова, потом через весь город и в старый городской аэропорт — именуемый теперь Центральным, по новому шоссе нас везет отличный, современный, комфортабельный автобус — чешская «Шкода». Я не то что здесь, ни в Москве, нигде не видал пока таких, не то что ездить, — а тут вот еду! Мягко, тепло, уютно, цивилизованно… Вторично пересекли железнодорожную линию, и вот впереди слева показалось Кривощеково, одноэтажные стандартные домишки Южного поселка.

И вдруг резануло: Господи! Ведь где-то здесь, в каком-то из домишек далекого Южного поселка я ночевал у парня, когда мы разгружали баржу на затоне. Летом 59-го года я томился дома на каникулах перед 4-м курсом училища. Из ребят что-то никого в городе не было, скука, однообразие. Почему-то не поехал с матерью в турпоход на Урал, она вернулась, а я совсем осатанел от скуки и заметался: куда бы деть себя в оставшиеся 20 дней августа? Бабка собиралась к старой приятельнице в Одессу, к морю, а я это море в Одессе видел всего 3 дня, причем февральских 56-го года, когда вся Одесса удивлялась, как она еще жива при таком небывалом для нее морозе: 23 градуса при страшном, пронизывающем, чуть ли не 20 м/с ветре. Короче: море звало, бабка звала, а денег никто не предлагал. Два дня я лазил по товарным станциям и речному порту и как-то попал на левый берег, уже договорился было на разгрузку каких-то вагонов на лесозаводе, но тут подвернулась эта баржа. Мы ее разгружали с 10 утра до 12 ночи и на другое утро, с 5 до 10, домой, в город, в такой короткий ночной перерыв мне было уже не поспеть, и этот парень взял меня к себе ночевать. Где-то здесь, на Южном поселке…

И вдруг пошло: дорога заговорила! Дорога, по которой я проехал не больше трех-четырех раз в жизни, но вокруг не оказалось ни одного пустого, незнакомого, чужого мне места: везде вставала моя биография, моя жизнь.

Трамвайный парк — где-то тут, недалеко жила Антонина Ивановна, которая нам в 5-м классе читала Макаренко и «Консуэло» Ж.Санд. Много позже узнав, что всем пятым классам, какие она вела и задолго до нас, и долго после нас, она всегда читала одно и то же: «Консуэло» и «Флаги на башнях», мы ужасно

запрезирали ее за застой и отсутствие творчества. Покидая школу после 10-го класса взрослыми, умными, самостоятельными и беспощадными, не прощающими людям их недостатков и слабостей, мы, по-моему, даже не очень хорошо расстались с ней, хотя у каждого в аттестате среди других стояла и ее подпись. И вот сейчас я вдруг вспомнил ее с благодарностью: ведь мы-то слушали ее в первый раз, слушали и радовались! А может, тому же радовались и другие? Да так ли уж это плохо: радовать пацанов, хотя бы и повторяющимися методами? И потом, кто знает, может, именно этими чтениями она и сколотила наш дружный, крепкий коллектив, наш класс, который оставался гордостью школы, да и потом надолго оставил в ее стенах память по себе.

…Кривощековское трамвайное кольцо… От остановки «Трамвайной» автобус сворачивает вправо, а прямо, через остановку, живет друг… Вернее, жил, сейчас Виктор Иванович Лихоносов далеко отсюда и так же, как и я, тоскует и мечтает о родной Сибири, о ее сибирской зиме, ее снегах, о своей родной улице Озерной.

Площадь Станиславского — в наше время просто пустырь, а теперь вот площадь. А где-то справа живет еще один друг. Этот, может быть, и здесь, в городе. Только я не знаю: он целый год мне не писал. А вот тут, от больницы, и дорожка к нему, к подлецу, водила. Надо будет его (Пичугина Ю.В.) все-таки разыскать… Друзья тоже школьные, школа мне их подарила… И уж третий-то (Малыгин Э.Г.), я наверняка знаю, что здесь! Я ему вчера телеграмму дал, чтоб приезжал водку пить.

Мы мчимся по Кривощекову. Хотя нет уже никакого Кривощекова, есть огромный, новый, чуть ли не самый большой в Новосибирске Кировский район (теперь Ленинский, а впереди… что Бог даст… Может, и еще переименуют). И станция наша здесь, на левом берегу, давно уже не Кривощеково, а Новосибирск-Западный. Да и вообще вокруг не осталось ничего привычного, старого: дома, дома, дома… Новые, большие, заслонившие собой и 4- и 5-этажку. И стадион, и 70-ю школу, когда-то соседнюю женскую, куда мы к девчонкам на вечера бегали. И кинотеатр «Металлист» — избеганный, исхоженный, иссиженный. По воскресеньям и в будни, легально и вместо уроков… В 1946-м с мамой и соседями сходили на «Первый бал» и «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин, на «Сильву», нашу, старую, свердловскую, потом с пацанами на «Александра Невского» и «Георгия Саакадзе», а потом на «Возраст любви» и «Княжну Мэри» с той, которая нравилась безнадежно и которой в так и не отданном письме я пытался объяснить, что хоть я, конечно, не

Печорин, но тоже неплохой парень…

Нету нашего Кривощекова! Даже Башня — водонапорная башня, когда-то ориентир и высшая точка Новосибирска, всегда отовсюду видная, не только здесь у нас в Кривощеково, но и из-за Оби, откуда-нибудь из Заельцовского бора, как, впрочем, всегда видны были оттуда и 4- и 5-этажка, — даже Башня, бывшая пупом земли нашей Кривощековской, даже она как-то скромно потупилась и отошла в тень вставших вокруг нее огромных новых домов. Затерялась башня. Пропала. Одно название оставила окружающему месту, трамвайной и троллейбусной остановкам.

Проспект Маркса. Отстроенный и строящийся — а мы тут картошку после войны сажали и летом окучивали… Сейчас вырвемся на дамбу и — к реке. За горами земли вокруг свежих котлованов, за поднимающимися фундаментами и строительными кранами мелькнуло что-то маленькое, жалкое, деревянное, почерневшее от времени: батюшки, Горская! Некогда страшная, по квартирным преданиям, «бандитская», «хулиганская» Горская — теперь какой-то огрызочек, осколочек, на который вот-вот наступят, раздавят, спихнут с «Горы» — ее, некогда владычицу «Горы»! — все те же новые дома…

Дамба. Впереди серый за хмарью город, а по сторонам вместо прежних тихих, вольных и никчемных, в болотной траве озер и редких вокруг них огородов — слева огромный «Котлован» с парусной и водно-спортивной станциями (земля из котлована пошла как раз на эту дамбу), а справа — еще что-то роют. Не пустое стоит место, не бездельное: экскаватор — не экскаватор, будка какая-то, что-то прорыто, что-то накопано — значит, будет еще что-то и за дамбой!

И, наконец, мост и — Обь. Обь… Не столько широкая и привольная (кстати, для железнодорожного моста и выбиралось еще Н.Г. Гариным-Михайловским самое узкое место), сколько — грязная, обыденная, обмелевшая подо льдом. Но такая знакомая, такая родная, даже этой своей грязной рабочей обыденностью! На льду какие-то фигурки. То ли лыжники, то ли рыболовы. А может, и те и другие… Сколько я перебегал по этому грязному льду с левого берега на правый и обратно: в город к бабке, поздно вечером из театра домой, а когда в Новосибирске впервые появился хоккей с шайбой, бегал, забросив уроки, болеть за наше «Динамо».

Мост к концу, сейчас свернем налево… Глянул — и еще одна горячая волна окатила сердце: тут, слева, куда свернем сейчас, напротив платформы «Мостовой» — серое, темное, тесное скопление старых довоенных домов: облисполком, «Стоквартирка», дом «с красноармейской шапкой» (как называл я

еще в детстве эту бывшую церковь, серую, без креста, с куполом, напоминавшим мне буденновку),[6] а за железной дорогой, внизу, у реки — ТЭЦ-1 — ведь это мое гнездо! Мой «город»! — все, что было для меня «городом» с первых моментов сознания. Это начало, исток моей жизни. Здесь я прожил от рождения до 2-го класса, до тех пор, пока мы не переехали в Кривощеково. Проезжаем «Мостовую», слева остался переезд — туда, через переезд, бегал я в войну за хлебом в тэцовский магазин. Мост над улицей — ветка на «Алтайскую», на Юг и Кузбасс, — а сразу за этим мостом, справа, будет сейчас скучный, грязно-розовый, бездарный, гладкий дом-коробка. Последний 5-й этаж, 9-е окно слева… «Колыванская, 3, квартира 19» — первый адрес, который я произнес в своей жизни. Научили, как только начал говорить. На случай, если потеряюсь.

И вот мы на Красном проспекте. На Красном проспекте… Тоже хоженом-перехоженом с самого младенчества, сперва с родителями, а с 6 лет уже самостоятельно. На Красном проспекте, кусочек которого почему-то вдруг так часто и остро вспоминался мне последнее время в Москве, уже перед самым отъездом, — самый тихий вечерний кусочек, где-то между улицей Романова и центром, справа, с заснеженным палисадничком, с уютным светом окон из-за деревьев, с мохнатыми, пушистыми от инея, тяжелыми ветками над самой головой…

Розовый «Гастроном» с квадратными часами на башне. Кинотеатр Маяковского. ТЮЗ. Площадь… Все до боли знакомо, только все какое-то маленькое-маленькое. Один Оперный еще ничего. От здания Облисполкома к центру ходили мы до войны с отцом мимо дома, не знаю, что в нем, но помню в углах окон железные штыри, оставшиеся от каких-нибудь ставней или жалюзей времен купеческой дореволюционной юности города. Я любил хвататься за эти штыри руками; асфальт к центру все поднимается и поднимается, и до первых штырей было высоко, надо было тянуться, лишь дальше можно было свободно за них браться — теперь эти первые штыри ниже моего колена… До чего же велик и необъятен мир детства! Громадным — не громадным, но нормальным, большим был город, а не безумно маленьким и низким, как сейчас. А лес за бабкиным домом?! Как-то с детсадом мы прошли весь лес и вышли к насыпи и деревянному мосту через Ельцовку на дороге в аэропорт. Боже, как же далеко это было! Через весь лес, вдоль чуть ли не по всей Ельцовке, где с насыпи видны были дали зааэропортовские — ну, это был уже конец света. Дальше этого и вообразить ничего нельзя было. А сейчас — вместо леса поселок, и вовсе небольшой, а до аэропорта 15 минут ходьбы…

Дом офицеров я не узнал, а вот парикмахерская на углу, напротив него — стоит! Только на моей памяти она раза три сгорала начисто — и стоит! Все та же: зеленого цвета, обшитая по диагонали штакетником, с обитой черным дермантином дверью, с золотом на черном стекле над дверью: «Парикмахерская»…

А автобус все катит… Вот справа никогда не известный, но до камушка, до каждой щербинки в стене знакомый, темно-красный необлицованный старый кирпичный дом: когда я пацаном ходил с Колыванской к бабке в Заельцовку, этот дом всегда «говорил» мне, что большая половина пути пройдена и теперь осталось немного, и легче, свободней становилось идти. От него виден был уже переезд, а там — под горку, там совсем близко, километра два, не больше…

И снова забилась, горячо запульсировала память.

Война. Зима 1941/42 года. Заснеженные окна в бабкиной квартире, раскаленная докрасна по вечерам печка, и напряженное слушание последних известий «От Советского Информбюро», отмечание на карте химическим карандашом ежедневных изменений линии фронта. А по воскресеньям веселая, юмористическая радиопередача «Огонь по врагу», которую вели бравые «разведчики Шмельков и Ветерков» (А.Ф. Борисов и К.И. Адашевский, артисты Ленинградского театра драмы им. Пушкина, бывшего в Новосибирске в эвакуации). У нас, у бабки, жили эвакуированные из Москвы бабкина сестра с дочерью, моей двоюродной теткой. Тетка работала на 69-м заводе и пела там в самодеятельности, а в 77-й школе у переезда был (тогда) госпиталь, и как-то раз тетя Мила взяла меня с собой в этот госпиталь на концерт. Мне не было, наверно, пяти лет, но я отлично помню, как выступал перед ранеными, стоя на стуле в синей матроске, толстых желто-зеленых штанах из байкового одеяла и валенках. Читал я «У лукоморья дуб зеленый» и переделанную на злобу дня дореволюционную сентиментальную детскую песенку. Многие годы я иногда, бывало, пытался вспомнить эту переделку — и никак. А вот теперь, подняв и всколыхнув жаркими воспоминаниями всю мою жизнь, все мое «новосибирское»: младенчество, детство, юность — теперь я вдруг почти дословно вспомнил и это стихотворение (а оригинал так до сих пор и не помню):

Вечер был, гремели взрывы,
Пулемет вдали трещал…
Шел в деревню немец вшивый,
Посинел и весь дрожал.
«О, майн Готт! — скулил верзила. —

Я продрог и жрать хочу,
А в меня стреляют с тыла,
И мороз не по плечу».

(А зимы морозные тогда стояли в Сибири, и я понимал, как может наш мороз оказаться «не по плечу» фрицам. И вместе со всеми ужасно гордился нашими русскими, а, в частности, своими, сибирскими морозами.)

Молодая партизанка
Услыхала немчуру —
Партизанская берданка
Загремела на ветру!
Чтоб замолкла вражья сила,
Чтоб остыла вражья прыть,
Спать в сугробы уложила! —
И пошла других громить!

Я немножко тогда обиделся за Пушкина: «Лукоморье» никакого впечатления не произвело. Но кому же было интересно, что интеллигентный мальчик в матроске прочел со стульчика сто лет традиционное «У лукоморья дуб зеленый»? Но когда этот пацан читал про немца вшивого и партизанку, когда и его, сопливого и, иначе как со стула, не различимого, захватил общий пафос ненависти к врагам — вот это слушалось! Неожиданно, внимательно, со взрывами смеха и бурной-бурной овацией в конце. Понятно, что раненые горячо просили мальчика еще что-нибудь прочесть, — и понятно их разочарование, когда они услышали извечное «Лукоморье».

А впереди площадь Калинина. Автобус пойдет дальше, прямо, в Аэропорт, а мне — направо, к НИИЖТу (Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта), к бабке, куда наконец-то переселилась вся моя семья.

Вот и все. Вот я и приехал… Вот и встретил всю свою новосибирскую жизнь, всю свою историю: и студенческие каникулы, и школьные мечты, и довоенное младенчество — первые впечатления вокруг «Колыванской, 3, кв. 19» с видом из окон на Обь, железнодорожный мост, далекий и пустынный тогда левый берег — и военное самостоятельное детство, первые школьные годы, самостоятельные путешествия к бабке через весь город с 6 лет… Вот и все. Можно сходить.

Сошел. Автобус пошел к Аэропорту… Как же я мог забыть?! Туда, в поселок за Аэропортом, бегал я на свое первое свидание,

впервые в жизни отважившись на это. Нет, влюбляться-то я начал с 4-го класса, но всегда страшно робко, конечно же, безответно, с безмолвными страданиями и переживаниями. И тут — вдруг… Впервые!

Я увидел ее у бабки в поликлинике. Юность и здоровье, казалось, готовы были брызнуть из нее. Я тогда воочию увидел, понял и ощутил смысл старой русской поговорки: «кровь с молоком», но, конечно же, и помыслить не смел ни о каком ответе на мои чувства с ее стороны, ни о какой инициативе — со своей. И вдруг, вечером, у дверей поликлиники я выслеживаю ее. Трясусь, но жду. Никуда не ухожу. Я тогда еще не курил даже… Как я смог ее дождаться? Мне было 18 лет, я собирался в Одессу, в плавание, в мореходное училище… Наконец она вышла. Я — за ней. Видно, и она была поражена тем же током, что и я, что властно привел меня к дверям поликлиники, несмотря ни на какую робость, заставил дождаться ее и, идиот-идиотом, полным и безнадежным, молча, не в силах выдавить из себя ни единого слова, двинуться вслед за ней. Сказать мне ей было нечего, делать мне было нечего, и в миллион раз мне было бы удобней и лучше провалиться сквозь землю, чем вот так вот, как бычку на веревочке, безмолвно следовать за ней, но… Видно, и у нее это было что-то первое, властное, неотвратимое. Иначе непонятно, почему она не прогнала меня, не засмеялась мне в лицо. В том своем положении я заслуживал только этого и ничего другого… Но и зато какой же это был праздник, что она меня не прогнала!

Так у нас с ней ничего и не вышло, мы даже ни разу не поцеловались… Но я впервые почувствовал себя парнем. Поздно вечером, в осенней непроглядной черноте, приходил я в ее поселок после работы, выслеживал ее под окнами, крался, прятался, перелетал через какие-то заборы, натыкался на собак, но она была уже моей. Она могла быть моей! Мы смотрели с ней «Неоконченную повесть», и я держал ее за руку. И она не отнимала руки! Правда, через день, уже на другом фильме, почему-то отняла… А через два дня я уехал. Может, потому и руку отняла?.. Потому что чувствовала, что уеду?..

Я иду домой, к бабке, иду по улице Дуси Ковальчук, по улице, название которой почти так же древне и первобытно во мне, как и Колыванская. Слева за забором — серые, как стершийся старый рисунок, корпуса завода, где тетя Мила в войну работала. Когда-то, до войны, они сияли яркими, весело покрашенными стенами, отражая лучи заходящего солнца и даже как-то ласково подсвечивая этими отраженными лучами темнеющую вечернюю улицу. Теперь они посерели, стерлись и поблекли, так же, как поблекло и стерлось в памяти мое солнечное детство, прошедшее

здесь, у бабки, вокруг этих корпусов. Справа, как и в Кривощекове, все новое и большое, а были деревянные домишки, палисадники, тополя…

Метет метель… Редкие ранние прохожие — какой-то студент, баба, пацаны-школьники — кутаются, отворачивают лица от метущей острой снежной пыли. А меня эта же самая метель встречает приветливо! Иду в кепке, откинув воротник демисезонного пальто, подставляя лицо, шею и уши крепким, но не злым, а как бы даже ласковым ее ударам. Может, это и не ласковость метели, может, просто не выветрилось еще из меня автобусное тепло?

И потому мне так приятны освежающие броски в лицо колючей морозной пыли? Может быть… Но мне очень хочется думать, что это сама государыня-матушка сибирская зима, слегка ворча, сердясь для виду, но все-таки любовно, с плохо скрываемой радостью треплет по щекам своего возвращающегося блудного сына.

Сворачиваю в проход за НИИЖТом. Здесь дороги кончаются: здесь по сугробам и снежным наметам скользят и карабкаются бесчисленные острогорбые тропинки. Пробираюсь мимо какого-то сарайчика, получаю последний шлепок по физиономии сорванной с крыши поземкой, миную последние снежные увалы у подъезда, обиваю снег с ботинок. Половичок, чисто вымытые деревянные ступени — и вот я уже перед знакомой дверью. 20 лет я стучался или сильно дергал, тряс дверь, чтобы собака взволновалась и поведала пронзительным звонким лаем глухой бабке, что кто-то там пришел. Теперь передо мной кнопка электрического звонка — ну как же: брат учится на 4-м курсе Новосибирского электротехнического института! Мне открывает Филя (Филипповна, Ксения Филипповна, сокращенно и ласково, по-домашнему, Филя), старая бабкина домработница, пьяница и чудная баба, моя слабость, моя Арина Родионовна, сваха моя! Как она обижалась, когда я вдруг уехал в Одессу от Гали, к которой в поселок за Аэропортом она ходила вместе со мной свахой, в дом которой она меня привела впервые. И какая же это была сваха! Мне до сих пор стыдно, что я не оправдал тогда ее надежд… Филя меня не узнала…

Выскочила мать. Обняла. За ее спиной, с дивана, из-под одеяла ухмылялась мне рожа брата. Он хотел быть солидным, он не хотел прыгать и плясать, как мать, но физиономия его выдавала: он не мог удержать ее на «солидном» уровне, она расплывалась, разъезжалась в неудержимую, довольно-таки идиотскую улыбку — брат был рад мне. Из другой комнаты приковыляла бабка. Обнялись мы и с Филей. Колени мои вмиг

были исцарапаны лапами Пестрика: он тоже визжал и лез целоваться. Я приехал домой. Я был ДОМА!

Новосибирск — Москва

Январь — август 1963 г.

Из записных книжек

1954. 17 декабря. (Уже в Москве, ставши студентом Щукинского училища, лет — 17 полных, восемнадцатый)

…А сегодня хотелось не то, что ныть — ВЫТЬ!!! Выть волком от сознания того, что являюсь паршивым жалким щенком.

…Буду-таки писать, мысли буду записывать, какими бы «контрреволюционными, опасными» они ни были…

… А я, как всегда оплеванный (никто никогда меня не «оплевывал», но в молодости очень часто и абсолютно искренне, серьезно и бесконечно горько ощущал себя таковым), терзаемый внутренними сомнениями, «решениями» и «самообматерением» (материл сам себя на чем свет стоит; в этом была и безжалостная бескомпромиссная самокритика, и, вероятно, какая-то спасительная самоирония).

18–19 декабря. Назло (себе!) пишу, чтоб ничего гаду, если таковым все-таки останусь, чтоб ничего не позабыть потом: ни одной благородной мысли и ни одной содеянной подлости. Вернее, «ничегонесодеянного» против гадости и подлости…

Самокритика и самонедовольство, т. е. всегдашнее присутствие в перспективе четкого идеала жизни и поведения — истинного или ложного, но всегда четкого, осознание своего несоответствия этому идеалу и дале-о-о-кого от него отстояния — отсюда постоянное недовольство собой и желание, стремление неусыпное, необходимость насущная двигаться, царапаться, продираться к идеалу — все это было и являлось, вероятно, залогом какого-то движения, роста.

Потолкуем о счастье

Размышления, не претендующие на бесспорность

Для полного счастья человека необходимо иметь славное общество.

Симонид Кеосский, VI в. до н. э.

Истинное человеческое счастье заключается в том, когда человек сумеет стать средством для счастья других, многих людей, а не в том, когда он замыкается сам на себя — для личного наслаждения. И даже любовное счастье пары людей невозможно или оно приобретает пошлую, животную форму, если любящие люди не соединены с большой действительностью, с общим движением народа к его высшей судьбе.

А.П. Платонов

Отыщи всему начало — и ты многое поймешь.

Козьма Прутков

Где-то в начале 80-х, в самом глухом и беспросветном «застое», еще «под знаменем Ленина и водительством коммунистической партии», когда не токмо что «рынок» или «приватизация», а и слова «перестройка» еще произнесено не было, обратился ко мне журнал «Советский экран» в лице своего журналиста Петра Черняева с таким вопросом: «Болевые точки молодежной (?) проблемы». Почему? Ко мне… Про молодежь…

Но и как же он угадал, Петр Черняев! Не знаю почему, но вопросы эти вполне волновали меня чуть ли не с шестого еще класса. И не перестают волновать по сей день! Почему? Из чувства отцовской ответственности? Так в шестом классе я не был еще отцом… Но собирался! Или от исповедования мной коммунистических идеологии и мировоззрения? В моем понимании, коммунизм — это не ЗА СЕБЯ, не о СЕБЕ, а вечная забота об обществе, в котором, с которым живешь. А проблема молодежи для нормально здорового общества всегда будет самой насущнейшей, первейшей: не воспитали, упустили, изуродовали молодежь — погубили общество. Я так считаю. И не только я: вон и Симонид Кеосский две с половиной тыщи лет тому назад, и

Андрей Платонов, при мне еще живший, да и в промежутке между ними наверняка еще сомысленники найдутся…

И вот вопрос, который я будто только и ждал: в чем же, по моему мнению, «болевые точки молодежной проблемы»? «Безотчетное стремление к счастью свойственно всякому живому существу», — заметил когда-то Стендаль. У Горького: «Человек создан для счастья, как птица для полета». У Стендаля поточней. У Алексея Максимыча — «покрасивше», каковая красивость как-то заслонила собой, а может, давно уж и убила довольно-таки верный смысл.

Шукшин, вернее, его герой в фильме С.А. Герасимова «У озера» на вопрос, что такое счастье, отвечает примерно так: «Счастье? Это цель. Да, ясная, осознанная, общественно-полезная цель. Цель — вот что такое счастье!» Дальше он сам себе удивляется и радуется: «Ишь как хорошо сформулировал!»

Хорошо. Верно. В покое не может быть счастья. Как и жизни. Жизнь — ас нею и счастье — только в движении! А у движения цель должна быть. Перспектива. И цель, не выдуманная для красивости, а осознанная, реальная. И — необходимая. И обязательно общественно необходимая, а не одному кому-то. Может, я не прав, но мне почему-то (начало 80-х, «застой», страна еще движется к «светлому коммунистическому будущему», и ведут ее туда, пока, правда, не на капитанском мостике, но уже третьими, вторыми и даже старшими помощниками и М.С. Горбачев, и А.И. Яковлев, и Э.А. Шеварднадзе, и Б.Н. Ельцин…) упорно кажется, что нынче у нас в нашей обыденной жизни явный перекос, перевес целей индивидуальных над общественными, над общественнонеобходимыми. Во всяком случае, по сравнению со временем моей юности послевоенной (мне было 8 лет, когда кончилась война).

Ведь сегодня человек, мечтающий о даче, машине, квартире — отдельной, хорошей, устроенной так, как ему хочется, и посвящающий всего себя этой цели — свой труд, изобретательность, упорство, — это нормальный, ни у кого никаких отрицательных эмоций не вызывающий человек. А в наше время? Да это же индивидуалист, шкура бессовестная — тот, кто мечтает только о своем благополучии, когда все, вся страна, надрываются в нечеловеческих усилиях вылезти из разрухи, оставленной войной.

А в утере, в разжижении общественно необходимой цели и в утверждении, узаконении целей индивидуальных — в этом мы, по-моему, жутко много теряем. Прежде всего, молодежь наша. Человек, борющийся за свои удовольствия, свое личное благополучие, — за «себя любименького», как выразился один

мой знакомый, — да будь он богатырского роста, упражняй себя штангой, аэробикой, каратэ — его же можно остановить обыкновенным тривиальным графином. Не говоря уж о ломе… А какой поезд, какие тысячи тонн грохочущего металла остановят маленькую, слабую женщину, если они грозят оказавшемуся на рельсах ее детищу? Да просто чужому ребенку? Она же бросится спасать! И спасет. Во всяком случае, скорее погибнет, чем позволит у себя на глазах поезду — или любой другой опасности! — погубить ребенка. Кто сильнее — индивидуалист или коллективист? Эгоист или альтруист? Кто надежнее? Да симпатичнее, привлекательнее, в конце концов?

Для эгоиста, себялюбца любая случайная травма — уже катастрофа, уже невосполнимая потеря. Какое благополучие, какое удовольствие без руки, без ноги. Да без пальца, без красоты на лице… А Николай Островский, будучи фактически «живым трупом», слепым, абсолютно неподвижным, умудрился при всем этом стать счастливым! Потому что нашел способ остаться в строю и работать для общей, такой желанной, так страстно им любимой, так очевидно необходимой всем и ему, как ему свято верилось, цели. Почему-то никто никогда не задумывался над явным и интересным парадоксом: ведь воспринимая историю Павки Корчагина из книги, с экрана ли, мы общаемся с рассказчиком — смертельно и безнадежно больным человеком, а чувства он вызывает у нас не жалости, не сочувствия и какого-то угнетающего бессильного, бесперспективного сострадания, а — зависти! Кому мы завидуем? Забыв сострадать… А ведь мы завидуем! Особенно смолоду. (Это, правда, не сейчас, это в наши глухие сталинско-хрущевско-брежневские времена…) Мы настолько (в свое время, при коммунистах) занудили молодежи мозги неразумно, а порой и без совести бесконечно повторяемыми «высокими словами», что у молодежи, всегда очень чуткой к фальши и несправедливости, давным-давно выработалось что-то вроде идиосинкразии ко всем этим словам. И не только к высоким. Заодно с ними и к разумным.

Если хоть что-то из этих моих ощущений соответствует действительности, то виноваты тут прежде всего мы, взрослые. Мы ведь нынче как-то очень ловко уживаемся со взаимно исключающими вещами: к примеру, искренне, от всей души голосуем и ратуем за взаимопонимание и разрядку напряженности в мире и — грызем, лаемся, чуть не деремся (а то и деремся!) дома. С собственными женами, матерями детей наших. Нередко, если не постоянно, — в присутствии детей… В разговорах — на кухне ли, в поезде, на собрании, на отдыхе, по телефону — мы высказываем столько замечательных, верных

мыслей о воспитании, трудолюбии, о самостоятельности, о честности, добросовестности, что вот, мол, как мы в их годы… И при этом «устраиваем» своих детей в институты; если можем — где поближе и полегче на военную службу, на местечко повыгодней, потеплей; платим взятки (или «подарки», «благодарности») и тем самым, ратуя в разговорах за «качество», выпускаем в жизнь самый страшный и непоправимый брак — человеческий.

А ведь в юном возрасте, не как нам, еще трудновато: с жаром, искренне, от души декларировать одно и делать — диаметрально противоположное. Они сперва только делают противоположное нашим разумным и горячим призывам. Со временем привыкают врать и ханжить, как мы. Делать то же, что и мы: диаметрально противоположное декларируемому. А мы удивляемся, сетуем…

И еще вопрос «Советского экрана»: что формировало Вас как художника?

Ответ:… да вот, наверно, вера в цель общественно-необходимую была. Она и сегодня у меня есть.

Общее счастье, взаимопонимание, мир — это ведь очень хрупкие вещи. И тем более требующие, чтобы люди для их достижения и сохранения работали, отдавали все свои силы.

А в поиске этой цели и на пути к ней: классика. Отечественная и мировая. Классика никогда не противоречила, а всегда только активно помогала этим общечеловеческим целям, всегда работала на них. Я только никак не пойму, почему сегодня при упоминании о классике, особенно отечественной, у нас так модно стало брезгливо и презрительно морщить нос: «А-а… классика… Она нам еще в школе надоела…» К отечественной классике я отношу не только то, что сделано до 1917 года, но и после, вплоть до Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина…

Да, вот «общее счастье…». Написал, перечитал и усомнился: не слишком ли «высокие», не общие ли, т. е. пустые, ничего не говорящие слова? Может быть. Для меня — нет.

Конечно же, общего полного, безоблачного счастья быть не может, это абсурд. Кто-то страстно безумно, мучительно любя, так и не дождется взаимности. Кто-то по здоровью ли, по недостатку ли способностей вынужден будет отказаться от мечты о любимой профессии. А дальше еще хуже: сын вырос не таким, как мечталось; дочь вовсе не за того вышла, да развелись, да внуков осиротили, правнуков… И так до бесконечности. Вот продолжаю эту цепочку, а она ведь хитрая, цепочка-то, совсем-совсем не однородная: если не пустили здоровье или способности в моряки или артисты — тут претензии только к Богу. Или к

Судьбе. Что тут поделаешь? А вот детей да внуков сиротить — с претензиями по этому поводу уже можно (и должно!) обращаться поближе…

И уж хотя бы не уродовать, не мордовать детей, душу их, еще не окрепшую, не надрывать непосильным для них, диким выбором: с кем жить? Кого любить, а кого не видеть и ненавидеть из самых родных и близких — папу или маму… «Счастье — это отсутствие несчастья», — когда-то за 300 лет до нашей эры считал грек Эпикур. Так вот это счастье, которое отсутствие несчастья для детей наших — это ближе к нашим возможностям, это нам вполне по силам. А мы что делаем? Часто мы об этом задумываемся? Много делаем для убережения детей наших от несчастья? Господи! Да даже в благополучных семьях не надрываем ли мы души детей наших постоянным бестактным, не стесняясь их присутствием, обсуждением характера, поступков, поведения любимой ими бабушки, мамы, папы?..

А радости и удовольствия, взятые попутно с обидой, унижением, с ущербом для другого — эти радости, удовольствия за чужой счет ни в какое сравнение не идут со счастьем, какое ты испытываешь от устремленных на тебя, сияющих любовью и благодарностью глаз стариков; совсем другой любовью и абсолютным в данный момент счастьем глаз женщины; любовью, восторгом и счастьем глаз ребенка… Да лошади, собаки!.. И ты знаешь наверняка, что это — не случайно. Не по ошибке. Что ты — сознательный творец и причина этой обращенной к тебе сияющей благодарности, радости, счастья!

Сколько еще для «общего счастья» в наших силах!

Вот, стало быть, цель как-то формировала. А на пути к цели — классика. Вся и всякая: и «Дубровский», и «Тарас Бульба», и Моцарт, и Рахманинов, и «передвижники»; «Царская невеста» Римского-Корсакова и «Принцесса цирка» Кальмана; «Что делать?» Чернышевского и «Конек-Горбунок» Ершова; «Три мушкетера» Дюма-отца и «Кола Брюньон» Ромена Роллана. И наша советская классика: и литература, и кино, и живопись, и Дунаевский, и песни военных лет. И зарубежная киноклассика, «взятая в качестве трофея…

В 1977 году отмечала моя родненькая 73-я школа Кировского района г. Новосибирска свое 40-летие (мы с ней, оказывается, ровесники, со школой-то моей). Побывал я на праздновании (в те годы регулярно навещал Родину: все еще живы были!.. И силенок было побольше. И цены за проезд-перелет не такие драконовские были, как при демократах, и зарплату коммунисты платили регулярно и стабильно). А вскоре после праздника получил я письмо от 71.Н. Солуянова, бывшего, сколько я помню, вечным

завучем нашей 73-й. Письмо с просьбой написать воспоминания о годах нашей учебы в школе — собирались тогда организовывать музей нашего Кировского района, а Лев Николаевич принимал деятельное участие в сборе и подготовке материалов. Письмо Льва Николаевича где-то у меня в бумагах завалилось, а мой ответ сохранился.

«Дорогой Лев Николаевич!..

…Первым делом, по школьной еще привычке — эпиграф. Эпиграф подвернулся мне совершенно случайно недавно в «Неделе», где помещен был материал к 100-летию Альберта Эйнштейна («Лев Николаич, а из Эйнштейна можно эпиграф взять?» — как обязательно спросили бы мы в школе перед сочинением…).

Итак: «В сущности, почти чудо, что современные методы обучения еще не совсем удушили святую любознательность, ибо это нежное растеньице требует наряду с поощрением прежде всего свободы — без нее оно неизбежно погибнет. Большая ошибка думать, что чувства долга и принуждения могут способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и искать». А. Эйнштейн.

Сегодня к этой бесспорной (для меня) мысли А. Эйнштейна, насчет необходимости свободы для возбуждения «святой любознательности», я бы к этому добавил еще: осознание своей причастности к поступательному движению истории, страны, народа. Было у нас, имели мы это счастье: ощущать явное, бесспорное и определенное поступательное движение страны и народа и собственную неотторжимую причастность к этому движению. Надо было поднимать страну из разрухи после войны, двигаться вперед, а для этого — развиваться, учиться, образовываться, совершенствоваться. И это ощущение — естественное, органичное, не навязанное — тоже, по-моему, играло не последнюю роль.

Я сам, может, и не догадался бы, просто не думал об этом, но вот со стороны говорят (правда, это жена моя говорит, но по отношению к 73-й школе она, москвичка, явно человек со стороны), что не всякая московская школа может похвастаться таким выпуском, каков был наш в 1954 году: 2 доктора наук (Валя Каган, Эрик Малыгин), известный писатель! (Витя Лихоносов), да и вот я, какой-никакой, но тоже не совсем безызвестный киноактер… Это только те, кого знает моя жена, а ведь среди выпускников нашей школы одного хотя бы 1954-го наверняка найдутся и еще такие, кем с удовольствием гордилась бы любая другая школа. Стало быть, серьезными, солидными были и школа, и поставленный в ней воспитательный процесс, раз дали они столь весомые плоды. В чем же секрет, в чем причина такой урожайности?

Мальчишкой я, конечно же, не был доволен своим детством. Я завидовал гайдаровским героям времен Гражданской войны из «Р.В.С.» и других повестей и рассказов, завидовал детству Павки Корчагина, как всякому мальчишке, мне недоставало в окружавшей тогда меня послевоенной кривогцековской жизни героических ситуаций, необходимости в немедленном героическом действии: чтобы вскакивать на лошадь, куда-то мчаться, спасать, выручать своих… А мне приходилось с папкой для нот, искренне, горячо, прямо-таки «пролетарски» ненавидимой папкой для нот — занудно тащиться на урок музыки, потом два часа ежедневно заниматься этой музыкой, не считая уроков в школе, которые я никогда не успевал все сделать. Я страстно, неудержимо завидовал всем мальчишкам оккупированных, прифронтовых, фронтовых районов, их дежурствам на крышах во время налетов, их помощи раненым, партизанам, бойцам, солдатам, разведчикам… Словом, когда я был мальчишкой, я, наверно, как и всякий нормальный парень, завидовал всем другим героическим и интересным детствам и не любил своего.

Но сегодня, с высоты своих прожитых лет, я бесконечно счастлив и горд нашим детством, счастлив своей принадлежностью поколению «детей войны»… Счастлив и горжусь нашим детством «детей войны» победившей справедливости. На этом чувстве — победившей справедливости — взрастало когда-то ослепительное и блестящее искусство Древней Греции. Детьми войны победившей справедливости были Андрей Рублев и Александр Пушкин: Рублев был ребенком во время Куликовской битвы в 1380-м, Пушкину было 13 лет во время Бородина в 1812-м. Рублев и Пушкин были детьми справедливейших и победоносных битв и войн России. А Софокл с Еврипидом не были детьми справедливой и победоносной войны? Эсхил был участником Саламинского сражения, но он был постарше, Софоклу было 16, а Еврипид родился в этот год.

А наше поколение, поколение детей Великой Отечественной 1941–1945 годов? Есть ему чем похвастаться и гордиться! Не знаю, как в других областях культуры, но в искусстве и литературе это такие уже проверенные, бесспорные фигуры, как Шукшин и Тарковский, Вампилов и Распутин, да и Витя наш Лихоносов не в последних рядах этой фаланги… Да и еще найдутся.

Я горжусь моим поколением и многие успехи его отношу на счет очень удачного и счастливого времени его взрастания и взросления. Многие. Но не все. Кроме удачного и счастливого времени для нашего взрастания и формирования необходимы были конкретные условия, в которых мы развивались. И вот тут нельзя

не помянуть добрым словом не просто Кировский район города Новосибирска, а конкретно 73-ю мужскую среднюю школу! Откуда, кем? но заведенный в ней дух свободы какой-то, демократизма! Может, именно той самой Свободы, которая нужна, по мнению Эйнштейна, чтобы «не погибла святая любознательность»?

Лев Николаевич, это не комплимент и не лесть (зачем они мне?), но кому я ни рассказывал, почти никто не верил и все удивлялись: как могли Вы разрешить мне в 10-м классе— в 1954-м году (!), после смерти Сталина, но задолго еще до развенчания «культа личности», — как могли Вы разрешить мне писать сочинение по очерку А.М. Горького «В.И. Ленин» по моему собственному (а не по Вашему) плану, излагать собственные мысли, собственный взгляд и на образ Ленина у Горького, и вообще собственный взгляд на то, что для меня представляет фигура вождя социалистической революции и пролетарских масс в ней. Для того чтобы такое позволить, надо было, наверно, быть очень уверенным в истинной и объективной ценности и правоте того, что Вы нам преподавали, и в нас! Что мы правильно воспринимаем преподаваемое Вами. Не можем неверно воспринимать! А такое доверие, такая вера, такая свобода — они, наверно, дороже всего. Они, по-моему, плодотворней всего! Если Вы помните, то тема доверия, уважения к нам, пацанам послевоенного Кривощекова, звучала чуть ли не в каждом выступлении выпускников тех лет на недавнем 40-летии школы».

Вот такие вот «открытия», измышления, выводы, обобщения получились у меня в переписке со старым моим учителем в конце 70-х годов. А преподавал Лев Николаевич русский язык и литературу. Друг мой Эрик Малыгин, получивший Ленинскую премию только за то (как он сам говорил), что изложил и оформил результаты совместной работы с московскими коллегами (я полагаю, что это он, как обычно, скромничал и прибеднялся, думаю, и в работе его участие было пошире, и работа чего-то стоила), а этим изложением и оформлением он обязан исключительно Льву Николаевичу, который научил нас мысли свои излагать в удобоваримой, ясной, грамотной, доходчивой форме. И Лихоносов Витя, тоже наш друг и однокашник, лауреат Госпремии РСФСР в области литературы, думаю, в фундаменте своего творчества не одну пару кирпичиков, заложенных Львом Николаевичем, имеет…

…«Льва» мы боялись панически. А он голоса в жизни не повысил!.. «Пацаны! Атанда! Петя!» (это про директора) — ну, утихали, конечно, но трепета внутреннего — не помню. Но если раздавался шипящий шепот: «Леф-ф-ф!..» (почему-то обязательно шепотом!) — на всех находило какое-то оцепенение, близкое,

может, даже к ужасу… А он молчал. Не повышал голоса. С чуть откинутой назад, иногда вздрагивающей головой.

Всегда, кажется, в одном и том же сером костюме… Зимой вроде в валенках. «Петя» провожал нас из школы в 1954-м в неизменной «сталинке» — темно-синем кителе, застегнутом до верхней пуговицы, а когда я навестил школу после XX съезда, — вдруг резко изменил «моду»: появился серый в полоску костюм, светлая рубашка, темно-красный галстук, то есть, как нетрудно догадаться, всегда равнялся по премьеру страны, как и многие-многие функционеры. А «Лев» всегда оставался самим собой, человеком. Даже в кличках, в неизбежных школьных сокращениях: «Лев» и «Петя», чувствуется уважение и почтение к первому, и пренебрежение ко второму. Ведь «Петр» вроде бы короче для произношения, так нет же: «Петя», а Лев Николаевич всегда оставался «Львом»!

Да и не один он у нас был, сколько их было!.. Разных! Сосланных по разным причинам и проводивших в меру сил и способностей свою просветительскую деятельность. Как некогда и Радищев, и декабристы, и петрашевцы, и прочие, и прочие, и прочие… Глеб Витальевич Цетнерский — вроде за дворянство, Иван Владимирович Оберберг — за немецкую национальность, Мария Львовна Медведева — какая-то родственница кого-то из управляющих Путиловским заводом в Питере, Алевтина Васильевна… фамилию забыл, негодяй… Да и несосланные, наши, в Сибири выросшие: Ансимова Александра Яковлевна, Маняхина Ольга Михайловна, Гитченко Антонина Ивановна, Сергеева Мария Евгеньевна, Шермаков Александр Тихонович (наш «Тихоныч», скольких разрядников он подготовил по лыжам, по гимнастике! Как мы к спорту все рвались!)… Наверно, перепутал еще, расставляя «сосланных» и «несосланных»… Да мы наверняка этого и не знали. Так… где-то урывками слыхивали… Марию Ивановну Киселеву еще забыл, Заводчикову Людмилу Федоровну, Белкина Саадия Абрамовича… Ой, господи, да скольких еще из начальной школы…»

Письмо Вере Павловне Редлих

Вера Павловна Редлих. Когда-то, еще до революции (1917-го, не 1991-го), снялась в роли боярышни Стеши, подносившей пирог («с грибками, батюшка, с грибками») Ивану Грозному — самому Ф.И. Шаляпину. Училась в Школе драматического искусства, руководимой актерами МХТа Н.Г. Александровым, Н.О.

Массалитиновым, В.А. Подгорным, где «довольно часто посещал» их уроки и репетиции сам К.С. Станиславский. Потом из этой Школы образовалась Вторая студия МХТа, где сокурсниками, соученицами Веры Павловны были Н.П. Хмелев, А.П. Зуева, М.И. Прудкин и многие другие артисты, оставившие внушительный след в истории русского советского драматического искусства. В юности зналась Вера Павловна в Коктебеле с М.А.Волошиным, с Мариной Цветаевой и ее семьей. Подругами ее юности были А.К. Тарасова и С.Е. Голидей, героиня цветаевской «Повести о Сонечке». С 1932 по 1960 год Вера Павловна проработала в новосибирском театре «Красный Факел», сперва в качестве ассистента режиссера, потом преподавателя театральной студии, потом режиссера-постановщика и, наконец, главным режиссером. Именно во время ее руководства театром «Красный Факел» и стали величать «Сибирским МХАТом». А Мария Иосифовна Кнебель, бывшая в свое время любимой ученицей Станиславского, всю жизнь преподававшая в ГИТИСе (так что ее мнение, полагаю, вполне заслуживает и внимания, и уважения), считала, говорят, что режиссура в принципе — профессия не женская, что ей, Марии Иосифовне, известны лишь два исключения из этого представляющегося ей непреложным правила, две женщины, которые целиком и полностью могут соответствовать званию режиссер, — это какая-то француженка (далеко, не у нас, «за бугром») и наша, новосибирская тогда, в годы моего взрастания и взросления, Вера Павловна Редлих. А М.И. Кнебель, думаю, кое-что в своей жизни, отданной театру, видела и понимала.

Это о Вере Павловне.

И как-то ночью, переполненный и булькающий впечатлениями от только что просмотренного рязановского «Жестокого романса», написал я Вере Павловне письмо:

г. Москва, 6.XI.84 2 часа 30 минут ночи.

Вера Павловна!

Мне не очень удобно Вам писать, потому что Вы меня совершенно не знаете, но не написать я уже не могу. Не могу не выразить Вам свой восторг, удивление, благодарность, которые во мне с годами не утихают, не затушевываются, не тускнеют, а почему-то растут и достигли уже того напряжения и накала, когда не высказать их Вам я уже не могу. Извините за нескромность, но чтобы все объяснить, я должен подробно Вам представиться.

Родился в 1937-м в Новосибирске. И взрастал, и формировался, и закончил школу там, и там же возмечтал и решил стать актером. В 1954-м уехал в Москву и поступил, а затем закончил Театральное училище им. Щукина при театре Вахтангова.

Получил распределение в родной «Красный Факел» (в 1960-м, когда Вас там уже не было), но до «Красного Факела» не доехал, потому что тут же, еще не успев получить диплом, был приглашен в кино, да так при нем, при «кине», и остался до сего дня. И, вероятно, останусь, покуда буду нужен, покуда не выгонят. А выгонять вроде пока не собираются, недавно вон присвоили звание заслуженного артиста РСФСР…

А в «Красном Факеле» я работал. Но недолго, месяца два с половиной, когда еще Вы там были. Это было лето 1953 года. Я закончил тогда 9-й класс, получил паспорт, услышал по Новосибирскому радио, что театру «Красный Факел» требуются рабочие сцены в отъезд на гастроли в Москву, явился, был принят и проработал где-то с середины июня до конца августа, немного не дождавшись конца гастролей, торопясь к 1 сентября в школу, в ответственный, завершающий 10-й класс.

При поступлении в Театральное училище меня спрашивали: какие театральные впечатления были у меня в родном городе, на чем я рос и воспитывался? Я с гордостью ответил про наш «Красный Факел», не сознавая, не понимая тогда до конца, что это были не просто впечатления провинциального мальчика, школьника. Сегодня я все более и более убеждаюсь, что наряду с впечатлениями от мировой и отечественной театральной классики, которые мы тогда получали в виде фильмов-спектаклей, среди которых для меня на первом месте были фильмы-спектакли Малого театра и Белорусского театра им. Я. Куп алы, — наряду с ними — впечатления от «краснофакельских» «Чайки», «Зыковых», «Бесприданницы», а чуть позже от «Села Степанчикова». Это были впечатления не просто узкопровинциального уровня и даже не всероссийского, всесоюзного масштаба, а просто-напросто впечатления мирового класса!

Мне сегодня 47 лет, 24 из которых я проработал в кино, снимаясь на московских, российских, республика неких студиях, принимая участие и в совместных, и в зарубежных фильмах, кое-что и кое-где видел, но впечатления от Ваших спектаклей, от спектаклей «Красного Факела» того времени не тускнеют. Сегодня я, к примеру, абсолютно убежден, что чеховская «Чайка» на русской сцене вообще состоялась единственный раз — у нас в «Красном Факеле». У Вас! В первой мхатовской «Чайке» было все, но не было Нины Заречной (если верить отзывам и мемуарам), а в Александринке была Заречная — Комиссаржевская, но не было спектакля, а у нас в Новосибирске в 50-е годы — все было! И Капустина — Заречная! И спектакль!

Где-то в конце 50-х, заканчивая училище и посмотрев нашу (Вашу!) «Бесприданницу», я еще стеснялся сказать, что Лиотвейзен

в роли Паратова мне был понятнее и нравился гораздо больше Кторова, а сегодня я убежден, что Ваши спектакли были безупречно решены, чего я не могу сказать о Протазанове, ни тем более сегодня о рязановском «Жестоком романсе», где Рязанов, на мой взгляд, умудрился убить не только Островского и всех исполнителей, но даже и себя, Рязанова — ведь у него же, у Рязанова, бывало, получались фильмы. Ну, Островского, слава Богу, не шибко-то убьешь, руки коротки, он стоит себе на всех языках на книжных полках всего мира, но если не знать того Островского, вечного и бессмертного, глядя на этого, «усовершенствованного» Рязановым, можно подумать: Боже! До чего же слабый, пошлый и непрофессиональный драматург! Бог с ним, с Рязановым…

Вернемся к Вам и к Вашей (нашей!) «Бесприданнице» и к нашему общему, вечно живому, великому и мудрому А.Н.Островскому.

Точнее, великолепнее, блистательнее Вашего и нашего Карандышева — С.И. Галузы я сегодня себе даже ничего и представить не могу! И только горьки мои, неутешны, безнадежны слезы о том, что этого уже никто никогда не увидит… Что некому было в свое время все это заснять на пленку, сделать фильмы-спектакли и оставить потомкам, детям моим хотя бы…

Замечательно играл Фому Опискина А.Н. Грибов во МХАТе, а у нас (у Вас!) С.С.Бирюков тоже играл замечательно! Был не хуже. Не ниже. Только весь спектакль был лучше, решеннее, понятнее. А Беляев в роли полковника! Да и все! Во мхатовском «Селе» кроме Грибова ничего не было, а у нас (у Вас!) все было!

Господи! Какой белой светлой завистью я завидую С.И.Галузе и В.Я. Капустиной!.. Какие блестящие дуэты довелось им отработать! Михаил и Павла в «Зыковых», Треплев и Заречная в «Чайке», Каран-дышев и Лариса в «Бесприданнице»!.. Передайте мой поклон и запоздалые восторги и благодарности С.И. Галузе, если Вы с ним видитесь и общаетесь.

В марте нынешнего года, 6-го, кажется, числа, когда в Минске праздновали Ваш юбилей, я был в Минске, снимался на «Белорусьфильме», мечтал прийти на Ваш юбилей и лично, и публично выразить Вам свой невыразимый восторг и благодарность. Прибежал после съемки в институт, где у Вас все это происходило, но — опоздал.

Извините за бестолковость и сбивчивость моего послания. За многословие и, как ни печально, — маломыслие… Неубедительномыслие.

Спасибо Вам.

Низкий поклон Вам.

И необъятная, безграничная благодарность!

Не вполне осознавший и сегодня еще всего того, чем Вам обязан. Ваш некогда земляк и вечный восторженный поклонник:

Юрий Назаров».

…Наверно, все это как-то формировало… А какие актеры! Которые властно брали твою открывавшуюся миру, добру, впечатлениям и познаниям душу и уводили ее в этот прекрасный, чарующий, так никогда и не отпустивший меня мир… Мир света, правды, красоты, добра, любви, ума! Мир увлекательный и увлекающий! Жестокий и далеко не всегда справедливый, но неотразимо влекущий! Какие актеры!… И Е.С.Матвеев, уехавший от нас «завоевывать» Москву и «завоевавший». И оставшиеся, и разъехавшиеся позже: Капустина, Галуза, Бирюков, Бахтин, Морозкина, Аржанов, Глазырин… Да разве всех перечислишь! Кого-нибудь обязательно «обронит» слабеющая память, кого-нибудь обязательно «обидит»… А фильмы-спектакли 50-х! Малый театр с феноменальными, сказочно могучими и прекрасными В.Н. Рыжовой, Е.Д. Турчаниновой, А.И. Сашиным-Никольским, Н.И. Рыжовым, В.Н. Пашенной, И.В. Ильинским. Белорусский имени Янки Купалы с фантастическими Глебовым, Дедюшко, Платоновым!.. А вахтанговцы (в годы моего учения в Щукинском): «На золотом дне» — Гриценко! Борисова! Ульянов! Понсова! Покровский! Каскад! Фейерверк! А С.В. Лукьянов в «Булычеве»!

Самолеты-перелеты

12 апреля 1986-го, борт самолета Як-40 (со съемок в Свердловске — на «Казахфильм»), Свердловск — Кустанай (+5°) — Аркалык (+9°) — Кзыл-Орда (+21°).

В Кустанае (стоим везде по 20 минут) вокруг аэропорта сухо, а в городе, говорят, — и снег, и потоп. Между Кустанаем и Аркалыком под крылом еще снег, еще зима. А взлетели из Аркалыка — весна. Да какая! Казахстанская!

Мне хочется слегка уточнить, расшифровать, что я подразумеваю, чем для меня является понятие «казахстанская весна». Я видел ее. В 1955 году. Восемнадцатилетним «искателем правды», смысла жизни… Испытателем самого себя: гожусь ли я для той жизни, которая мне интересна, которая меня влечет, которую я еще не знаю, люблю ли… и насколько?., но которая неотступно тянет к себе.

Казахстанская весна… Одно из самых феерических чудес, подаренных мне жизнью!.. Одно из самых драгоценных сокровищ, навечно хранящихся в моей душе. Строили мы мост — не трубу

под путями, а большой, солидный мост в несколько опор (три-четыре, если не больше), на сухом берегу! Во широкой степи… Недалеко, не больше ста метров, а то и ближе от крайней (считавшейся «береговой»!) опоры стоял наш барак — времянка, вероятно, но жилой барак, с печками, с сортиром за бугорком… Там мы жили! Я — с конца февраля по июнь, т. е. все время своего пребывания в Казахстане и в Мостопоезде № 453… А с другой стороны опор, на противоположном, вроде как «берегу», были вагончики, подсобки и прочие необходимости стройплощадки. Даже рельсы подъездного пути туда подходили. Все было! Только реки не было.

И вот 7 мая утречком вышли мы на смену, а может, просто на работу… — в «смену»-то, т. е. круглосуточно, мы вкалывали зимой, а тут уж, не помню, но 7 мая — точно — я тогда «купальный сезон» открыл, спасая из воды дурака Витьку Мясоедова… Чем долго потом хвастался — не тем, что спасал (спасали общими усилиями), а тем, что «7 мая купальный сезон открыл!..». Так вышли мы утречком и прошлепали из барака на стройплощадку пешком, а чтоб вернуться в барак на обед, уже ждали… лодку! Пошла вода. Да как! Было Витьке где и утонуть! У него сапоги рваными оказались, и к обеду он промочил ноги и, злой, не стал с нами лодки дожидаться — все равно ноги промокли! — попер через поток. А поток его — под коленочки, да и поволок! А я вспомнил, что он когда-то говорил, что плавать не умеет…

Вот такая вот Казахстанская степь! Северный Казахстан. Станция называлась Мариновка. На линии Акмолинск — Карталы, между Жалтыром и Атбасаром, ближайшие станции: Колутон и Адыр… Вероятно, на каком-нибудь из притоков Ишима…

А вместе с водой обрушилась на нас и весна! Со всей мыслимой и немыслимой «экологией», фауной, пернатой, водоплавающей, летающей, ныряющей, бегающей… Тучи гусей, уток, чирков, нырков всех мастей, пород и расцветок прошли над нашими головами!.. Весь этот разгул и шабаш длился дня три-четыре, от силы неделю. Потом вода прошла. Постояла и сошла. Оставив в какой-то из наших строительных ямок — малюсенькая ямка емкостью с ведро, может, чуть попросторнее — застрявшего, отставшего от ушедшего половодья, огромного, килограмма на два (на совковой лопате едва умещался) — не то карпа, не то леща, не то сазана… Наши бабы — штукатуры, не то подсобницы — его обнаружили, руками из ямки достали и в ведре унесли…

Через три-четыре дня все успокоилось, через недельку-полторы — просохло, немножко позеленело, поцвело буйным, пышными цветом, и к концу июня все уже высохло: ни единой зеленой былинки, все серо-палевое, хрустящее, шелестящее, гремящее на

ветру… Береги от огня— порохом вспыхнет!..

Вот для этого «шабаша», для этих трех-четырех дней в году мы и мост строили! Остальные 362 дня вокруг нашего моста будет сушь да гладь… Божья благодать не все 362 дня будет, поменьше, будут там и вьюги-бураны зимние, и, наверно, пыльные бури летне-осенние…

Вот что значит для меня понятие «казахстанская весна»…

«… А взлетели из Аркалыка— весна. Да какая! Казахстанская!! (Аркалык всего в каких-нибудь трехстах километрах к юго-западу от моей Мариновки, от моей юности и первой встречи с Казахстаном!) И вот опять: «Вся степь — в разводьях, вся — течет! А весеннее солнышко — вечернее, к закату — бьет косыми лучами по разводьям, по воде — и под тобой на взлете: чудо! Не-га-тив! Матовый, в легкую синь… Только разводья (как сучья на негативе, если снимать кусты, деревья на фоне неба — на негативе небо будет темным, а сучья — светлыми), не просто светлые — ослепительные!.. Расплавленное — не то золото, не то платина… А дальше по степи в беспорядке раскиданы, как лоскутья рваные, разной формы и размеров — и тоже слепят, сияют — не озера — лужи, впадины с талой полой водой… А цвета? Не то красно-белого, не то бело-красного… Фантастика! Такого ни во сне, ни в «кине» не увидишь… Только с борта самолета (с западного борта, летим на юг, а место мое «Г» смотрит на запад), с борта Як-40 12-го апреля 1986-го, в 16 час. 40 мин. московского, в 19 час. 40 мин. казахстанского, в пути, во время последнего перелета Аркалык — Кзыл-Орда! Пока писал в записную книжку, отвлекся от иллюминатора, глянул — а там ровная матовая синева… Подумал: опять зима? Не-ет! Течет! Течет степь! И «сучья»-разводья под солнцем — и негатив матово-синий!..»

«Минск, 28 сентября 1989-го». Львовское телевидение, какие-то тернопольские фольклористы пели: «Лишь на батьківщине солодкою стаэ проста вода…»

Никогда ведь сроду в Оби сладкой вода не бывала; а нынче стала… Ипить-то ее страшно и смертельно опасно — в Заельцовском парке! Ниже миллионного разгильдяйского промышленного современного российского города!.. — и не пил, упаси Бог, но искупался, не удержался, а на губах сладко было… А отец говорил когда-то, что в Томи вода сладкая…» (родители мои в Томске родились).

Мои корни

«Откуду есть пошла…»

«Повесть временных лет»

В общем-то, фамилия моя могла быть и Кутырев… Не знаю уж, приятнее ли это было бы для слуха или… Нет, большой приятности и благозвучия, как в звучании «Назаров», нет, так и в «Кутыреве» не больше, если не меньше. Тут дело вкуса. Но что Кутыревы все-таки реже Назаровых встречаются, это — бесспорно, для меня, по крайней мере. В общем, я был бы не против и Кутыревым быть, но… уж что есть, то есть. А Кутыревыми, я слыхал, у деда даже два брата остались…

Дед мой, Назаров Александр Александрович, был родом из крестьян Пензенской губернии, Чембарского уезда (Чембар — ныне город Белинский; В.Г. Белинский там детские годы провел, а рядом и лермонтовские Тарханы). Гляжу на дедову фотографию в молодости… Самая загадочная и непонятная (для меня) фигура во всей моей «генеалогии» — мой дед А.А. Назаров.

Их было 5 братьев и 3 сестры, из коих я видел лишь одну, Татьяну, да и то до войны еще, в 1939–40 годах, когда самому было 2–3 года, так что о том, чтобы что-нибудь сохранилось в памяти… Очень любил дед сестру Пашу, Прасковью — это я помню. Но тоже не ярко, только разговоры и фотографию: крестьянка — и крестьянка… Кроме этих двух сестер: Татьяны, двух-трехлетним ребенком виденной, и Паши на фотографии, никого из дедовых родственников я никогда в жизни не видал и почти ничего о них не знаю. Фотография Паши не оставляла никаких сомнений в крестьянском ее происхождении, а вот фотографии деда молодого… Бог его знает… Я не собираюсь в угоду сегодняшней моде «примазываться» к дворянам, тем более что один дворянин затесался-таки в мою родословную. Да не какой-нибудь, а польский шляхтич! Обедневший, правда, в должности управляющего у какого-то нашего, российского, нижегородского магната, но — шляхтич. О нем речь впереди.

Так что безо всякого примазывания я все-таки не очень удивился бы, если бы в жилах моего деда оказалась не только крестьянская кровь… А, может, и только! Что у нас — крестьян с благородными лицами и душами, и интеллектами не было? Я опять же не примазываюсь, я о деде. Деда все называли «деликатнейшим человеком»! Теща моя, с невыносимо благородным происхождением, чуть ли не от Радши (или Рачи),

от которого по какой-то параллельной линии и сам А.С. Пушкин произошел, — вот с таким происхождением теща, но и с еще более невыносимой фанаберией, жутко гордая своим «благородством» и крайне презиравшая все, стоящее, по ее мнению, ниже ее «генеалогического» уровня, познакомившись и пообщавшись с дедом каких-нибудь час-полтора, когда от деда уже мало чего оставалось (он лежал в параличе, после инсульта, с ощутимо атрофированными памятью и речью), при всем своем высокомерии не могла не отметить: «Боже! Какой очаровательный человек!»

Очаровательный… А уж честности такой, какую сегодня даже и глупостью-то не назовешь. Просто — чистейшая «клиника», как нынче выражаются. Дед был геодезистом, топографом очень солидного, дореволюционного еще класса (родился в 1880 году, окончил в XIX веке еще церковно-приходскую школу — начальное общее образование, потом железнодорожное училище на помощника машиниста — начальное специальное, а дальше — самообразование, и такое, что в университет Томский его даже не преподавать приглашали, а экзамены принимать, причем, когда к нему обращались, почему он экзаменующимся вопросов не задает, он отвечал: «Зачем же их сажать?..»— добрый был, милосердный…). И серьезный специалист. А когда в конце пятидесятых чуть не в миллионном тогда Новосибирске не могли найти специалиста, мастера, который бы рассчитал и разметил идеально ровную площадку для какого-то стана, дед это сделал за 5 минут. Ему выписали наряд на 300 рублей (старых, до реформы 1961-го) — так дед не взял! Наотрез отказался: разве можно за 5 минут заработать такие «бешеные» деньги? Ну, тогда, правда, это все-таки были деньги, триста-то рублей — пенсию по старости платили 180–200 руб. в месяц, а тут — 300 за 5 минут, ну как не «бешеные»?

И вот этот «очаровательный», «деликатнейший», «честнейший» человек, за свою жизнь мухи не обидевший, за Сталина — убил бы. И ни рука, ни душа не дрогнули бы! Сколько его друзей, сотрудников по Томскому университету, пересажали (в их числе профессора Н.Н. Горячев и Ф.В. Галахов); ни об одном из них он слова дурного никогда не сказал, он вообще никогда ни о ком дурного слова не говорил, все у него были «замечательные»!

Рассказывает про кого-нибудь, очередного своего «замечательного», — бабка тут же вставит: «Ага, сволочь такая, 3 рубля у меня взял и не отдал» (или еще какую досаду, неприятность ей доставил). У бабки все были «сволочи», а у деда — «замечательные»! И вот спросишь его: «Деда Саша, ну как же?

Такой замечательный, а за что же его посадили?» — «Значит, была деятельность, о которой я не знал». Газетам дед верил свято. Всем и всегда. Когда я, молодой и очень критически настроенный, высказывал сомнения в уме нашего премьера в то время Н.С. Хрущева (в чем история вроде неопровержимо подтверждает сегодня тогдашнюю мою правоту), дед чуть не заболевал. Причем, конечно же, и боль его, и паника душевная, и переживания были не за Хрущева, а за меня: как же я, любимый внук его — брат Борька тоже любимым внуком был, но ведь ия — любимый! — и как же я с такими неверными мыслями и настроениями жить буду?!

Достойно все это любви? А тем более восторга, восхищения, уважения, благодарности? А я любил деда. И люблю. Обожаю. Да кто его не обожал?.. Всю жизнь свою всем своим поведением и действиями дед вызывал у окружающих только эти чувства и никаких других. Как все это понять и совместить? Нет, в детстве-то все понятно было, а потом, когда после XX и XXII съездов слегка расширились наши знания об истории отечественной… Я и сейчас не понимаю. Вот бабка, к примеру, с материной стороны, «доктор Шарловская», как ее называли, «доктор» не в смысле ученой степени, а потому что медик бабка была, врач — вот там мне все понятно. Бабка окончила Московские высшие женские курсы (типа «Бестужевских» в Петербурге и созданных по их примеру) и с мужем Шарловским Стефаном Игнатьевичем (шляхтичем-то!) прибыла в Сибирь, в Томск. Жить, работать, лечить. Бабка — врач, муж — инженер, квартира у них была… ну не царская, но как у всех «приличных» людей по тому времени: не однокомнатная и даже, наверно, не двухкомнатная, не малогабаритная, попросторней. А тут — революция до Сибири докатилась, всякие пертурбации, дед Шарловский в 1919 году умер… По тридцать с небольшим бабке с дедом-то было… Короче, бабку в ее просторной квартире «уплотнили». И «уплотнил» ее (т. е. вселился к ней в квартиру) не кто-нибудь, а чекист! В кожаном пальто и с маузером! Все чин-чинарем. Чекист был не из тех, каких славили потом советские литература и искусство (хотя я верю, что были и такие, каких славили-то, не все, но были), но и не из тех карикатурных идиотов или дьявольских злодеев, которым посвящает, отдает «милую Музу» сегодняшнее искусство. Нормальный, обыкновенный чекист был, из «простых», с прихамью, дорвавшийся до власти ну и слегка расслабившийся в безнаказанности-то. И начал этот чекист в бабкиной квартире «свой новый мир строить»: девушек водить да «водку пьянствовать». Бабка терпела-терпела, не знаю уж, долго ли, коротко ли, но не вытерпела, да и взорвалась. А это у нее

бывало. Случалось. Да и получались, взрывы-то. Бывало, даже и меня касались… Ну не в полную мощь, наверно, но касались. Помню. Могу себе представить…

А когда бабка взрывалась, возникала волна… ну, может, не как при атомном взрыве, но, во всяком случае, весьма и весьма внушительной разрушительной силы. И от этой бабкиной волны летел чекист с лестницы со всеми своими «прихехе», и с маузером, о котором даже и забыл. Нет, может в других каких ситуациях он о маузере решительней вспоминал, но тут… Какой истинно русский, совестливый человек, будучи «выпимши», — не чувствует a priori своей вины, своего греха? А кто решительней и беззаветней отстаивает свои позиции: уверенный в своей правоте или чувствующий себя пусть слегка, но — виноватым, неправым?

Как бы то ни было, вылетел чекист из уплотненной им квартиры. Вся улица в ужасе примолкла и втянула головы в плечи: что же сейчас будет?! И с «доктором», а то, может, и со всей улицей?!…А бравый «доктор» голову в плечи не втягивал, а прямым ходом направился в местное Чека и сам на себя заявил! Вот, мол, я — врач, и квартира моя просторная не для каких-то там буржуазных излишеств, а потому что ко мне всегда могут прийти и обратиться больные, в любое время суток, и мне надо иметь место, где их принять, а ваш… этот… устроил там кабак и дом свиданий! Вот почему я его спустила с лестницы! В ЧК удивились, извинились за своего незадачливого сотрудника и… убрали его из квартиры.

Вот здесь мне все понятно. И в других бабкиных проявлениях — ив юности, и в более поздние времена — мне как-то всегда все было ясно. А вот в дедовых, деда А.А. Назарова, проявлениях— не понимаю… До сего дня не понимаю. И люблю, боготворю деда. И горжусь им. И — не понимаю… А в общем-то… разве все в жизни дважды два? Я, вон, на тещиных похоронах чуть ли не больше всех рыдал. Казалось бы, совершенно обратная реакция должна была быть: ведь я всегда считал и ощущал ее прямо-таки «классовым врагом», полным и абсолютным мне антиподом!.. И тоже непонятно было — да и сейчас непонятно, — как это возможно, чтобы она, в которой меня все бесило: поступки, действия, образ мышления, убеждения, символ веры — все бесило, раздражало, вызывало активное и вполне аргументированное (с моей точки зрения), обоснованное неприятие, — и как это возможно, чтобы вот такой мой абсолютный и полный антипод так же самозабвенно боготворил и обожал Пушкина, как и я?

А о деде… И труды его в «Вестнике Академии наук СССР» где-то в 30-е годы печатались. И в Японской (1904–1905), и в

Германской (1914–1918) войнах он участвовал. И пару «Георгиев» имел… Имел, правда, одного, да и того отец, во младенчестве еще, куда-то заиграл, закатил, затерял, а ко второму дед был представлен, да так и не дождался — ведь бардак, неразбериха и волокита царствовали на Руси задолго до воцарения коммунистических, марксистских идей. Правда, дедовы «Георгии» были, если можно так выразиться, мирные: никого он не убивал, не побеждал, не громил, он рисковал только собственной жизнью и жизнью своих подчиненных: под огнем противника восстанавливал разрушенный железнодорожный путь — и восстановил! И ни один человек не погиб! Одного только дурака ранило, по его же собственной дурости, истеричности и недисциплинированности. Даже не знаю, какой у деда «Георгий» был, солдатский или офицерский — выше унтер-офицера дед по царской службе не поднялся, крестьянин же, не «благородный»… Но унтер-офицером был.

А с фамилией дело было так: дедова отца звали Александр Герасимыч, деда — Герасим Назарыч, прадед дедов, стало быть, Назар был. Этот Назар должен был старше Пушкина быть, если дед мой родился в 1880-м… А может, и не старше Пушкина, но где-то там, далеко. И все они были Кутыревы, предки-то мои, — от каких-нибудь Кутырей, живших в куту, в углу… деревни? Леса? Владений чьих-то? Бог весть… И этот Назар чем-то изо всех Кутыревых выделился, заметен стал, поминаем в потомках — и от него пошли Назаровы, хотя, как я уже говорил, два брата у деда еще остались Кутыревыми. А может, и по-другому как-нибудь все было… Не знаю. Больше я о давших мне фамилию ничего не знаю. Зато в каждом встреченном Назарове подозреваю родственника. А Кутыревых, как это ни печально, — не встречал.

Бабка по отцу, Назарова Евдокия Прокопьевна, в девках была Глазковой. Эти — владимирские, откуда-то из-под Вязников. Эти — самый крепкий клан, чуть не всех я видел и знал. Крестьяне же. Хотя бабка поминала, что кто-то у них в роду чуть не царским поваром был — у каждой семьи свои гордости. А бабкин отец, прадед мой Прокопий, у которого были, как предание доносит, черные как смоль волосы и рыжая как медь борода (в чью бороду, считали, и я мастью пошел: «рыженький» был, с «черненькими глазками», это уж сейчас все поблекло и сивым каким-то стало, не разберешь ни масти, ни волос, — спасибо, хоть остались, держатся пока, — ни «глазок»), Так прадед Прокопий Глазков, как и прадед Александр Герасимыч Назаров, тоже имел восьмерых детей, да одна еще, Ольга вроде, во младенчестве умерла, а восемь выросли. Только у этого было наоборот: 5 девок и 3 мужика, в такой последовательности: Николай Прокопьич, Анна,

Татьяна, Евдокия (бабка, стало быть, моя) Прокопьевна, Аполлинария, Елизавета, Михаил и Петр. Ртов, как видно из перечисления, хватало, а пропитание за ними, за ртами, не поспевало, голодновато было. А где-то в далекой Сибири, на Алтае, на Салаирском вроде руднике, процветал, купечествуя, не то брат Прокопия, а может, матери бабкиной, не то еще какая родня, коего бабка величала «дядей». И вот Прокопий со всей своей оравой двинул из не очень сытной Владимирской губернии, из Вязников, в далекую, обильную, завлекательную Сибирь. Было это где-нибудь на излете XIX века, где-нибудь в 90-е годы.

Прибыли, значит. А родственник, дядя-то — богатый, а детей нет, скучно ему. А у этих, у Прокопия Глазкова, наоборот: веселья — хоть отбавляй, но вот с богатством и опять же с пропитанием — сложнее. Красотой особой приехавшие не отличались: все с уклоном в рыжесть, в конопатость, одна лишь Дусенька выделялась — может в возрасте симпатичном была, что-нибудь в районе 5–6 лет, очень красивые волосы — темная шатенка, личико чистенькое, без свойственных всему роду конопушек, глазки опять же живые, может, даже черненькие, румянец во всю щеку, кожа нежная, она и умерла-то 78 лет без единого седого волоса, все той же темной шатенкой, ну немножко разве что поредела прическа, но с полным комплектом своих зубов, где-то одна пломбочка за все 78 лет, и с тем же румянцем — ну слегка тоже, конечно, поизносившимся, уже не ровной нежной краской разлитым, как в молодости, а так, немножко в сеточку — но с румянцем! И вот эта хорошенькая девочка Дусенька уж очень приглянулась бездетному богатому дяде, и как-то они сладились с Прокопием: и тому с оравой будет полегче, все-таки одним ртом меньше, и этому с хорошенькой Дусенькой в пустом богатом доме веселее. И начал богатый дядя Дусеньку баловать. И избаловал. И испортил: хорошенькая, с румянцем, с замечательными зубами, с нежной, прямо-таки какой-то «прозрачной» кожей, с чудными, тоже какого-то нежного отлива темно-шатеновыми волосами выросла Дусенька замечательнейшей эгоисткой, очень верно и преданно, бережно любившей и лелеявшей всю свою жизнь… самое себя. Ив отце-то моем, единственном своем ребенке («Евдокия Прокопьевна, а почему Вы больше не рожали?» — «Ну что Вы! Такой ужас еще раз переносить?» — имелись в виду роды) тоже умудрилась с немалым успехом развить и культивировать это качество — эгоизм.

А дед любил ее… Да, наверно, не такое уж чудище эгоизма была бабка, как, возможно, может кому-нибудь показаться. Наверно, не один сплошной эгоизм в ней был. Была она и неглупой, и остроумной, и «сдобной» (как сама говорила); и

моталась с дедом по его работе в тайгу, и на Германский фронт с пятилетним отцом моим куда-то в Галицию к деду выезжала, — было, наверно, в бабке что-то и кроме эгоизма, но все-таки эгоизм и себялюбие были в ней как-то заметнее, особенно к старости, как-то нахальнее лезли в глаза всем окружающим, не так истово и преданно любившим ее, как дед.

А дед любил ее. Да как! А может, тем тоже способствовал укреплению в ней эгоизма и себялюбия? Она всю жизнь любила себя. Ну разве что ма-алая толика ее любви нам с отцом перепала, каждому в свое время. Больше, по-моему, никому. Ну если все люди, за редчайшими, единичными исключениями — а знал я ее около 30 лет, она умерла, когда мне под 30 было, — если все люди всегда у нее были «сволочи»?.. Все. За редчайшими исключениями. А «сволочей» можно ли любить?

А дед любил ее… И мне продемонстрировал такой пример, такой образец любви, не ниже Ромео и Джульетты, а может, и выше…

Уже незадолго перед смертью у бабки было плохо с головой — почти полная атрофия памяти, да и с простым физическим движением голова уже не справлялась, попросту говоря, кружилась голова, и бабка постоянно падала. А дед уже давно лежал в параличе. Ну днем, когда их перевезли в квартиру напротив нашей, народ постоянно к ним наведывался: и я, когда приезжал, и мать, и материна мать — бабка Анастасия Васильевна, и бабкина старая домработница Филипповна («Филя»), и Борька, брат, захаживал, — тут ей долго лежать упавшей не давали: поднимали, клали обратно на диван, где она в основном жила, а вот ночью… Вставала бабка и по ночам — и падала. И дед, невзирая на все свои инсульты и параличи, пытался ее поднять, помочь ей — и тоже падал, и утром, бывало, находили их на полу трясущимися и плачущими от холода, обиды на судьбу и бессилие. И тогда дед сообразил, что все его героические усилия никакой ощутимой помощи и пользы его «предмету» не оказывают. Не надо ему пытаться поднимать ее, ни к какому желаемому результату это не ведет. Но что же делать? Молча созерцать страдания любимого существа? И дед нашел выход! В параличе, почти без движения — нашел! Холодно ведь на полу-то, так чтоб она, его ласточка, богиня, его самое любимое и боготворимое на свете существо, — чтоб она не замерзла, не простудилась, он сгребал с себя, из-под себя все, что было: одеяло, подушки, обмоченные простыни и матрац, и укрывал, заваливал ее всем этим. И спасал! Дома бабка жива была, а увезли в больницу — там никто ее на полу не укрывал, а она так же и там падала, и через два дня в больнице преспокойно

скончалась не от своих многочисленных и разнообразных склерозов, а от воспаления легких, простудившись в первую же ночь на полу. А дед не допускал этого! Любовь дедова действенная не допускала.

А ведь это он пытку себе устраивал, казнь медленную, мучительную, не менее того: попробуйте-ка голым, старым и дряблым телом просидеть всю ночь на скрюченной, колючей проволоке пружинной сетки! Только любовь способна подвигнуть человека на такое… Ради чего еще можно подвергать себя такому самоистязанию? И чувствовать себя при этом счастливым! Не хуже христианских мучеников! А дед — атеист был. У меня все атеисты: и отец, и мать, и дед, и обе бабки, с которыми я общался, которых знал. И я в них. Атеисты-то атеистами, а любовь ведома им была.

А что он при этом испытывал, какие физические муки и страдания — это никого не касалось, это его проблемы были, он был мужик, мужчина, джентльмен, рыцарь. Его надо было видеть в мгновенья этих подвигов, какой там Симеон-столпник с ним сравнится: вцепившись в спинку кровати, трясущийся, замерзший, в одной почти всегда мокрой нижней рубашке, с врезавшимися в задницу до костей железками и крючками сетки, но — со счастливыми глазами: нашел, спас, помог! Не знаю, какой еще Ромео был бы способен на такое…

Это, значит, отцовы родители, Назаровы, Александр Александрович и Евдокия Прокопьевна. А мать у меня никогда в жизни свою «благородную» шляхетскую фамилию Шарловская и не меняла. Проникли, стало быть, в мою родословную и дворяне. Шляхтичи. Не ахти какие, разорившиеся, служившие, точнее, служащие, демократичные, на крестьянках женатые, и не за унижение это для себя, а за честь почитавшие — не ахти какие «благородные», без снобизмов и фанаберий, но дворяне. В геральдических книгах, говорят, встречали таких. Только не Шарловских, а Шерловских, откуда-то из местечка Шерли в Лодзинском воеводстве, потом какая-то их ветвь переселилась в Литву, а оттуда уже рассосалась она по бескрайней России. Прадед Игнатий Игнатьевич служил управляющим в имении князя Волконского в Нижегородской губернии, а сестру его Брониславу Игнатьевну занесло аж на Дальний Восток, где она сестрой милосердия принимала участие в Русско-японской войне. А дед Стефан Игнатьевич был уже обыкновенным русским интеллигентом, не погнушавшимся соединить судьбу свою с крестьянской девицею Настенькой Горюновой. Правда, знавшие эту девицу с юности считали, что ей гораздо более подошла бы фамилия «Завейгореверевочкина», но никак не Горюнова, да и

«крестьянской девицей» она числилась только по документам, а сама к тому времени давно уже закончила гимназию и была курсисткой Московских высших женских курсов. Но — о Настеньке позже. Пока вот — дед Стефан Игнатьевич Шарловский. Поступил в Казанский университет, но затем перевелся в Императорское инженерное училище ведомства путей сообщения (вероятно, то, что много позже стало МИИТом), каковое и закончил специалистом весьма широкого профиля, а работал водным инженером-путейцем. Очень возможно, что дед, потомственный дворянин, не прочь был бы распределиться после окончания Императорского инженерного училища не в глухую далекую Сибирь, а поближе к центру, куда-нибудь хоть под Нижний Новгород, где и папа его еще в управляющих служил, но… За центр России, за Нижегородскую губернию нужно было платить… большую взятку (оказывается, и взятки у нас до большевиков еще были), а у моих предков и знания вроде не бедные были, и образование солидное, и понятия о чести… тоже как будто не извращенные, но вот с деньгами, особенно с такими, какие могли бы как-то заинтересовать и ублажить «взяткобрателей», — с этим у моих предков всегда как-то сложнее получалось… Случись тогда «перестройка» да поголовная «приватизация», они бы, сердешные, и тогда оказались бы «несовременными»… Они все у меня были государственными служащими и умели только работать, торгашей, пардон, «бизнесменов» в роду не было. Ай, нет, вру… попадались. Но где-то сбоку, далеко, да и не они внесли определяющую доминанту в мое жизнеощущение и жизнепонимание.

Ну а в Сибирь-то, в глушь распределили деда и так, без денег, без взятки… Может, потому там, в Сибири, этой заразы, коррупции-то и меньше? Нет, есть, конечно. Есть… Добралась, доехала. И СПИД доехал, и всякие сексуальные извращения… «Нам просвещенье не пристало…» — сокрушался еще А.С. Пушкин.

Но все равно, я полагаю, до центра нам все-таки далеко еще. Нет, рвемся, пыжимся, но, слава богу, в этом вопросе моя родненькая Сибирь все-таки пока еще остается провинцией и глухоманью.

Запомнился мне с военного дошкольного еще детства внутрисемейный, межквартирный анекдот: про какую-то соседку кто-то сказал: «Ну что Вы? Она так рвется к культуре! Всегда губы мажет…» Вот подобное «рвение к культуре» у нас всегда как-то впереди… Нам бы другого рвения! К ней же, к культуре, но только не через мазание помадой губ — в самом по себе мазании губ ничего страшного нет, страшно, когда стремление к культуре

ограничивается только этим мазанием. А нам бы рвения к культуре не через внешнее подражательство, не через освоение коррупции, извращений, наркомании и прочих подобных «достижений» культуры, а через поумнение, образование, знание, умение, т. е. через то же самое просвещение. Которое «нам… не пристало»… А через него же, через просвещение, — «улучшение нравов», как завещал тот же Пушкин.

Так попал дед в Сибирь. Но он не унывал. Не без романтики в душе был дед. Он завлекал бабку сибирским житьем, Томском, а главное — Томью: «Ты только посмотри: там ведь в каждой заводи русалочка живет!» — такая Томь в те поры была: чистая, таинственная, загадочная, непорочная… Это уж сегодня ее отравили, изуродовали, и воду пить из нее нельзя, какие уж там «русалочки»… А когда-то и отец вспоминал, как при купании заплывешь подальше, рот разинешь и — пьешь, наслаждаешься!.. И с парохода, особенно в месте слияния, впадения Томи в Обь, было видно, как разнится чистейшая, кристальная темно-зеленая вода Томи от мутно-желтой глинистой обской…

И работал дед на реках Сибири: и на Енисее (студентом, на практике), и на Тоболе — Иртыше, и на Оби, вероятно, и на Томи. [7] И погиб. Простудился весной, ему бы полежать, поболеть, поберечь себя, а тут паводок начался, надо флот спасать, который могло унести. Флот дед спас, а сам получил гнойный плеврит и на операции 34 лет от роду умер. Было это в 1919 году, когда матери моей было 5 лет. А бабка потом благодарила Бога, (вернее, Судьбу, атеистка же была), что дед умер сам, спокойно, не дожив до 30-х, поскольку он, с его общественно-неспокойным, неравнодушным характером, мог бы бы и до 37-го не дотянуть, он бы раньше, в какую-нибудь «Пром-партию» еще попал…

Теперь, значит, у меня неосвещенной осталась одна бабка, «Завейгореверевочкина» которая, «доктор» Шарловская Анастасия Васильевна. Ну она не шибко «доктор», просто медик, «доктором» ее в этом смысле величали. Родилась она, как я уже поминал, в крестьянской семье, под Москвой, в деревне Васильевка Раменского уезда. Дед ее, Кучеров «Федор Стяпаныч», выбился «в люди» (в купцы, вот этот «бизнесмен» был, как когда-то и дед Горького Василий Каширин). И имел Федор Степанович в Москве, в гостином ряду, в Пассаже, что на Красной площади (там, где ГУМ ныне), ювелирную лавку. А бабкино-то, Настасьино, горе в чем было, так в том, что хоть и родилась в крепкой семье, да по женской линии, от дочери, не от сына Федора «Стяпаныча», от Анны Федоровны, и справедливость пословицы: «курица — не птица, баба — не человек» баба Настя смолоду испытала на собственной шкуре, то, что «баба — не человек».

Что-то не ладилось у Федора Стяпаныча с наследованием, некому было «дело» оставлять: сыновья — кто бездетный, а у одного был один-единственный наследник, Егорушка, да и тот какой-то ненормальный, неполноценный. И сцепились братовья в драке за наследство прямо по Горькому, по «Детству» его. А в деревне Васильевке в это время овдовела Анна Федоровна, дочь Федора Степановича, выданная за Василия Петрова Горюнова, который нарожал пятерых детей, из коих в живых осталось три девочки с Настасьей старшей, а Василий Горюнов, совершив все это, в 24 года умер от туберкулеза. И вот когда шла свара между братьями, сыновьями Федора Стяпаныча (дядьями моей бабы Насти), кому претендовать на наследство: Гавриле ли с неполноценным Егорушкой или другим, но бездетным, была произнесена в доме Кучеровых фраза, определившая жизнь и судьбу Анастасии моей ненаглядной Васильевны, а в конечном итоге и мою, наверно: «Назло Ганьке (Гавриилу) буду учить, вон, сироту, Наську». Кто уж так высказался и распорядился, сам ли Федор Стяпаныч или кто из его конфронтирующих детей, но — «слово сказано, что пуля стрелена»: привезли «Наську» из деревни в Москву, в Первопрестольную (столица тогда далеко была, в Петербурге). И, в общем-то, выучили в конце концов: не без сложностей, но выучилась «Наська», да и сама, видать, не пустое место была. Но это все потом, а тут, по приезде из деревни, девочке, «сироте»-то, быстренько продемонстрировали, что курица-то — не птица…

Какой-то праздник в богатом многолюдном московском доме Кучеровых был. Детей — двое: слабенький умом Егорушка и только что прибывшая из деревни Наська. Праздник, гулянье, ликование: «гудеж», как ныне выражаются. И о детях не забыли, призывают их — в залу? к столу? — к месту общего сборища и торжественно, при всех, ради праздника дарят каждому по коробке «конфект»! Роскошных! Дорогих! В дорогих коробках! Какими-то невообразимой красоты ленточками перевязанных. Дети счастливы, распаковывают каждый свою драгоценность — и: у Егорушки — у мужика, хоть неполноценного, но законного! — у Егорушки — конфеты, шоколадные! Шикарные! А у Наськи — сирота же, из милости взятая, и так сверх меры облагодетельствованная — не то угольки из печки и сажа пылью в нос, не то конский навоз, катышки… Но по приятности «суприза» и по остроумию что-то в этом духе. А вокруг громовой взрыв хохота, ржания жеребцового — дядья-благодетели вместе с дедушкой радостно регочут своей элегантной шутке.

Баба Настя моя эту сцену, обиду, этот плевок в душу — ни за что, ни про что, а так… просто так — «не птица» же, «не человек»

баба-то, а уж тем более запердыш, сирота, из милости в дом взятая, — до смерти забыть не могла, почему и нам, детям и внукам, так ярко и красочно ее обрисовала.

И поэтому была моя баба Настя — «выпускница медицинского отделения Московских высших женских курсов, удостоенная степени лекаря с отличием, со всеми правами и преимуществами, представленными окончившим курс С.-Петербургского Женского медицинского института», интеллигентка, стало быть, ставшая, ну, богатой — не богатой, но благополучной, «порядочной» задолго до революции еще. При всем том была моя баба Настя всеми фибрами души своей — за революцию! Считала она, что революция законодательно навсегда покончила с этим ужасом, с этим узаконенным хамством и унижением, каковые она испытала еще в 5–6 лет. Так считала моя баба Настя. И при всей моей любви и самой нежной и восторженной благодарности ей не могу я с ней в этом вопросе совершенно согласиться.

Много с чем навсегда (или почти навсегда) покончила революция, но только не с нашим хамством российским!.. Хамством, которому ничто не укорот, не указ: ни монархия, ни демократия, ни тоталитаризм… Господи! Да когда же мы всем миром поймем, ощутим, что только просвещение, одно-единое спасет нас? Ни православие, ни марксизм, ни монархизм, ни социализм, ни приватизация, ни экспроприация, «ни Бог, ни царь и ни герой», а единое просвещение.

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, безо всяких насильственных потрясений». (А.С. Пушкин «Капитанская дочка», глава VI, «Пугачевщина».)

А чем «улучшаются нравы»? Единственно — просвещением! И больше — ничем. Или «записки» Петра Андреича Гринева никому из нас в руки не могут попасть, или, хоть и попадают, но мы никак не можем «вспомнить», понять, уразуметь — от чего «лучшие и прочнейшие изменения» «происходят»… Не капитализм блестящие результаты дал на Западе и на Востоке, а просвещение, цивилизованность. Южная Корея скачок свой сделала не от введения «приватизации», а от того, что лет 15–20 назад догадалась и все силы, все средства бросила на просвещение. И в Америке, и в Европе, и в Японии то же: цивилизованность, просвещенность, образованность. А у нас?.. Гоголи, Островские, Салтыковы и иже с ними с капитализмом, с монархией боролись? С хамством они русским боролись. Да куда им?! Они хоть и титаны были, да люди, смертные, а хамство у

нас… ну, может, хоть и не вечно, не совсем уж бессмертно, но очень долговременно, намного протяженнее во времени, чем жизнь одного, пусть даже очень выдающегося, человека…

Вот такие у меня «корни». Слилась в моей крови кровь, ну, хоть не со всей необъятной России, но с довольно-таки обширной ее территории: Пенза, Владимир, Москва да вон и Литву еще прихватили.

Остальное, как говорится, было делом техники. Потянуло, или направили, возвращающегося из Маньчжурии после Русско-японской войны «деда» А.А.Назарова в университетский культурный город Томск, остановился он на квартире у Анны Прокопьевны Глазковой, а, может, к тому времени ставшей уже и Ершовой, а к той сестренка молодая «сдобная» приехала с Салаирского рудника с темно-каштановыми пышными волосами, с нежной прозрачной кожей, а квартирант хоть и рябой был (незадолго перед тем оспу перенес), но уж такой положительный, такой обходительный, деликатный, ну просто замечательный (с точки зрения старшей сестры). Дусенька, к тому времени уже давно и прочно привыкшая ощущать себя царицей, а то и богиней, конечно же, для начала зафордыбачилась, как и следует уважающей и понимающей себя царице, но Анна Прокопьевна не дрогнула: пообещала самовар (!) подарить, если Дусенька снизойдет до молений маньчжурского героя — и дрогнуть пришлось «царице», самовар ее доконал!

А там немного погодя прибыли в Томск молодые специалисты Шарловские, Степан Игнатьевич и Анна Васильевна. И у Назаровых 29.XII.1909 (по новому стилю в 1910 уже году) получился сын Владимир, а у Шарловских 1.XII.1914-го — дочь Марина. Росли они, росли, развивались, бегали на каток, куролесили, но в конце концов каждый в свое время, не без сложностей и приключений, но оказались-таки студентами Томского политехнического института, где и встретились, и… Мать и институт не успела кончить, как уже появился я. Родился я, говорят, с очень «сурьезным» насупленным лбом и лихо задранным кверху носом, так что получалось впечатление как бы слегка вдавленной переносицы — по этому поводу шутили, что это мама вдавила мне переносицу, когда, готовясь к защите диплома, очень усердно налегала животом на чертежную доску. Родился я в Новосибирске, потому что туда был переведен из Томска Институт усовершенствования врачей, с которым приехала работавшая в нем баба Настя — ну а где дочке было рожать, как не у мамы под крылом? Родила — и скорей обратно, в Томск, диплом защищать. Пока мама готовилась к защите и защищала диплом, а баба Дуся лелеяла свое здоровье и красоту (у

нее всегда были «проблемы со сном»), меня нянчил деда Саша: в 6 утра, до начала работы, ходил на молочную кухню, кормил, обряжал меня и перед уходом на работу сдавал меня, сытого, чистого, сухого, всем довольного, освеженной сном бабе Дусе. Это все происходило в Томске, где мама завершала учебу. А отца уже давно «распределили» в Новосибирск. Защитив диплом, мы с мамой вернулись в Новосибирск и там, при Новосибирской ТЭЦ-1, зажили все трое вместе на Колыванской, 3, квартира 19.

Во что верил

По сусекам дневников и записных книжек

31 декабря 54 г. Опять Новый год… По московскому без 12 минут 8 ч. веч., стало быть, у нас (в нашей Кривощековке!) через 12 минут наступит Новый… «счастливый?..» 1955 год. Где они, все наши? Витька, Валька (Каган), Ритка… Нас, поди, дураков, вспоминают… И никому ведь в ум не влетит та глупость, что: «Ну его, этот Новый год…» Едем с Эрькой встречать. Опять придется притворяться, что я счастлив наступлению Нового года, нового «счастья».

Это два семнадцатилетних новосибирских «покорителя столицы»: «мой первый друг, мой друг бесценный «Эрька», тогда студент 1-го курса Московского химикотехнологического института им. Д. И. Менделеева (тоже сибиряка! нашего! из Тобольска) и я, студент 1-го курса Театрального училища им. Б.В. Щукина.

В те поры солнце всходило в Новосибирске на 4 часа раньше, чем в Москве. Границей часовых поясов была наша Обь: восточное правобережье — 4 часа разницы, западное левобережье — 3. Начинался когда-то Новосибирск на правом берегу и жил по правобережному времени; потом, естественно, разросся, перекинулся и на левый берег, где была железнодорожная станция Кривощеково… А область Новосибирская почти вся на запад от областного центра раскинулась — так что, может, и правильно, что перешел Новосибирск на трехчасовую разницу с Москвой… Но мы-то с юности привыкли встречать солнце на 4 часа раньше москвичей.

А ехали мы с другом на встречу Нового года на электричке в Москву, в гости. Из Жаворонков. Администрация Эркиного института, пока дипломники не защитились и не освободили места в общежитии на «Соколе», своим первокурсникам на первый семестр снимала по дешевке (рублей за 50 в месяц с человека, старыми) веранды или комнаты в дачном поселке Жаворонки по Белорусской ж.д., почти за 40 верст от Москвы.

И меня друг, конечно же, сразу к себе в Жаворонки перетащил, хотя Щукинское училище обеспечило меня общежитием, чуть ли не единственного со всего курса, в Москве,

на Трифоновке, не за 40 верст и бесплатно! Но — дружба!..

Опять дневник.

Да! 8!: 12! Новый год в Новосибирске! Толкнул в бок Эрьку, обменялись взаимным матом, дружеским, ласковым… Ну, а нашим всем — счастья, СЧАСТЬЯ! Большого, настоящего, дай им бог…

Счастья всем: и Витьке, представителю рабочего класса (Лихоносову, который, не поступив в театральное, вернулся домой и был в это время на заводе «Сибсельмаш» учеником зуборезчика), и Ритке (тоже не поступила в Москве, устроилась на завод «Динамо», и осень прожила с нами в Жаворонках, к зиме уехала домой), и Кагану, и Эрьке, и Вальке Сабитовой (любовь моя с 6-го по 8-й класс), и Пищику с Инкой, нашим ленинградцам, хотя до последних, начиная с Эрьки, Новый год еще не дошел». («Пищиком» мы почему-то звали Юрку Пичугина — проходили в конце 9-го класса «Вишневый сад», а там у Чехова один персонаж был «Симеонов-Пищик»— вот Юрку кто-то и окрестил. «Саливон Пищик»— так и присохло. Юрку приняли тогда в 1-е Высшее Балтийское военно-морское училище, а Инка поступила в Ленинградский университет — ничего выпуски бывали в Сибири в 50-е годы?

То же 31 декабря 1954-го: а мое счастье? А? Где оно? И есть ли оно вообще где-нибудь?..

О дружбе

…Нет другого существа, которое было бы столь неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

Мишель de Монтень. «Опыты»

Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью.

Франческо Петрарка

И если я… безбожно наврал, то простите меня, друзья. Я не хотел, и как ни плохо, как ни далеко мною написанное от того, что было, оно все-таки похоже на нашу жизнь, которой уже нет и никогда больше не будет…

Виктор Лихоносов. «Когда же мы встретимся»

Уже вроде понятно, что были мы не индивидуалистами, к чему усиленно толкает людей (всех возрастов!) нынешняя жизнь, а очень какими-то тесно и душевно между собою связанными, общественными… Девчонки наши из параллельной 70-й женской школы, с которыми танцевали на «вечерах» (у нас не дискотеки, а вечера были), занимались в драмкружке, готовились к экзаменам, влюблялись в которых (!) — они, чуть ли не с легкой руки Ритки, нашу компанию так и называли: «община» (фамилий девчонок не называю, они столько раз их меняли, что и сами давно запутались, когда под какой ходили). Ведь «человек — общественное животное»? Где-то сказано, не то у классиков марксизма-ленинизма, не то еще у кого-то… Вот мы и были! И не в тягость, не в обузу эта «общественность»-то нам была. В радость! В поддержку! В опору! Не так, как стараются это изобразить идеологические холуи нового времени, что все, мол, только «строем маршировали»… Врете, подлипалы! У

А.С.Макаренко строем ходили, но из трех тысяч выпускников — да не простых благополучных детей, а бывших беспризорников, малолетних преступников — ни одного случая рецидива, возврата к преступному прошлому! Вырастали защитники Родины, воспитатели, врачи, инженеры, рабочие — созидатели. Вот и нас в этом направлении воспитывали и «созидали». И сами мы старались! И «направление» это по сей день считаем единственно верным и перспективным!

1946 год. Переехали мы с мамой из «города», с Колыванской, с правого на левый берег Оби, в Кривощеково, в четырехэтажку. Перевели или перешла мать работать с ТЭЦ-1, что в городе, на правом берегу у железнодорожного моста (построенного еще Н.Г. Гариным-Михайловским!) — на ТЭЦ-2, а та (ТЭЦ — теплоэлектроцентраль) — за рекой, за Обью, в Кривощеково.

Переезжали в феврале. По степи, по снегозавалам, что вокруг «хуторка» нашего намело, грузовик с вещами к самым домам не пробился, застрял в снегу, тут же в «степи» выгрузил нас и ушел. Шкаф, кровать, диван, узлы и что помельче мы… «Мы»!! «Мы пахали…» Мне не было еще 9 лет, учился я во 2-м классе, но — мы! А кто же матери первый и единственный помощник был? Пока она за саночками бегала, я в чистом поле вещи сторожил, потом вместе возили, как-то на четвертый этаж таскали. Все свезли, снесли, и только до поздней ночи, как в каком-нибудь современном фильме абсурда, стояло в чистом поле на белом снегу наше черное полированное со старинными подсвечниками пианино «Schmidt&Wegener», пока уже к ночи не привела мать со станции, с ТЭЦ своей, лошадь с розвальнями, какие-то мужики подсобили, наверно, сослуживцы, а может, и друзья, однокашники матери по Томскому политехническому институту, которые все тут же, на ТЭЦ-2, и работали.

И тут, в Кривощекове, в пятиэтажке, началась моя новая кривощековская жизнь. Уже не младенчество-детство, а детство-отрочество, так скажем, так назовем.

Первым делом, когда все труды, заботы и хлопоты по переезду были закончены, вышел я погулять. Обнюхаться, ознакомиться с новым местом обитания. Справа, если выйти из нашего 1-го подъезда, за углом, с торца четырехэтажки было высокое деревянное крыльцо с лестницей в ларек, где «царствовала» наша соседка по новой квартире Муза. За крыльцом и лестницей открывалась довольно высокая, крутая ледяная горка, с которой каталась ребятня. Катались кто на чем: кто на картонке, кто и без. Ну разве что развернет кого, но в той же позе, на том же месте. И только один мальчик, не то в курточке, не то пиджачке (когда все были по-сибирски, всерьез, в

зимних пальто, вот этот в курточке садился наверху как все, на что и все люди садятся, а прибывал вниз, уже как-то извернувшись, на четвереньках, причем тем местом, на котором сидят, — вперед! И пока все, приехавши, поднимались, скользили, чухались, вставали, этот, с четырех-то точек, моментально вскакивал и впереди всех снова оказывался наверху, на горке. Конечно, предположить, что это передо мной в такой интересной позе съезжает с горки будущий доктор химических наук, лауреат Ленинской премии Эрнст Георгиевич Малыгин, — заподозрить сразу было трудновато, но непредвзятому наблюдателю еще на той ледяной горке было ясно, что неординарность мышления и действия этого человека изобретением спуска с горки на 4 точках не ограничится.

Через несколько дней повела меня мать в новую для меня, 73-ю мужскую среднюю школу. Пришли мы в первой половине дня, во время уроков — пустота и тишина в коридоре. Мать пошла, видимо, к директору или завучу, а я остался ждать. Это был коридор второго этажа, где обычно учится малышня. Дверь одного из классов была открыта. Шел урок, у доски что-то отвечал мальчик в какой-то украинской, вышитой по вороту рубашке, стриженый наголо (как все мы тогда в мужских школах в военное время), с маленькой, с острой макушкой головкой, с очень заметно торчащими в стороны ушами. Я узнал в нем моего четырехэтажкинского героя, приезжавшего с горки на четырех точках. Вернулась мать. Я робко высказал свое пожелание учиться вот с этим мальчиком, а мать, оказывается, меня туда уже и определила: во 2 «А» класс, к старой, опытной учительнице, Надежде Васильевне. После уроков, пока я возился с портфелем (старым, маминым, институтским еще), с учебниками (не знаю, как сейчас, но тогда, на заре отрочества, да, по-моему, и порядочное время после, я был страшным копушей), пока я собирался, одевался, мальчик исчез. Я бросился догонять (это я умею — догонять. Всю жизнь культивирую это. «Медленно запрягать, но быстро ездить в обычае этого народа», — отмечал еще Н.В. Гоголь — это как раз про меня.) Догнал я своего избранника уже где-то переходящим трамвайную линию и довольно-таки швыдко устремляющимся к саду Кирова и дальше.

— Мальчик! Ты в четырехэтажке живешь?

— В четырехэтажке…

— И я в четырехэтажке! Будем друзьями!?

Уговорил!

И — началось… Больше этот мальчик вовремя домой из школы приходить не будет, хорошо — там волноваться вроде было некому: мама мальчика, Клавдия Алексеевна, была

учительницей и вкалывала с утра до ночи, за мальчиком постольку-поскольку приглядывали соседи. А у мальчика, как мне кажется (как и у набившегося ему в друзья!), началась новая жизнь. Дорога от школы до дома, на которую, по расчетам моей мамы, должно было уходить никак не больше пятнадцати минут. Ну, в школу-то я потом выходил и за десять, и за пять, и за три, а то и после начала занятий, случалось, — с этим моим «обычаем», невзирая на все строгости и жестокости сталинско-бериевских времен, школа по десятый класс ничего поделать не могла… Ну а уж из школы мы с Эриком возвращались часа полтора-два, а то и больше.

Была такая замечательная сибирская кривощековская игра: в «коробочку». Инвентарь для игры — самый простой и непритязательный: кусок смерзшегося конского навозу (который и считался «коробочкой»; льдышка — хуже, она тяжелей, и больнее ноги в валенках отбивала, навоз — то, что надо!). Конная тяга широко распространена была тогда в стране, и у нас в Кривощекове, естественно, — так что с инвентарем проблем не было. Кто-нибудь первый кричал: «В коробочку, чур, не мне водить!» Замешкавшийся, не успевший вовремя крикнуть: «Не мне!» — становился водящим. Его задачей было: пиная эту «коробочку», попасть ею в ногу кого-нибудь из игравших, тогда водящим становился тот. Ничего хитрого, но на добром, сухом сибирском морозе, на свежем, не загазованном еще воздухе, мне кажется, эта простая игра и замечательно тренировала физически, и развивала ловкость, смекалку, и укрепляла, и закаляла. Бывала «простая» коробочка, а бывала и *«с* колотушками» — это когда ударенная водящим «коробочка» пролетала мимо, никого не задев, и пока он до нее добежит и коснется ее или наступит на нее валенком — в это время все играющие имели право колотить его по спине. Но если ты добежал и успел встать на «коробочку», а тебя в этот момент кто-то стукнул, т. е. через тебя «коснулся» коробочки, — водящим становился тот. Вот такая замечательная игра: водящий с «коробочкой» охотится за играющими, а те с «колотушками» — за водящим..

Ну не только «коробочка» была, и других дел хватало… Незадолго до поступления в школу я как-то очень интенсивно, углубленно и с живейшей заинтересованностью освоил русский мат. Грешен. Ну, не весь еще, естественно, но самые начала, краеугольную его основу. Эрик мой в этом вопросе к тому времени, казалось, не столь преуспел. Ну мог ли я по-жлобски, отчужденно хранить в тайне богатства своих познаний и широко, по-русски, бескорыстно не поделиться с новообретенным другом?

Конечно же, не мог. Клавдия Алексеевна, мама Эрика, кажется, приложила в то время немало сил, чтобы как-то приостановить столь бурное «просвещение» сына в данной области, но… С третьего класса мы уже с Эрькой никогда больше вместе не учились. Я остался в «А», а его как в третьем классе мать перевела в «Б», от меня подальше, так он в «Б» и школу закончил, между прочим с серебряной медалью, может, действительно какую-то роль сыграла частичная изоляция от «друга». Друг закончил школу без медали. Ну, правда, и без «троек».

Потом у меня — Щукинское училище с перерывами, у него — Химико-технологический им. Д.И.Менделеева (МХТИ), потом я в Москве застрял, он вернулся на родину. Развела жизнь, растащила… Но мы как-то не унываем: по сей день остаемся веселыми кривощековскими пацанами, где-то с вкраплениями романтизма, где-то — авантюризма, с годами и приличествующий возрасту консерватизм начал проглядывать, но в общем-то…

Все те же мы: нам целый мир чужбина:

Отечество нам…

— Кривощеково!

Да, в общем-то, и мир нам не чужбина, просто у Александра Сергеевича… может, слова и не все к нам подходят, но — музыка! Общий настрой души, отношения, любви друг к другу — наши! Мои! Да какой же бы он и классик был, если б каждое последующее поколение не находило у него таких щемящих отзвуков, так поразительно точно соответствующих их, последующих поколений, позднейшим всплескам и разливам души? Конечно же «все те же мы»! И «куда бы нас ни бросила судьбина, и счастие куда б ни повело»… Кагана вон нашего не то под Бостон, не то в Канаду куда-то унесло — ну и что? Все равно: «все те же мы»! И отечество, исток наш, исход — это Кривощеково, первые послевоенные годы, 73-я мужская средняя школа и все, что было вокруг, с чем встретилась, соприкоснулась, приняла в себя пробуждающаяся, входящая в мир душа наша, и общая, и индивидуальная, каждого в отдельности, личностная, неповторимая, ни на кого не похожая, каждая со своими генами, но и от общей нашей послевоенной судьбы, души неотделимая! И Валек Каган наш… Я был способный к музыке, Валек — работоспособный; я закончил музшколу на тройки, он — на пятерки. Теперь — тоже доктор, только технических наук, какую-то хреновину изобрел, система «Секстет» называется (как «музыкально» назвал он свое детище), вокруг которой японцы с 1978 года кругами ходили, прямо пропадали без этой системы, ни дохнуть, ни охнуть не могли. Им — надо, нам — нет. Нам —

лишнее. У нас и так свободно дышится, нам и без «Секстета» хорошо. Нет, по телевидению новосибирскому Кагана показали, похвалили, ну а «Секстет»? Куда его нам? К чему нам его пристроить?

Вот Каган и уехал… И дачу с баней в Каменке оставил, и «Секстет», да и еще поди что было… Не мне его судить. Не нам, друзьям. Да мы и не судим: там у него дочь с ребенком — куда ему от них?

Но вот душа наша общая, кривощековская, изначальная… что с ней-то будет у Кагана?.. И кто бы как сейчас криво и снисходительно ни ухмыльнулся по этому поводу, я-то знаю моего Валька: икнется ему наша общая душа… Не раз икнется. И не больно-то икнется сладко.

Из дневников и записных книжек

22 июля 1955. 18 лет, период метаний и болтаний. Год, как окончили школу; я бросил театральное училище в Москве, проработал 4 месяца, с февраля по июнь, в Северном Казахстане на строительстве железнодорожных мостов, вернулся домой, к маме, в Новосибирск; друг В.Лихоносов год отработал учеником зуборезчика на заводе «Сибсельмаш». И тут двинули — опять же с другом! — сдавать вступительные экзамены в Новосибирский сельхозинститут. В этом не столько тяги к сельскому хозяйству было — ее совсем не было, — сколько романтической гражданственности: надо идти к людям, в народ! Но не с пустыми же руками, а хотя бы специалистами сельского хозяйства. «Так, бешеный человек…» (все к себе, «нежные»-то обращения…) что-то вроде надумал. Грызли, пилили, кидали, болтали меня вместе с моей и без того баламутной душой. Чуть не кинулся в мед, да опять раздумал… А сегодня приехал домой да и вместо химии (предстоял вступительный экзамен!) вспомнил про… «Васька Трубачева» (самое чтение для восемнадцатилетнего обалдуя, никак не определившегося в жизни, бросившего один институт, во время подготовки и сдачи приемных экзаменов другой…). Дураку и чепуховины достаточно… Уйдем, Трубачев, в море! — и к черту институты!.. И мед, и сельхоз! Витьку только предал…

Не «предам», а «предал».. Хотя ничего еще не сделал, только возжелал, возмечтал в душе о МОРЕ… В общем так: в военкомат! Проситься досрочно в армию… Во флот! Эх, гадство, здоровьишко не подгадило бы… Флот!.. Ей-богу, это цель… Путь! И даже опять хочется придурку думать и верить, что — счастье… Только добиться, добиться в армию-флот!.. Господи, помоги ему! Пронеси

его (меня, то есть) Господи!

Может, еще что и выйдет?.. А? Господи!

18 августа 55. Море! МОРЕ!.. Дальние страны… Бещусь, с ума схожу…

Эх, ты, подлюка, жисть моя, жистянка… Завидую страшно, до боли, курсанту «1-го Балта», будущему подводнику, минеру-торпедисту — Пищику-морде… Моряк! «Пусть кто скажет: не моряк! Я, бл…!» Эх, Пичуга… Ладно, завтра химия (вступительный экзамен в сельхоз). Четвертый час уже (утра), еще не брался (за химию)… В Одессу, в море: хоть в военное, хоть в гражданское, хоть просто во флот… Эх, гад, только бы здоровье не подкачало…

Подкачало… не вышло тогда с морем…

А сегодня (1991 г.), когда кинематография наша, очертя голову, ринулась в какой-то «чернушно-порнушный» рынок, забыв о гордости, о совести, воспользовалась предоставленной свободой не для поиска истины, художнической ли, личностной, философской ли, общественной, не для честного искреннего поиска самого себя, самовыражения, в коих ее раньше командно-административная система якобы ограничивала, а воспользовалась этой дарованной свободой… для подражания (?). Причем для подражания не лучшим западным образцам и направлениям: лучшему подражать — это все-таки трудиться надо, дотягиваться до лучшего-то. А мы ринулись подражать самому массовому, самому низкопробному, давно уже самим Западом отринутому и проклятому. По пути с этим подражательством продаем и совесть, и обыкновенную порядочность. Когда-то Запад склонял головы и почтительно гнул поясницы перед Эйзенштейнами и Довженками, потом перед Тарковским, а сегодня мы, со свободой-то, бросились подражать тем, кто и мечтать не смел достигнуть уровня Эйзенштейна, Довженко или Тарковского.

И пока кинематография наша занялась столь благодатным делом, в коем я ни понимать ничего не понимаю, ни участия принимать не желаю — не умею я и не привык заниматься тем, чего не знаю и не понимаю, — так вот в это «замечательное» время моего Эрика, пардон, д. х. н. Малыгина Э.Г., приглашают в кругосветное плавание на научном судне по маршруту: Владивосток — Сан-Франциско — острова Полинезии, Микронезии, Меланезии — Австралия — Сингапур — Владивосток. Пять месяцев.

А стать моряками мы с Эриком мечтали чуть не с первых дней знакомства и дружбы!.. А, может, еще каждый самостоятельно и до знакомства! И вот тогда, когда меня от

родного кинематографа в дрожь и предтошнотные судороги бросало, так сладко вдруг возжелалось: эх! Уйти бы в море! Да с другом! Пусть всего на пять месяцев, но подальше от кино, от всего нашего сегодняшнего маразма и бравого массового идиотизма…

Звоню другу в Новосибирск, ошарашиваю его этим своим… бредом? мечтой? фантазией?.. И что же друг? А вот что: (письмо, правда, шло две недели, сервис наш, как всегда, на высоте) 1991 год, друзьям шестой десяток лупит, но…

> «Юрочка! Сидел я, скреб в затылке и высидел эту «рыбу». Ты присмотрись, может быть, в этом есть рациональное зерно?
>
> «Глубокоуважаемый… (имя-отчество руководителя экспедиции я опущу, Эрик-то мне его сообщил)! Рейсы Вашего научного судна скупо освещаются в печати, однако неофициальные сведения, которыми мы располагаем, позволяют судить о важном вкладе в развитие отечественной биологической науки, который вносят эти экспедиции.
>
> В связи с этим у нас возникло возможно неожиданное (еще бы не неожиданное!) для Вас предложение по участию в очередном рейсе народного артиста РСФСР (тут слегка прибавил: всего-навсего заслуженным тогда еще был) Юрия Владимировича Назарова, актера студии «Мосфильм»…
>
> Юрий Владимирович давно вынашивает идею по созданию фильма о советских ученых-биологах (ну, это уже чистая… помягче выразиться — фантазия). Перечитал множество книг, восхищен образами Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова. Участие в научной экспедиции, как он думает, позволило бы ему вплотную познакомиться с современными учеными, с их мыслями и устремлениями, понять движущую силу их деятельности.
>
> Юрий Владимирович — опытный путешественник. С киноэкспедициями побывал практически во всех уголках нашей страны, не раз работал в ГДР, Польше, Чехословакии, снимался в Италии, Вьетнаме, был в Индии. Был гостем Тихоокеанской флотилии, выступал с концертами на разных кораблях. Человек он общительный, легко сходится с людьми, в быту прост и непритязателен, никогда не унывает (ну, в общем-то портрет верен… И к Вавилову с Кольцовым хорошо

отношусь). Если Вы видите возможность участия Ю.В. Назарова в экспедиции, прошу сообщить…

Искренне Ваш народный артист СССР…

(ну, допустим, С. Бондарчук)».

Замечу, что при таком обращении ссылка на меня, как на друга, которого нельзя пускать в одиночку, рискованна. Лучший вариант — встреча на палубе с возгласами: «Какими судьбами?!»

Крепко обнимаю. Эрик».

А?!

«Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней…». Но это ли не друг?! Это ли не радость моя вечная, непреходящая и неиссякающая на протяжении… с 1946 года! Считайте.

Да ведь и не один он у меня такой! А Витя Лихоносов? Из той же нашей новосибирской кривощековской школы! Из того же параллельного «Б» класса. Только вот не из четырехэтажки. С Озерной улицы, что за базаром, у Демьяновского болота.

С Витей Лихоносовым дружба возникла несколько позже.

Уже с 3-го класса я как-то сразу и прочно закрепился в нашей школьной «партократии»: с 3-го класса до 7-го, до вступления в комсомол, был бессменным председателем совета отряда с неизменными двумя красными лычками на рукаве (ну, на безрыбье-то что ж было не «председательствовать»? ведь все мои светочи, мои добрые гении учились в «Б»: и Эрька, и Каган, и Витька). Потом, в комсомоле, тоже дважды попадал в руководство: один раз был комсоргом класса, другой, уже в Щукинском, — курса, но оба раза почему-то полный срок, на который выбирался, — на учебный год, не выдерживал: зимой, в середине учебного года, меня с треском смещали. Что уж тому бывало причиной: нелады с дисциплиной — вечные, неискоренимые, регулярные опоздания на уроки и лекции или неумение врать, с которым в пионерской организации как-то еще мирились, прощали, снисходили до такого недостатка, а может, верили, что с возрастом пройдет, а уж в десятом-то классе, а тем более в институте… Официально-то, конечно, громили и низвергали меня за опоздания, и все громыхали правым гневом: «Комсорг, а еще опаздывает!«…Да, наверно, лукавлю я насчет «неумения врать» как о возможной причине моих досрочных смещений с ответственных постов: опаздывал бессовестно, давал повод «громыхать» — вот и громыхали… Только почему-то избранные на мое место новые комсорги (и в десятом классе, и в училище) смотрели потом на меня с какой-то прямо-таки

собачьей нежностью, все мне готовы были простить, только б вернули мне обратно так неожиданно и ненужно свалившуюся на них среди года обузу: пост комсорга класса, позже — курса.

И вот, значит, где-то с третьего — четвертого класса, когда я постепенно начал входить в бурное русло нашей общественной школьной жизни, промежду всех прочих новых знакомств и общений мелькал где-то на слетах наших, районных и городских, пионерских, тоже с двумя лычками на рукаве, в аккуратненьком кителечке с белым подшитым воротничком, лобастенький, стриженый, как все мы, а к концу шестого класса, когда нам милостиво было разрешено отпустить шевелюры, уже и закучерявившийся… К самому уже концу учебного года наш шестой «А» чего-то всем коллективом набедокурил и в качестве наказания приказом директора был вновь острижен под «ноль». Как же мы были горько — но не смертельно! — обижены и унижены, когда соседние «бэшки» — и Витька, и Эрька, и Каган в их числе, щеголяли уже отросшими, вьющимися чубами…

Ну мелькал себе Витя Лихоносов и мелькал. Не только на слетах мелькал, и в спортивном зале, где к концу седьмого класса имел уже 3-й спортивный разряд по гимнастике (и на аккуратном кителечке рядом с комсомольским значком красовался кругленький с зеленым ободком значок 3-го разряда!), и на футбольном поле, куда меня и за класс-то играть только в самых безвыходных случаях, сильно и кисло скриворотившись, брали, — числился в самом бесперспективном «дубле»… А Виктор блистал в школьной команде! В новеньких бутсах (откуда?), в нападении (мне если и доверяли от безвыходности, то только защиту), на левом краю (предмет особой гордости: на правом и дурак сыграет…)! Как они с Вовкой Кирилловым «болтали» и «мотали» защиту всех противостоящих нам команд!.. На футбольном поле Витя был бог! Но и позже, на баскетбольной и волейбольной площадках, он всегда и везде был заметен, хотя ростом был пониже и Эрьки, и меня. У меня прыжок, может, был получше, но выпрыгивал я около сетки всегда как-то не вовремя, удара не было никакого, а если случалось угадать и попасть по мячу, то или за площадку, или в сетку. Сперва в футболе, а позже в баскетболе… ну не цепкость, конечно, а так, добросовестность, что ли, или, вернее, настырность была. Но что и куда я со всей своей добросовестностью и настырностью?.. Витька — тот звезда был! Но и это все к дружбе пока не вело…

Где-то конец седьмого класса, 1951-й, наверно, год…

На каком-то не то «вечере», не то празднике ставили у нас в школе пьесу, вроде А.Симукова «В начале мая» (может, не совсем так, но что-то там в названии с маем было связано). Что это была

за пьеса? О чем? Кто в ней играл, участвовал — убей меня сейчас, распни — не помню. Но врезалось навек мне в память лишь одно: где-то в середине пьесы — раз «В начале мая», стало быть, как же могла обойтись пьеса без грозы? — гроза разразилась. Естественно, не на сцене, не в школьном зале, где шел спектакль, а, так сказать, отраженно: выскакивал на сцену пацан, в закатанных брюках, босиком, в майке, с мокрыми кудряшками на голове, со спасенными от грозы и грязи спортивными белыми тапочками (то, что сегодня «кроссовками» называется) в руках. Нынешней молодежи трудно все это представить и понять: как «экономика» в наших семьях была экономной, каких героических трудов и подвигов самоотвержения стоило нашим матерям добыть, «справить», как они говорили, ребенку одежку: пальто, костюмчик, обувь… Потому-то и берегли! Пес с ними, с ногами, что промочишь, или что вода за шиворот забежит: «Не сахарные! Не растаем!» — главное: обувь спасти! Одежонку! Другой не будет.

И вот выскочил этот пацан на сцену — и со сцены в зал пахнуло весенней грозой! Молодостью! Жизнью! Правдой! Простой, не высокопарной, а живой, понятной, доступной каждому и — радостной! И от узнавания, и от сопереживания… И так захотелось — тоже, туда же, на сцену! Чтобы вот так же выскакивать. И такое же с собой приносить! Ведь если у меня, сидящего в бездействии в зале, душа переполнялась каким-то щенячьим восторгом и счастьем только при созерцании этого скачущего на одной ноге, пытающегося вытряхнуть из ушей воду и смеющегося от радости, что спас тапочки парня, если мне, только глядя на это, становилось на душе так светло, и хорошо, и… озонированно, что ли, как действительно в очищенном и промытом грозой воздухе, — то каково же было ему, пацану, который вынес все это на сцену и подарил нам, зрителям?! А это опять же был Витя Лихоносов.

И вся моя дальнейшая судьба прямо тут же и была решена: только туда, только за этим пацаном!

Не все дальше в моей судьбе было гладко и несворотимо магистрально. Метался туда-сюда, что-то бросал, чего-то искал, но из обширного русла искусства вывернуться уже так никогда и не смог. А первым, кто меня властно и могуче втянул, вовлек в это русло, был Витя Лихоносов. Нет, учила меня с детства, с третьего класса, мама музыке, пел у меня отец незадолго перед смертью в новом, открытом в конце войны Новосибирском театре оперы и балета, посещал я с детства и театр, и кино, и книжки у нас в доме читались, и романсы пелись, — но все это было как бы беспорядочным накоплением впечатлений, наряду со многими

другими, не менее, пожалуй, сильными: деревня, река, пароход, лошади, сеноуборка, море (мечты о море, вживую впервые увидел море 19 лет, в Одессе, в период поисков и метаний). Но вот когда я сам себе точно и определенно сказал: да! я хочу туда, на сцену! — это было на том самом школьном спектакле. И последней каплей, переполнившей чашу впечатлений, а, главное, давшей направление, в котором этой чаше впечатлений, моего опыта, моих жизненных устремлений изливаться, — был Витя Лихоносов из параллельного «Б».

Ну а дальше все пошло само собой: драмкружок, где Виктор был уже «примой-балериной», сопутствие и содействие ему на этой стезе везде и во всем, не без доли здорового соперничества, но, главным образом — сопутствие и содействие. Соперничество выражалось в основном в том, чтоб не слепо подражать и следовать за ним, а искать что-то свое и стараться достигнуть его уровня. Пальму первенства я всегда безропотно и чистосердечно отдавал ему.

Ну, а как мы дружили? Как друг к другу относились? Непростые были взаимоотношения… Разные.

Так ведь и жизнь тоже не гладко катилась. Тоже непростая жизнь была. И разная.

Из дневников и записных книжек

9 февраля… 1955-й, Новосибирск, Заельцовка, восемнадцатый годок на излете… Проводили Эрьку обратно в Москву долбить химию; я намылился в Казахстан жизнь изучать, себя проверять: гожусь ли на что-нибудь дельное или только лелеять в душе светлые идеалы и произносить красивые слова?..

Вернулся из клуба горбольницы с фильма, «взятого в качестве трофея после Победы над фашистской Германией в 1945 г.» — с фильма немецкого «Кто виноват?«…Счастье, великое счастье не уметь… «рассуждать аналитически», а уметь делать, делать что-нибудь, делать для людей». (Опять «наезжал» на собственную тягу к философствованию!..)

С коммунистических, альтруистических, общинно-соборных позиций, но — наезжал! Конечно, еще большее счастье: при умении делать уметь еще верно, правильно думать. Но без умения делать… да будь она проклята всякая «диалектика», «анализирование», всякая трепология. Нет, для социализма, для коммунизма, для счастья человеческого надо воспитывать людей, а не подгонять планы да цифры для отчетов… К черту «рассуждающих», «анализирующих» «диалектиков» — болтунов!

Ведь как ни хороши образование и умение диалектически мыслить, а и эта палка — по закону той же диалектики! — о двух концах: если ты человек — это поможет. А чуть слаба у тебя жилка насчет совести, честности, скромности, трудолюбия, любви к людям — и все!..

И делал ты тихо-мирно свое маленькое дело, да нахватался верхушек — и уж надо тебе в «начальники», командовать, да чтоб уважали тебя, маленькое дело уже не по тебе… А для большого — ни ума, ни силы нет. А то и циники еще получаются… скептики и другого рода паразиты из тех, кто с образованием, но без души… Без человечности в душе… Нет, прежде всего человеком надо быть! И Ленин, и Сталин прежде всего человеки были. Без этого не быть бы им ни вождями, ни классиками марксизма. Их марксизм — для людей. Не будь им нужны люди, зачем бы и марксизм им понадобился?..

«Ну будет на сегодня… Все. С богом, спать. Полчетвертого утра уже… А к девяти — в кассу, за билетами в Акмолинск, в Казахстан, на целину.

Через три дня я уезжал в Казахстан, пошел перед отъездом в баню, а Лихоносов, конечно же, приперся провожать друга. Друга не оказалось на тот момент, а тут вещи раскиданы: что с собой забирается, что оставляется. И дневник, зеленая тетрадочка, тут же обретался… И вот лихоносовской рукой, сразу после записи 9 февраля 1955 г.: «Хорошо все, мощно (словечко из нашей юности, высшая степень одобрения), широко, душевно, но… в ОБЩЕМ, в основном и НЕ для дела.

Готовься-ка ты в писатели, друг (вот так вот! Просто и решительно! Дерзновенным наглецам и «мудрецам» — по 18–19 лет, и тех еще нет…)

«В писатели!..» Тут же сам сообразил и, с присущей всем нам тогда самокритикой, поправился: «нет, это глупо: «готовься», просто подумывай об этом — душа есть, стиль свой, бойкий и… не такой уж путаный. Пиши покороче (этот совет и сегодня не лишний…) «Сначала Матери своей принеси счастье, не обижай ее. Критикуйся с толком, не по-бабьи. Потом сделаешь счастье для других людей». (Вот так: просто, серьезно, по-деловому. Без кавычек, без подковырок, без иронии: «Сперва принеси счастье своей матери, потом сделаешь счастье для других людей». А что в этом плохого? Не искреннего? Не истинного? Какие в этом «вредные иллюзии», от которых к зрелости и старости необходимо избавиться?.. «Пока все. Тороплюсь и боюсь, как бы ты не пришел из бани и не накрыл меня, контрабандиста.

12 февраля 1955. Виктор Лихоносов».

27 февраля 1955 (уже в Казахстане, в Мариновке, в бараке, обнаружив в дневнике другову «контрабанду»): «Эх, Витек!.. Давай вместе писать, в писательском содружестве! Под псевдонимом Назар Лихой…»

27 июня 55 г. (бросивши Казахстан, где отработал 4 месяца, и вернувшись в Новосибирск): «… сволочью стал… притом еще мелкой, жидкой… (все про себя, уже «стал»… Когда успел? Все перегибы, крайности… Максимализм… Молодость…) «Тревожную молодость» смотрел (Алова и Наумова). «Да, была молодость. Верю. Счастливая молодость! Спасибо Ленину. Хотя и не он один все это сделал. «Жизнь сделала.

Время было веселое. Молодое! Эх, гадство, и бил же бы я всю эту контру. И любил бы, любил! Ненавидел бы, а больше всего любил бы! Смеялся, жил бы! А не выл… как теперь вот… Они еще пацанами клятвы давали, боролись за «мировую революцию», а мы в пацанах уже штаны на заседаниях протирали, с малых лет, из пеленок начинали готовить себя к… геморрою… И дождемся! Была МОЛОДОСТЬ! Прошла она. Впереди… атомный век, век узаконенного геморроеводства… Век машин, ума, «тонкого интеллекта», век паскудный, что-то вроде старости…Ну а че ж делать-то? Выть? Выть только или стараться самому лезть в сволочи?..» (оказывается еще не «стал», в вырисовывающейся перспективе выбирал, стоит ли становиться «сволочью» и смогу ли…)

30 июня 55. «Мост Ватерлоо»! Хорошую картину «взяли в качестве трофея». Слабее, чем «Кто виноват?», но хорошая, чудесная вещь. Дурак Каган! «Из мелочей трагедия раздута…» Дурак ты, «принципиальный и идейно направленный». Че ж ты людей, простых людей, с обыкновенным человеческим сердцем, с собой, «тонкоинтеллектуальным шкилетом», равняешь? Сопляк! Ты все это только «понял», осознал «идеологически», а — пережить бы? Самому?

Куда б — и идеология вся разлетелась… «Пустяки…» Это, милый, пустяк только для «высокоидейных» молокососов-уродов, как ты, да еще вот я, твой способнейший ученик в области «тонкого анализигования…»

«Из пустяков» трагедия сделана… Такой бы «пустяк», товарищ Столб, да под твою холодную задницу. Да, вообще-то, ну тебя в… Сопи себе в тряпочку да жуй «интегралы минус бесконечность».

Ну а дальше-то что? Сам — такой же сопляк. Когда ж ты, сердчишко мое поганое, от «мечтов» оторвешься, да в жизнь влипнешь? И…счастье или хотя бы горе великое поймаешь? (обязательно «великое»! Хоть горе, но — великое»!» Все молодость,

все максимализмы…)

1 августа 55 г. С «Доброго часа» вернулся. («В добрый час» В.Розова в новосибирском ТЮЗе). Опять мозги на раскоряку… Где я? Зачем я?.. Вечная се-ре-дин-ка…

Всегда, везде и во всем. На серединке колеблюсь-болтаюсь. Ни взад, ни вперед. Ни вверх, ни вниз. Ни Эрька — ни Витька, ни «Алексей» — ни «Андрей» (герои «Доброго часа»), ни подлец — ни честный, ни умный — ни глупый, ни человек — ни скотина, ни простой — ни интеллигент… Ведь такому мне даже и в ад-то не попасть (не зря в Щукинском полгода проучился: что-то из мировой культуры в мозгах все-таки зацепилось! Данте хотя бы…) Господи! Прокляни хоть, что ли, меня… А ну как и вообще нет мне места на земле, а? Не приготовили?..

5 августа… В счастье, в то, что я смогу когда-нибудь все-таки стать цельным настоящим человеком, а не «тонкоинтеллектуальным», способным лишь «анализиговать» ублюдком — в это я давно уже перестал верить… (Вру ведь! Верил, надеялся, если б действительно перестал верить, не повторял бы без конца, что «перестал»…)

26 августа 55 г. Смотрел «Княжну Мэри» в кино… Какую-то новую веру («перестал верить»… похоже), новые крылушки дала она мне. Ну, урод я, слабый, но ведь… не дурак же кромешный, не Грушницкий. Значит, что-то во мне есть? Значит, можно еще на что-то надеяться?

29 августа… Нет, урод же ты! (себе)… Ох и талия у Люды!.. Тонкая, гибкая, нежная… И грудь… Дышит. Хороша. да не наша. Прости, Господи, люди твоя…

1 ноября 55 г. Что-то страшное впереди… Страшно от собственной непроходимой глупости, нежизнеспособности… Мои вечные враги и тут рядом, они уже взяли меня крепко под руки и тянут куда-то… сели на шею, давят… глупость, идиотизм мой подлый… Страшная пассивность, лень и сон вяжут глаза, руки, мозги…

Слава богу, не читал я в те поры «Белых ночей» Достоевского, где Федор Михайлович с присущей ему гениальностью неопровержимо доказывает, что Мечтателям никакого счастья никогда не видать. Ничего у них никогда не получится!.. Я читал «Трех мушкетеров» — у тех все всегда получалось. Хотя со счастьем тоже трудности были, но жить все-таки можно было.

А дружба-то продолжалась. Страдания, самокопания и раздрызг — сами собой, а дружба — сама собой. И друзьями я не только восторгался, завидовал их трудолюбию, целеустремленности, талантам, но и материл их, бывало. И в глаза, и в дневнике. И они в долгу не оставались…

И родители с нами маялись, и нам не сладко приходилось. А кому когда легко было? Когда легко бывало молодой, входящей в мир душе, ищущей себя и свое место в мире?

А ведь в Москву, в театральное поступать — это его идея была, Витькина. Он первый — узнал где-то? решил? придумал? — не знаю даже… Он сказал, а уж я — за ним. С ним. И Эрьке Менделеевский — Витя нашел и подсказал. И поступать в Москву мы поехали втроем. Только Витьку не приняли. Мы с Эркой поступили каждый по Витиному «направлению», а сам он не прошел… Ни в одно — их ведь пять вузов в Москве было, где учили «на артиста»: школа-студия МХАТ, ВГИК, ГИТИС, Щепкинское при Малом и наше, Щукинское, Вахтанговское (жутко коробит нас, стариков, когда молодежь нынче как-то фамильярно сокращает: «Щепка», «Щука»… Коробит). Мы, естественно, подавали документы и ходили на приемные прослушивания во все — вся эта история легла в основу сюжета Викторова романа «Когда же мы встретимся…»

А без Виктора я — тоже: полгодика проучился да и бросил. А летом 1955-го мы с Виктором поступали в Новосибирский сельхозинститут, на агрономический факультет. И поступили! Только учиться не стали. Я сразу же документы забрал, он — несколько погодя. Вот тут меня Витькина мать, тетя Таня, Татьяна Андреевна «залюбила»… Как когда-то Эркина Клавдия Алексеевна, когда я Эрьку во 2-м классе «русскому» языку обучал…

19 октября 55 г…. меня уже ненавидит Витькина мать за то, что я будто бы своим шалопайничанием сбиваю и Витьку уходить из Сельхоза. Хоть это и не так, но мне ответить нечего…»

Это все трудности да сложности, а дружба-то продолжалась! Вот тут она основную закалку и испытание на прочность, наверно, и проходила 19 октября 55-го: «Сейчас Витьке нужна помощь. Действенная, практическая. Он поворачивает к искусству» (!) Окончательно «повернул» только лет через 5–7: окончив филологический факультет Краснодарского пединститута, успокоившись, наконец, по поводу обманувшей сцены (а успокоился не враз, водил я его в эти годы и во ВГИК, и к М.А.Ульянову, преподававшему тогда у нас в Щукинском) и начав потихоньку писать да печататься. А тогда, в 1955-м, до «поворота» — ой-е-ей! — сколько еще было… Но уже поворачивал! И друг, я то есть, знал это раньше всех!.. А тут какой-то Сельхоз под ногами…

19 октября 1955… Виктору нужна Москва (в смысле: учеба, среда!), нужна помощь друга. Что я могу? Помощь, деньги нужны. Бьюсь, как рыба об лед, — и не могу пробиться сквозь собственную

тупость и непрактичность. Вот оно, самое желанное: испытание верности, дружбы — «другу срочно нужна помощь». (Это когда он из колхоза, куда ездил на хлебоуборку первокурсником сельхозинститута, привез первый свой рассказ, первую пробу пера; то, что потом, много позже, преобразовалось и вылилось в повесть «Чалдонки») — «нужна помощь друга, а я — как без рук — дергаюсь, а сделать ничего не могу…»

Всяко бывало. Мордобоев особенных между нами не вспомню. Хотя… Было! И это было. А уж ссоры, обиды, охлаждения… Бывали. И не мелкие. К Кагану вон какие-то претензии были. А, может, просто всплеск юношеского антисемитизма… А ведь это Валек навел нас с Витькой на мысль — и на дело! — «Раз вы искусством собрались заниматься, значит, надо наблюдать жизнь».

Истина? Истина. Дело? Дело. И мы взялись. А кто больше всего расположен к откровениям? Конечно же, пьяный. Ни одного пьяного мы не пропускали! И им было хорошо, пьяным-то: было кому душу излить, были благодарные слушатели; и нам — полезно! Как же это тренировало!

И память, и наблюдательность: попробуй-ка, запиши потом по памяти листа полтора-два разговора, рассказа, исповеди… А все кто? Друг Каган!

21 декабря 1952 (школа еще! 9-й класс). Замечательнейший день! Сегодня я, Валька и Витька (Каган и Лихоносов) говорили о дружбе. ..очень многое выяснили в своих взаимоотношениях и договорились в будущем всегда указывать друг другу его ошибки, как бы тяжело это ни было. Пусть же этот день будет Днем нашей дружбы».

Все вроде просто. Как учили, как завещали… А почему нас плохо должны были учить?

«Угодливость родит приязнь, а правда — злость», — знал и писал в комедии «Андрия» Публий Теренций более чем за тыщу лет до введения еще письменности на Руси. Все это так, и с классиком не поспоришь. И тем не менее! Когда правда не злая, а доброжелательная? Когда правда не в том, чтоб горбатому напомнить о его уродстве — хотя это тоже правда, но правда злая и бесперспективная, исправить ее невозможно, эту горькую и досадную правду. Но лентяю или разгильдяю, который плачется на свою судьбу, указать причину его бед — его собственные недостатки, лень или разгильдяйство, но которые можно исправить, — вот эта правда действенна и благотворна! И научиться говорить такую правду и слушать ее, выслушивать — это ли не школа жизни, не школа дружбы?

А это ли не дружба? Все тот же 1955 год, те же поиски,

метания, муки, страдания, самокритика, самоуничижения, самобичевания:

31 июля 1955…Валяюсь, выламываюсь дома. Один. Как сытый жеребец по весне в одиноком, запертом стойле. Кто запер? Лень и дурость — две мои верные, неотступные подружки, преданные до гроба…

Мысли опять… мечутся. Что мухи в мусорной яме. В театр охота — знаний мало, таланту нету… («Какого нужно?» — приписано Викторовой рукой в том же 1955-м и подчеркнуто!) Витьку надо… В институт без Витьки не иду — и его рукой: «Дуррак!!!!» (так и написано: два «р» и четыре восклицательных знака).

Это ли не дружба? Сам Витек в раздрызге, в неизвестности, в неустроенности, а бьется, воюет за меня, за друга! Со мной, с «дурраком», и — за меня!

Что вытекает из чтения дневника того времени для меня сегодня? В чем особенность того меня, восемнадцатилетнего? Щенячье-восторженное отношение к жизни, к окружающему и — лютая самокритичность. Неостановимая, перехлестывающая. А может, только так и надо? Может, это и есть самый благотворный и верный путь для развития и становления семнадцати-восемнадцатилетнего индивидуума? А щеняче-восторженное отношение к жизни переносилось и на друзей — они ведь тоже были частью жизни, меня окружавшей.

Казалось бы! Я сам добровольно выбрал себе место скромное и гораздо более низшее по сравнению с тем, на которое — сам же! — поставил своих друзей. И, наверно, было бы ужасно, если б это мое самоуничижение, искреннее и истовое, точно и буквально воспринималось друзьями, если б и они меня считали жалким, бесперспективным ничтожеством.

Монтень пишет: «…каждый день…я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность». Но Монтень, видимо, писал это в более позднем и спокойном возрасте. А в 18–19 лет… И перегибы, и гиперболизация (по крайней мере у меня) были абсолютно искренни, и переживания по этому поводу доводили порой чуть не до самоубийства — такова была искренняя вера или убежденность в собственном ничтожестве и полной бесперспективности. И в то же время, точно такая же, искренняя и откровенная, не скрываемая от друзей самокритика друга — тобой воспринималась не как ожесточенная самокритика, не нежнее, а, возможно, и безысходнее твоей собственной, а как изысканнейший юмор: ну я-то знаю, какие замечательные и необъятно талантливые у меня и Витя, и Эрик (и Каган, и Пищик,

и Вовка Кириллов!). А то, что они обзывают сами себя «тупыми», «неспособными», «слабыми», «маленькими» — это юмор. Блестящий юмор, которого мне тоже не дано… потому что я знаю и искренне убежден, что я туп…

А они-то, ласточки мои! Точно так же, а может, еще и сильнее были уверены, что это каждый из них туп и слаб, а друзья у них — ого-го какие… Признание Виктора уже в 1968-м (за тридцать уже каждому перевалило): «Ну да теперь не учить мне тебя в дневнике по-глупому. ЗАВИДУЮ ТОЛЬКО, КАК ПРЕЖДЕ».

Чем вот такую главу закончить? А ничем, наверно. Пока мы живы, эта тема в нашей судьбе и жизни, я верю в это, не может быть завершена. Только после нашей жизни. Ну тогда кто-нибудь и допишет… Если это кому-то окажется нужным.

P.S.

«Год 1997-й.

Поселок Кольцово Новосибирской области.

Дорогой Юрий Владимирович!

Шлю тебе праздничный привет и поздравления с твоим 60-летним юбилеем! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и удачи!

Солнце сибирское сияет в твою честь во всю силу… Зимой снега выпало много, гидростанция начала сбрасывать воду еще в начале апреля, так что твоя любимая Обь почти чиста и катит воды свои в Океан, не скрываясь. Стемнеет — в небе ярчайшая комета! Несомненно, тоже в твою честь сияет уж месяц как!..

Я думаю о тебе почти каждый день, сопоставляя наши пятидесятилетней давности мысли и разговоры с сегодняшним днем. Приливы-отливы в народном сознании… Сего дня белогвардейцы взяли верх (словами уборщицы в поликлинике, которая яростно терла пол, пока я сдавал в гардероб пальтишко). Наступит день, однако, когда наш неповоротливый и ленивый великан, крякнув в недоумении, проспавшись, стряхнет в одночасье вшивое покрывало.

Пой, друг мой, песни свои, пой! Каждый раз, купив «Советскую Россию», ищу твою новую статью. Ты самый смелый и умный парень из той Общины, где мы валяли дурака, но и росли одновременно!

… Вспомнил еще: Павлово-Посад!.. Что с вечера было, не помню и знать не желаю! А утром мы, дружок мой, проспав автобус, перлись пешком до станции. Весна была тоже, как будто бы. Шли полем. И ты запел. Пел соревновательную песню из «Певцов» Тургенева: «Не одна во поле дорожка пролегала»… Я, спотыкаясь, обхожу неудобья дороги, а парнишка рыжий мой, сняв от воодушевления кепчонку, поет от души, радуясь красному утру, молодости, силе своей и счастью душевному, внезапно

пришедшему!

Крепко тебя обнимаю, жду встречи.

Э. Малыгин (Матвей)».

Так мы переименовали друг друга в юности: я был Егор, Эрик — Матвей, Витя — Захар…

«20 апреля 1997 г.

Пос. Пересыпь Краснодарского края.

Дорогой друг Юрий Владимирович!

Почта нынче рыночная, и ручаться за ее скорость нельзя. Пишу заранее. Итак, ты 5 мая пересаживаешься в пенсионный поезд. А я мысленно еду с тобой в Сибирь, к четырехэтажке и средней школе № 73. В благополучную эпоху застоя (как меняются представления!) там можно было бы и собраться, — на родине-то, в кругу тех, кто помнит детство. Гуляли бы неделю, и денег хватило бы… И поплыли бы в Кудряши, и сентиментально прошлись бы по старым дорожкам. Голова от обиды кружится — не то что молодость, но даже прогулка стала недосягаемой мечтой!

А что мне вспомнить к твоему дню?

Был ты после школы долго-долго моим ангелом-хранителем, путеводной художественной звездой, ласковой нянькой, эпистолярным учителем, открывателем восторгов и добрым товарищем-другом. Бог послал. Иначе что вышло бы из меня, робкого, растерянного? Спасибо тебе. Я жалею, что прожил вдали от вас с Эрькой. Будь крепок и даже богат, желаю счастья твоим деткам и внукам…

Обнимаю. Твой *В.Лихоносов».*

Привожу здесь эти самые дорогие для меня поздравления к моему 60-летию не для документального подтверждения своей исключительной замечательности — ребята маленько прибавили… Да и не маленько!.. Но какие ребята! Как таким счастьем не похвастаться, не поделиться?!

О моей профессии

Пора, пожалуй, вспомнить и о профессии. Ну, во-первых, хотя бы потому, что ежели бы не артист, да еще кино, да все-таки какой-никакой известный слегка: пятьдесят лет — что-то около 200 ролей, маленьких, больших и совсем крохотных. Мозолил глаза зрителям и на нашем экране, кино- и теле-, да и «за бугром», случалось, демонстрировали… А, во-вторых, люблю я все-таки свою профессию… «хоть реже говорю об этом». Хоть взаимоотношения у меня с ней, с профессией моей, сложные были. Да и сейчас непростые. Как у иного с женой: и не принимала она меня всерьез когда-то, не допускала к себе, и гордо с презрением отвергала… И я ее — и бросал, и поменять на другую (профессию) пытался… Но вот живем. Все как у людей. И люблю. Хоть реже говорю… Опять любовь? А как же без любви-то?!

Из интервью Л.В. Голубкиной в 1978–1979 г.

— Как возникла мысль стать актером? И как это произошло, случайно или закономерно?

— Ну как возникла? Впервые возникла именно так и такой, какой ей и полагалось быть, вполне сообразуясь с возрастом, характером, темпераментом и жизненным опытом того, у кого она возникла. А возникла она у тринадцатилетнего семиклассника 73-й мужской средней школы родного моего города Новосибирска, далекого в те времена: более четырех суток поездом от Москвы или двенадцать часов самолетом Ил-14 с тремя посадками-заправками по пути, за бешеные по тем временам деньги: шестьсот рублей! Не то что теперь: три с половиной часа лету — и на родине! Всего за пятьдесят шесть рублей — разве это деньги сегодня?..

Ну и в полном соответствии с тем, кого она осенила, и мысль была глупой, детской, безответственной. Был я очень увлекающимся, влюбляющимся в чужие судьбы, профессии, сегодня мечтаю стать моряком, завтра — кавалеристом (между прочим, эти две страстные, так и не осуществленные мечты — стать моряком и кавалеристом — и по сей день неотступно гложут мою душу). И вот к седьмому классу, измучившись собственным непостоянством и завистью ко всему, что ни проходило, ни проплывало мимо меня, цепляя и увлекая за собой, — вот тогда я вдруг и подумал: «А ведь есть профессия,

которая запросто может объять необъятное — киноактер! Именно — КИНО. Театральный только показывает в своем театре, изображает, что он находится на боевом корабле, на самолете, а сам остается в том же театре, в деревянных и тряпочных декорациях, а вместо лошади — верхом на палочке, а в кино-то все по правде: лошадь — так лошадь! Живая! Не палочка! Самолет — так самолет! Море — так море!..».

Ну а потом, как это нередко случается в жизни, пришедшая однажды, вроде бы в шутку, вроде бы как-то дурашливо мысль, потом почему-то вдруг начинает возвращаться. Шире, серьезней, охватывая и включая в себя, отвечая на все новые и новые запросы, потребности и искания твоей души… Читает, скажем, приглашенный к нам в школу артист отрывок из «Рожденных бурей» Николая Островского — ух, как я это чувствую! Как я бы тоже мог это!., и прочесть! И рассказать! И показать! И увлечь!.. Или изумительно играет в школьном спектакле Витя Лихоносов — мой искуситель, мой будущий друг, вождь, за кем, как Данте за Вергилием в ад, ринулся я в этот неведомый, опасный, но неотступно манящий и влекущий мир Искусства, — и меня подмывает! И мне хочется — так же! Туда же! На сцену!! Читают по радио «Буревестника» Горького — а я бы не так прочел! Не слышит чтец той музыки, которую я слышу, которая для меня звучит в этом произведении. Которую все должны услыхать!! Кто ж им всем без меня ее поведает? И т. д. и т. п.

Потом русская классическая литература. Просто та, что положена была по программе. Но воспринимаемая не как что-то досадное, мешающее спокойно жить и развлекаться, а как откровение, как увлекательнейшая школа жизни, познания жизни и самого себя. Споры по поводу того: что выше — «Горе от ума» или «Евгений Онегин»? Базаров — положительный герой или нет? Есть ли что-то положительное в горьковском Луке, в шолоховском Якове Лукиче Островнове или нет?

Спектакли нашего замечательного новосибирского «Красного Факела», который называли тогда «сибирским МХАТом…». Фильмы золотого фонда отечественной кинематографии и «взятые в качестве трофея», стало быть, золотой же фонд мировой кинематографии.

Случайно ли возникла и утвердилась мысль стать актером? Да нет, наверно, не совсем случайно…

— Правильно ли выбрал училище?

— Во-первых, никто не предлагал выбирать мне, а выбирали меня, из довольно-таки приличного числа жаждущих поступить. Выбрало меня Щукинское училище, и спасибо ему великое за одно только это. Но и не только за это.

Студентом я оказался маленько не как все: первым делом, не кончив первого курса, бросил училище, решив, что недостаточно умудрен жизненным опытом, чтобы к чему-то призывать, чему-то учить людей со сцены (иной цели актерского творчества я себе не представлял, да и сейчас не очень представляю…). И уехал я разнорабочим на строительство железнодорожных мостов в Казахстан. Потом работал в родном Новосибирске в стройколонне и погрузконторе, в колхозе под Новосибирском, молотобойцем в кузне на Дону, пытался поступить в различные военные училища, в Новосибирский сельхозинститут, вернуться в родное Щукинское, поступить в Одесское мореходное училище, устроиться матросом в Черноморское пароходство. После всех этих бурных поисков и метаний вернулся в Щукинское и пытался его закончить, но теперь уже училище засомневалось: стоит ли со мной мучиться, делать из меня актера, если я так усиленно этому сопротивляюсь… За шесть лет — неполных, с большими перерывами — но за шесть, тогда как нормальные студенты обучаются четыре года, — за все эти годы мне ни разу не была поставлена пятерка по мастерству актера, а мастерство актера, как нетрудно догадаться, — основной, так сказать, профилирующий предмет (в театральном-то институте! Да еще и на актерском факультете!). С «тройкой» по мастерству у нас, говорили, просто выгоняли за «профнепригодность», а мои достижения на втором курсе в области актерского мастерства были отмечены именно этой оценкой. Но меня все-таки не выгнали, как-то я зацепился, как-то удержался… Не думаю, чтобы такая единодушная и на протяжении солидного довольно срока (6 лет) не меняющаяся оценка моих успехов была специально продуманным индивидуальным подходом, индивидуальным методом воспитания. Вероятно, действительно сомневалось училище, и сильно, в правомерности предпринятого некогда риска — попытки сделать из меня актера. Но, как ни странно, я очень благодарен за все эти трудности и сложности и судьбе, и ее исполнительному органу в отношении меня — родному Щукинскому училищу Легкий успех, он, может, и не обязательно должен быть губительным (хотя очень часто бывает таковым), — но что он не столь прочен и надежен, как успех, завоеванный в борьбе, — для меня «так это ясно, как простая гамма»… А борьба была серьезной, нешуточной, ну хоть не «на жизнь и на смерть», но все же за жизнь в избранном тобою деле или навек без него. И слова «успех» я не очень стесняюсь, ибо для меня благополучное окончание училища и получение диплома явилось вполне заслуженным, завоеванным успехом. А кроме всего прочего все эти сложности и борьба обнаружили и выявили во мне какую-то…

жизнецепкость, что ли… И уж воспитали-то — наверняка! А эта штука, «жизнецепкость»-то моя, оказалась очень не лишней и полезной и в жизни, и в работе.

— Что играл в училище?

— Из сыгранного в училище особенно похвастать нечем. Да просто нечем, даже не особенно… Ну сыграл в дипломном спектакле «Весна в Москве» по пьесе В. Гусева роль «милиционера на мосту»… Ну где-то потом, лет через шесть-семь, а может даже больше, узнала меня билетерша в кинотеатре, кажется, «Россия», которая когда-то работала билетершей в Учебном театре и запомнила почему-то моего «милиционера»… Ивсе… Недаром же мои успехи в деле освоения актерского мастерства так скромно оценивались в училище. Удались мне более или менее при выпуске работы не по мастерству актера, а по танцу и фехтованию.

— У кого учился (не официально, а сам)?

Конкретного одного учителя или определенного примера для подражания не было. Влюблялся. В актеров, в определенные их работы. До умопомрачения, до поросячьего визга! Ну как можно было спокойно, без восторга до визга смотреть на Н.О. Гриценко в спектакле Вахтанговского театра «На золотом дне» по Мамину-Сибиряку? Или на покойную В.Н. Рыжову? Всегда! Везде и во всем! Где бы и на какой бы краткий миг она ни появлялась. Хотя бы даже в кинозаписи! Живую я ее на сцене не застал… Учило ли все это чему-нибудь? Формировало — да.

А вообще-то учишься всю жизнь, если только хочешь и не стесняешься учиться. Я не стесняюсь. (Кажется… Хочется верить, что победил в себе это не самое полезное качество: стесняться учиться.)

Сегодня-то я вообще глубочайше убежден, что самая главная функция и задача высшего учебного заведения: научить человека учиться! Учиться всю оставшуюся жизнь. Нормальный человек учится всю жизнь. И я далеко не одинок в этом своем убеждении и ощущении! Абсолютно со мной солидарны, а может, и укрепили… а точней и верней всего, навели на эту мысль, сформулировали ее… К.С. Станиславский: «Долго жил. Много видел. Был богат… обеднел. Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех… Искал славы. Нашел… Был молод, состарился. Скоро… умирать. Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? В познавании… и в работе…»

А до того Ф.И. Тютчев: «Когда испытываешь ежеминутно с такою болезненной живостью и настойчивостью сознание хрупкости и непрочности всего в жизни, то существование, *помимо цели духовного роста,* является лишь бессмысленным

кошмаром».

Ну и наконец… а, вернее, с самого начала… и наверняка тоже не с «самого»! Начало надо искать где-нибудь у Вергилия, Горация… да раньше: у Гомера!.. И еще раньше: в Библии… И раньше: у мудрецов Древнего Египта, Месопотамии, Китая, Индии… Данте Алигиери, около семисот лет тому назад, на рубеже XIII–XIV вв. (на Руси самый мрак и разгул татарского ига):

Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны…
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.

— *Как пришел в кино?*

— В кино пришел просто: пригласили. Не знаю, как в других театральных вузах, но у нас в Щукинском было такое хорошее и полезное заведение: кроме того, что мы играли в своих дипломных спектаклях, мы же сами их и обслуживали. Первокурсники — рабочими сцены, первокурсницы — костюмерами, реквизиторами, а выпускники, у кого получалось, играли в спектаклях, а у кого нет — из тех порой назначали «ведущего спектакль» (помощник режиссера называется эта должность в театре). И вот вел я спектакль, руководил, командовал, гонял первокурсников — и вдруг ко мне подходит женщина:

— Простите, вы здесь работаете или тоже студент?

— Студент…

— Актерского факультета?

— Да у нас и нет других (факультетов тогда не было).

— А я ассистент режиссера. С «Мосфильма». Хочу дать вам почитать сценарий.

И дала. Это был киносценарий по повести Ю. Бондарева «Последние залпы». Я прочел его, тихо и безнадежно влюбился в главного героя, «капитана Новикова», но ни в одном глазу не заподозрил, конечно, киностудию в желании предложить роль капитана Новикова мне.

— Ну, как вам сценарий? — уже на студии, со вторым режиссером.

— Очень! Понравился…

— А кто больше всех понравился? Кого бы вы хотели сыграть?

— Н-не знаю… Лейтенанта Алешина… (А сам себя в душе уже ругаю за наглость: «Ну какой лейтенант Алешин? Тоже одна из центральных ролей!..») Да нет… Солдата какого-нибудь…

— А капитан Новиков не понравился?

Тут уж я не помню, что и отвечал. Я к тому времени твердо привык в «благосклонности» судьбы ко мне и ни на секунду не сомневался, что капитана Новикова мне не видать, как своих ушей, никогда… Но был безмерно счастлив возможности хотя бы попробоваться. Чем черт не шутит, а вдруг дело до кинопробы дойдет? Это было уже пределом наглости моих мечтаний: сняться на кинопленку и потом упросить, умолить показать мне, что же там у меня и из меня получается? Чтобы хоть самому наконец понять и убедиться воочию, стоит ли мне дальше биться, цепляться и настырно, упрямо пытаться делать из себя актера, или надо признать правомерность сомнений училища (в успехе данного предприятия), успокоиться и поискать для себя что-либо более соответствующее моим возможностям…

Ну а потом… Потом пришлось привыкать к удачам и счастью, как до того 6 лет я от них отвыкал… Но закалка «несчастьем» не пропала даром! Я ее ни на какое легкое счастье не променяю.

Первый мой фильм… «Последние залпы»… Капитан Новиков. Работа была, как говорится, о какой можно только мечтать: большая, очень интересная, горячо любимая и… очень страшная — справлюсь ли?

Капитан Новиков был для меня образцом такого человека, такого героя, которому мне самому очень хотелось подражать, самому хотелось быть похожим на него, хоть чуточку быть достойным его.

Снимаясь в «Последних залпах», я понемножку знакомился со спецификой кино, с его перехлестывающей всяческую фантазию жизненной достоверностью, действующей даже на нас, актеров. Помню, начали мы съемки на натуре в Закарпатье с одного из последних эпизодов, который шел по сценарию непосредственно после кульминации, после страшного боя, невольной измены лейтенанта Овчинникова и вынужденного убийства лейтенанта капитаном Новиковым. А в этом эпизоде, с которого начались съемки, мы (капитан Новиков и его солдаты) всего-навсего ели кашу после боя. Все было просто, но где-то что-то врало, что-то не ложилось, что-то было не так… Снимали мы эту «кашу» два дня. Я мучился ночь между съемками, спорил и искал решения сцены с моим другом, ассистентом режиссера Славой Березко, на другой день отсняли, закончили сцену — и все равно осталось ощущение неудовлетворенности, неясности какой-то, недопонятости.

Потом долго снимали начальные эпизоды и последующие, и «каша» давно забылась, не до нее было. Но вот когда отсняли эпизод боя, отсняли да еще и пересняли два раза убийство лейтенанта Овчинникова, когда бой и убийство лейтенанта я

пережил, прожил сам, не прочитал и перечитал внимательно, не прочувствовал, не проиграл, а прожил, пережил, как мы проживаем и переживаем что-то в жизни, один раз, но навсегда! — вот тут-то развеялись сами собой все неясности в «каше», я знал, как это играть, еще проще, еще достовернее и тем самым — страшнее, но… было уже поздно. Эпизод был давным-давно отснят, принят и вошел в фильм немножко не таким, каким мне бы хотелось его видеть.

И еще с одной достоверностью кино я столкнулся. Мой (капитана Новикова) артиллерийский расчет вел бой с танками (как и танки с нами), конечно же, холостыми снарядами. Но один день, для съемки крупных планов у орудия, для полной фронтовой достоверности, чтоб орудие после выстрела вздрагивало, прыгало, ствол откатывался назад и выбрасывал дымящуюся гильзу, — один день мы стреляли боевыми осколочными снарядами (холостые отката не дают). Орудия у нас были старые, фронтовые еще, 76-миллиметровые, давно снятые к тому времени в нашей армии с вооружения и потому долго простоявшие без дела. Первый пробный выстрел делал артиллерийский расчет помогавшей нам воинской части, спрятавшись в глубокий окоп и дергая спусковой крючок за привязанную к нему длинную веревку. Мы наблюдали все это, отойдя метров за тридцать. Оказывается, орудие после столь долгого «отдыха» могло просто разорваться от боевого выстрела. Но его не разорвало. Второй выстрел делал сержант-артиллерист, стоя у прицельной рамки. А я, чтоб получше у него поучиться, вылез аж за щит слева. Выстрелив, орудие прыгнуло, прицельным устройством разбило лоб сержанту, а мне взрывной ли волной, звуком ли так садануло по незащищенному, выставленному за щит левому уху, что в нем минут десять-пятнадцать то-оненько звенела, не переставая, какая-то струна, а потом недели две болела голова, и очень долго я этим ухом плохо слышал. Я кинулся за ободрением к солдатам-артиллеристам: ребята, мол, это ведь ничего, что меня так по уху ударило? Пройдет, наверно? Ничего не будет?

— Конечно, ничего, — отвечает один. — Все нормально будет, у меня вот одно ухо так и не слышит — и ничего!

Запомнились заснеженные поля под Минском, где мой лейтенант Котельников (уже в следующем фильме «В трудный час») водил в атаку бойцов и где невдалеке от наших кинематографических окопов мы наткнулись на давным-давно заваленные, заглаженные временем, заросшие травой и молодым лесом настоящие, взаправдашние окопы, оставшиеся от войны… И, побродив по этим окопам, уже по-другому смотрел в даль

перед ними, и зябко, знобко становилось на сердце от одной тишины и пустоты этой дали, перед которой граница, рубеж нашей жизни были вот эти немногочисленные окопы. И защищало этот рубеж (судя по количеству окопов) гораздо меньше людей, чем было сейчас в нашей съемочной группе…

Из записной книжки

20 марта. 1973 г. (36-й год жизни на излете), Новосибирск (на пятидневной побывке).

Лапонька ты моя!.. Кто? Не знаю… Новосибирск? Родина? Погода, природа?.. Заельцовка? Детство? хранитель памяти о нем…

…Как тихая заботливая мать, которая так редко видит непутевого, болтающегося неведомо где сына, в короткий срок побывки не корит, не сетует, а старается за эти 5 дней накормить сына на целый год или неизвестно насколько вперед всем и всяко, что пропустил он, чего недополучил из родительских щедрот и возможностей, вот так и… Прилетел 17 марта, 23-го улетать — так встретила меня лапушка-родина сверкающей, солнечной, ослепительной зимой! Лучшим из зимних дней! Со свежевыпавшим снегом, солнцем, легким морозцем, сухим и живительным, родным, самым лучшим и полезным в мире воздухом!

А сегодня выхожу утром от Борьки, брата, с Заельцовки, где на старой бабкиной квартире все детство мое прошло, где у них на новом уже (но черт с ним, похожем на наше старое пианино) стоят ветки кедра, привезенные недавно из Горной Шории. И — пахнут!.. Это же извечное мое детство!.. Елка. Новый год. Елочка с запахом всегда где-нибудь в углу, за пианино… Каникулы. Вечера одинокие дома. С пианино и с этим запахом…

А вышел утром — а лапонька моя весну мне приготовила на сегодня! Душную, парную, серую, мягкую, теплую… А я плачу. Я знаю, что это— только для меня! И потому, что я здесь так ненадолго. И все разом! И самое лучшее!!! Самое лучшее, что только у нее (у лапоньки, у Родины, у Новосибирска, у хранителя или хранительницы памяти о моем детстве) есть…

Плачу… И правильно…

«Ох, и нежная же ты тварь, Семен», — кажется, говаривал когда-то А.С. Макаренко своему любимому ученику, преемнику, последователю Семену Калабалину (в «Педагогической поэме» — Карабанов). И я в свой адрес готов услышать подобный упрек… Ну— нежная… Куда денешься?.. Какая есть…

Я и сегодня плачу. Высмотрю, подлетая, извиваясь и

вытягиваясь через головы пассажиров с какого-нибудь места «Д», увижу в иллюминатор разлив Оби за Кудряшами: «Моя ты красота!..» — и плачу…

Лет этак примерно до двадцати пяти меня все тянуло куда-нибудь бежать… Я тогда даже оправдание и девиз себе нашел. У Федина в «Необыкновенном лете» писатель Пастухов говорит: «Русский человек, русский человек… И непременно — бежать. Бежать! Это — наше свойство. Бегут все: раскольники, невесты, каторжане, гимназисты, толстые… За праведной жизнью… За счастьем, за волей, за сказкой, за славой. Из городов — в леса, из лесов — в города…»

Не знаю, перестал ли я быть русским или просто уже вышел из возраста гимназистов и невест, а до возраста Толстого еще не дошел — не знаю, но начиная с двадцати пяти лет меня постоянно тянет не бежать, а оставаться, возвращаться. Мне ниоткуда неохота уезжать. Всегда в нашей кинематографической бродяжьей жизни только начнешь где-нибудь в экспедиции привыкать к месту, к людям, начнут вдруг проступать для тебя и приобретать какую-то стройность, логичность разрозненные прежде, поверхностные впечатления, только-только тебе покажется, что вот-вот ты что-то ухватишь, узнаешь, поймаешь, поймешь еще незнаемое, небывалое — и хлоп! — надо уезжать. А жизнь остается. Остается море в Ялте и рыбаки, с которыми я как-то раз ходил в три часа утра выбирать сети… Остается Псков со своими загадками и дивными Песнями в камне: храмами, крепостями, стенами, звонницами. Остаются Владимир, Суздаль (это уже «Рублева» снимали…). Остается деревня Поддубки Калининской (теперь Тверской) области с бабкой Марьей, которая так и не успела рассказать мне свою жизнь, только намекнула, только поманила непростой своей историей, красивая некогда, статная, ныне одинокая и больная бабка Марья…

И уж, конечно, больше всего всегда не хочется уезжать из Новосибирска. Сколько, сколько всего еще тут я не знаю! Истории нашего города и края, заповедных и незаповедных мест нашей области, нашей главной красы и гордости — Оби, так незаслуженно обойденных в литературе, искусстве, так безбожно недостаточно воспетых. И раз я даже вернулся. Правдами и неправдами добился, выхлопотал себе на студии «творческий отпуск» без сохранения содержания, вернулся в Новосибирск и ушел матросом-мотористом ковырять родное обское дно на земснаряде «Обская-101». И все было бы хорошо: к концу навигации я уже дослужился до моториста-лебедчика, выбирал уже себе факультет в Новосибирском водном институте, куда бы пошел учиться, только еще колебался между судомеханическим и

гидротехническим, но… Ведь для того, чтобы вернуться в Новосибирск, я должен был на этот раз сбежать с «Мосфильма»… А вот теперь меня потянуло обратно в кино. Тянуло, тянуло и — дотянуло. Вернулся.

Кино — это тоже неплохо, чего греха таить. Но и каникулы на земснаряде не пропали даром. Кто знает, может, как раз после земснаряда я впервые испытал наслаждение от самого процесса актерской работы. Не от того, что я вдруг сам себе в чем-то понравился или кто-то меня вдруг за что-то сильно похвалил, — нет, просто наслаждение от самого процесса работы, вероятно, что-то вроде того, о чем в четвертом действии «Чайки» говорит у Чехова Нина Заречная. И в этом не нахальное, нескромное сравнивание самого себя с чеховской Чайкой, нет. Просто твердое убеждение, что человеку для счастья и доброго душевного равновесия и спокойствия необходимо испытывать наслаждение от самого процесса своей работы. Ну а если при всем этом он еще почувствует, что его работа не только ему самому дает радость, но еще и необходима, полезна, нужна другим, — ну, тут… чего же еще можно пожелать такому счастливейшему человеку?

Так вот, о наслаждении: во время кинопроб к одному фильму, во время репетиций к этим кинопробам я вдруг от сцены, от фразы легко пошел в жизнь моего героя, как в жизнь живого человека. Мне вдруг стали открываться тайные связи и пружины его души и характера, вдруг он у меня… ну, не совсем еще ожил, но начал звучать; я, как мне казалось, уцепил особую, единственную гармонию души и поступков данного человека, и прежде диссонирующие фразы сценария вдруг стали звучать для меня согласной музыкой. Я сам был счастлив открыванием для себя и проникновением в нового, интересного, дорогого мне человека…

А в какой картине все это происходило… даже и сказать нельзя — я в ней не снимался. Я даже не допробовался до конца. Но дело не в этом. Дело в том, что я впервые испытал наслаждение от самого процесса работы. Это очень здорово! Страшно жалко, конечно, что мне не удалось сыграть этого человека, до сих пор жалко. Но не все и не всегда нам удается.

А что же мне удалось? Мне как-то очень крепко кажется, что артист, художник сам о своих работах вообще не должен ни говорить, ни объяснять их. Ну зачем бы, скажем, вдруг Левитану объяснять свою «Золотую осень» или «Вечерний звон»? Это, правда, абстракционистам, всевозможным модернистам и их поклонникам приходится много времени тратить на объяснения, доказательства красоты и прелести их искусства. Я — отсталый человек — не понимаю этого. Мне нравятся Саврасов, Федор

Васильев и Левитан, Римский-Корсаков и Кальман, Рахманинов и Дунаевский, даже Скрябин. А Шостаковича, Пикассо я не понимаю и не люблю. Прекрасное, на мой взгляд, не нуждается в доказательствах, что оно прекрасно. Тогда как уродливому никакие доказательства (того, что оно, уродливое, — прекрасно) помочь не в силах. Да и не один я так думаю, абсолютно солидарен со мною автор «Дон Кихота» Мигель де Сервантес Сааведра: «Душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, преподносящихся нашему взору или соображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может».

Очень хочется надеяться, что эти мои измышления не будут восприняты как желание тихой сапой пристроиться в один ряд и уровень с фигурами масштаба Левитана или Рахманинова. Ей-богу, не для этого я вспомнил про них, а единственно из желания доходчивее донести свою мысль и убежденность в том, что художнику, какого бы масштаба он ни был, не стоит самому о своих работах и заслугах распространяться.

«Дарование художное подобно черпающим воду из реки. Один подымает велик сосуд, другой посредний, а иной — малый. Всяк несет по своей силе. И ты богатству дарованья радуйся. И намеренье посредственных целуй. И спех умедливших люби». Книжица «Нарядник» («Слово о Москве». Б.В. Шергин).

Так что ж удалось-то? А бог его знает… Всегда ведь лучше знаешь то, что тебе не удалось. Вот я знаю, что до сих пор мне никак не удается вернуться в Новосибирск и при этом не сбегать из кинематографа. Ну никак не удается! Вот если бы в Новосибирске затеяли да и сделали студию по производству художественных фильмов… Ну это уже область мечтаний и прожектов…

Хотя… Как мне ополчаться на область мечтаний и прожектов, когда всю жизнь в этой области только и купаюсь? И еще неизвестно, смог ли бы я прижиться в какой-либо другой, трезвой профессии, абсолютно чуждой мечтам и прожектерству. А тут худо, бедно ли, а прижился. Я, к примеру, страшный завистник. Причем я вовсе не завидую своим коллегам-актерам, которые сыграли что-то такое, что мог бы или мечтал сыграть я. Вот ей-богу же! Ну что толку завидовать, скажем, М.А.Ульянову? Все равно, как он сыграл «Председателя» — никому никогда так не сыграть, а мне — в первую голову. А завидовать кому-нибудь ниже Ульянова и вообще не стоит. А вот Васе Кулешову с «Обской-101» я завидую. Завидую его умным рукам, тому, что он излазил всю Обь с притоками («пустынные, унылые берега притоков Оби», как характеризовал их классик), завидую тому,

что он моряк, речник, водник, что у него пять профессий в руках. Да и не одному ему, всем завидую, с кем работал, кого полюбил. А кого не полюбил, тем не завидую. Льву Николаевичу Содуянову из нашей 73-й школы завидую (завидовал. Его уже нет, Льва Николаевича. Все мы когда-нибудь успокоимся и упокоимся…). И другим учителя завидую. И ученикам. Я всего на несколько часов зашел в родную школу, выступил перед ребятами и ушел. Ушел с тысячью неоформленных даже вопросов в голове: как они там? Ребята? Учителя? Школа? Чем живут сегодня? Что нас связывает, что различает: меня, бывшего выпускника, и их, сегодняшних десятиклассников, завтрашних выпускников?.. Я зашел, проведал, поулыбался и — ушел. А жизнь осталась. Она течет там своим интересным ходом (всегда интересным! Живая жизнь не может быть не интересной!). А я этого уже не знаю. И не узнаю. А Лев Николаевич знает (знал), они — знают. Они там живут.

Завидую другу своему писателю Виктору Лихоносову и другому другу, химику, туристу, музыканту, аквалангисту Эрику Малыгину Завидую людям всех интересных профессий и судеб, о которых часто по вечерам рассказывает и поет радиостанция «Юность». Брату своему младшему, инженеру, завидую. Даже тому, что у него есть старший брат-киноактер, а у меня — нет. Чушь? Глупость? Наверно. Ну кому какое дело: кто кому и почему завидует. Но я об этом почему заговорил? Если бы я никому не завидовал, я бы, наверно, не смог быть актером. Это ни в коей мере не значит, что я открыл новый секрет актерского творчества, что каждый актер обязан быть вот таким же завистником, — совсем нет. Это, возможно, только лично мое качество. Но я чувствую — и даже уверен! — что без такой вот горячей зависти ко всем чужим живым интересным жизням и судьбам я бы работать — не смог.

По сусекам дневников и записных книжек

23 октября 89 г. Таллин.

Вылез вчера к нам на сцену (мы выступали перед фильмом) боольшой человек (бицепс в обхвате 41 см, «ничем не занимался — во! — сорок один сантиметр!.. У рэкетиров, там, у этих — 38, 39… ну 40… А у меня — 41!!..»), большой, значит, крупный (в живом весе); несчастный — жена Дон Кихотом называет, и не только «называет», и другие неприятности есть… Неудачник — «киномо» бредит, рвется в «кино», но… «Три тыщи надо, чтоб в Москву прорваться…» Вроде добрый и искренне несчастный… Не повернулся язык «послать» его, поехал к нему после выступления

«на чашку чая»…

Но и не прав он!

Он добрый, жутко добрый, хотя вырос в Грозном, на Северном Кавказе, где обстановка (среди молодежи) вроде постоянно располагает к ежесекундной самозащите, самообороне, а вовсе не к незлобивости… Так в чем же он не прав? (О чем сказать себе, конечно же, не дал; говорил сам! Много, бурно, несвязно, напористо, непонятно, но — говорил!) В чем же не прав?

Добрый — вроде, бескорыстно добрый; чистый — душою, по профессии-то бригадир асфальтоукладчиков; несчастный — мечта, жена… И при всем том — эгоист (в душе): себя хочется выразить! Хорошего, замечательного, незаслуженно несчастного, но — себя. Скромности, самокритики, страсти к самоусовершенствованию почти нет. Вот для чего «Капище»-то мое нужно, дневники мои юношеские со взлетами, воспарениями души в мечтах и с самогрызением, самоизничтожением: как и идеалов вроде не предавал (своих, юношеских), и себя не щадил, не позволял себе конформизма. Нет, может, не во все драки кидался безоглядно, как молодой Горький (как он сам о себе пишет), но не позволял себе отступать. Изо всех сил старался не позволять. Поделиться с людьми, хотя бы типа моего асфальтоукладчика, опытом самовоспитания. А оно, самовоспитание, по двум рельсам должно катиться: растить в душе, лелеять прекрасные мечты, идеалы — ну это не специально делается, само собой должно идти из культуры, классики прошлого, отечественного и мирового искусства, философии, — и волю воспитывать! Которая помогала бы, гарантировала в трудные минуты неотступление, непредательство, верность своим прекрасным идеалам. А тут еще и скромность помощница: чтоб в идеалах-то шибко высоко не заноситься, чтоб хватило силенок верным им оставаться. Вот они, две рельсы-то! И по обеим двигаться надо равномерно. Чтобы не скособочило, не свернуло с них ни в сторону бесплодного, безнадежного мечтательства (как героя «Белых ночей» Достоевского), ни в сторону сегодняшней бессовестной («рэкетирской», как выражается асфальтоукладчик Паша) вседозволенности, «всегодостигаемости», когда цель — только самоудовлетворение. И все силы — душевные и физические — на добывание средств! Любой ценой и любыми путями. Для этого самоудовлетворения.

Спасибо Паше, что он, такой Дон Кихот незлобивый, затесался среди сегодняшней оголтелой и поголовно прагматической молодежи (каково-то ему нынче, бедному русскоязычному Паше из Грозного, в заграничной суверенной Эстонии?..) — но и не прав он. Глубоко не прав в своем спокойном,

вполне удовлетворенном самим собой бескультурье… Учиться, учиться надо, Пашенька! Озверело, осатанело учиться. Ненавидя, презирая, изничтожая себя за свое бескультурье.

Славная у тебя душа, Паша. Есть она! Спасибо — кому?.. Богу? судьбе? тебе? маме? Северному Кавказу?.. — но есть, есть она, душа. У многих, у подавляющего, может, сегодня большинства нету, у тебя — есть! Есть человеческая душа. И друг твой Володька с рижского парохода тому доказательство — друзья прилепляются все-таки к душе, а не к «живому весу». Но слабенькая она у тебя, Паша. Укреплять ее надо. Воспитывать. Врагов и опасностей у нее чертова пропасть: и эгоизм примитивный, младенческий — страсть «самовыразиться», «доказать», показать себя, прославиться. И хвастовство. И водка. И бескультурье, бескультурье, бескультурье…

Как преподавать литературу в школе

…Самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью… им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе, — нужно ими проникнуться.

Мишель де Монтень. «Опыты»

Возможно, весьма спорная глава

Был задан мне такой вопрос одним очень милым редактором, интервьюером. Была задана такая тема… Для статьи, для размышления, рассуждения.

А меня действительно давным-давно мучает этот вопрос. Почему? Бог его знает… Может, потому, что я как-то очень серьезно всегда относился к воспитанию детей?..

Мне кажется, каждому человеку необходима в жизни какая-то надежность, спокойная уверенность, что все идет, как надо; и что впереди навсегда, до самого конца все будет, как надо.

Или хотя бы видимость такой надежности…

А что может быть надежнее детей, потомства, продолжения твоего? Сила, красота, талант, любовь — даже если когда-то судьба снизошла и одарила тебя всем этим или хотя бы частью, хотя бы чем-то одним, — все это в конце концов исчезает, кончается, иссякает. Даже если когда-то и было в твоем распоряжении, радовало, ублажало, доставляло утехи, восторги, счастье — ничему из вышеперечисленного не дано пережить тебя. Ох, чуть не забыл — богатство, которое, кстати, может и пережить нас, только радости от него кончаются вместе с нашими силами. Да и вообще разве утехи и радости, доставляемые богатством, могут быть хотя бы сравниваемы с радостями, доставляемыми нам нашими силами, здоровьем, красотой, талантом, любовью? Говорят, доставляет еще какую-то животную радость чревоугодие, попросту, обжорство. Но разве все это радости?

Не знаю, кому какие радости кажутся слаще, надежнее, вернее, долговременнее, — по моему разумению, самое надежное — это дети. Тут тебе и продолжение твое, надежда на вечность, неиссякаемость твою, и вечная радость: ведь радоваться успехам и радостям детей мы можем в полном одряхлении, бессилии и недееспособности, — эти радости навсегда с нами, навек. И переживут нас!

Но чтобы дети надежнее и вернее стали радостью, а не вечным горем и болью, — ими надо заниматься. Их надо воспитывать, elever, как говорят французы, что значит «растить», «созидать», «возводить», «воспитывать», словом, «поднимать» (ну и еще «домашних животных разводить» — тоже у них elever…). Речь идет, конечно же, о нормальных, здоровых детях; больные дети — не дай и не приведи, Господи… Но ведь мы-то умудряемся создавать себе вечные страдания и каторгу — распуская, не воспитывая, уродуя нормальных, здоровых детей! Делая из них черствых, агрессивных, остервенелых Эгоистов, себялюбцев, не желающих замечать ничего и никого вокруг себя, привыкших (приученных нами! родителями) с младых ногтей думать и заботиться только о себе, о своих удовольствиях, чьих бы средств, покоя, здоровья, а то и самой жизни это ни стоило… И, конечно же, не своих (средств-то), не за свой счет, ибо добывать, создавать средства и условия для удовольствий — это ведь труд, а они привыкли у нас только кайфовать, только наслаждаться, только потреблять! (К чему — к потреблению, не к созиданию — усиленно толкает и приглашает наша новая рыночная политика и идеология…).

Короче, мое скромное, но твердое, не побоюсь сказать, непоколебимое убеждение, что счастье и надежность — только в детях. Причем в детях — воспитанных! Не знаю, как кого, но самого себя, по крайней мере, я убедил в этом однозначно и безоговорочно. Вопрос — как их воспитывать? В общем-то все это давным-давно известно: Монтень в XVI веке (когда в России еще Иоанн IV Грозный правил!), следуя Платону (а это: V–IV вв. до н. э.), советовал воспитывать «не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое… нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней». Но поскольку никакой статье, даже самой проницательной и гениальной, не дано добраться до «тела», это уже дело практического воспитания, — стало быть нам остается заниматься только «душой», только поразмышлять, только порассуждать…

Уже не помню, вычитал ли я где, или сам вымучил в своих

давным-давнишних поисках и раздумьях на эту тему, что ведь художественная культура — а литература в первую голову! — это та же религия, та же идеология, тот же символ веры, только — со свободным выбором. Старые религии не очень-то давали свободу «выбирать». Там все четко было. А если я, к примеру, будучи рожден правоверным христианином, вдруг возлюбил бы… Падшего Ангела (т. е. Денницу, Люцифера, Сатану…), проникся к нему симпатией… да еще, не дай Бог, и воспел его где, да вслух!.. — за это ведь в свое время недолго было и на костер угодить у праведных, Богу верных, Бога чтящих и боголюбивых слуг божьих. Свято чтивших заповедь Христову: «Не убий!» — они же не убивали, капли крови твоей не проливали, волоса на твоей голове не трогали! Ну, привязывали… ну, поджигали… Был бы праведником — мог бы и не сгореть… Не допустил бы Господь! А раз допустил — стало быть, какой же ты праведник?.. И Господь допускал… И Жанну д'Арк спалить допустил, и Яна Гуса, и Томаса Мора, и Джордано Бруно, и Мигеля Сервета, и еще бо-ольшую армию других, не самых вредных для Земли, для Человечества людей…

Ну а с приверженностью к тому или иному литературному герою у нас (у человечества) вроде все-таки посвободнее было. Я, во всяком случае, не слыхал, чтоб, если кто-то предпочел Остапа Бендера Павке Корчагину, его за это тут же на дыбу возводили или на костер. Люби — кого хочешь, молись — кому угодно. Хочешь, боготвори Андрея Болконского, а можешь Рахметова… А то и Митю Карамазова или Парфена Рогожина….

И тут, в поисках опоры для своих раздумий и рассуждений, к чему приходится обращаться? Только к опыту. Причем в основном — к своему, ибо опыт других — он тебе и не столь всеохватно известен, как собственный, и не столь ощутимо, пронизывающе тобой прочувствован.

Почему я благодарен своему времени взросления и образования? А я ему благодарен. Многие не благодарны. Порицают. Если не «костерят»!.. И время, и школу. И порицали. И не только глупые, вон тот же Монтень: «…выйдя из школы… и окончив… курс наук… я… не вынес оттуда ничего…» А уж сегодня-то… почти все, поголовно… Исключение — один Пушкин: «Чему, чему свидетели мы были!», «Наставникам, хранившим юность нашу… не помня зла, за благо воздадим!»…

Ну и я вот благодарен. И школе, и наставникам (не всем, естественно), и времени! Интересное было время. Всякое.

Время моего взросления… Осознания себя в мире и осмысления мира вокруг тебя. Происходящего в тот момент и происходившего когда-то. В недавнем, ближайшем и отдаленном

прошлом. Т. е. время прикосновения к Истории. К Истории Твоего Народа. К Истории не как к отвлеченной науке, а к Истории Моей Страны, Моего Народа. Истории, не поняв, не вникнув в которую, мне самому невозможно дальше ни жить, ни развиваться, ни двигаться куда-то… Время осознания и ощущения нашей Истории как неотъемлемой части самого себя, меня! Моей души, моей сути, моей личности.

В 1954 году я закончил 10 классов в родном Новосибирске и, поступив учиться «на артиста» в Москве, в театральное училище им. Б.В. Щукина при театре им. Евг. Вахтангова, с некоторыми приключениями и осложнениями закончил его в 1960 году. А немножко что-то соображать… Какое-то… ну, не понимание еще, конечно, но хотя бы осмысление, только-только просыпающееся и начинающееся, самого себя и всего, что вокруг тебя, вблизи и подальше, во времени и пространстве, попытка осмысления, потребность осмысления — все это начинало пробуждаться в 8–9-м классах, стало быть, по календарю тютелька в тютельку — 50-е годы. 50-е годы!.. Начало их вытекает еще из последней, может быть самой жуткой по бессмысленности, по идиотизму волны сталинских репрессий, потом смерть Сталина, потом крах Берии и первый могучий удар по, казалось, уже навечно бесконтрольному всесилью КГБ, потом XX и XXII съезды с первыми разоблачениями, еще робкими, ничего не объяснившими (оно и до се, по-моему, толком еще не объяснено… только — треск, только — эмоции), но всколыхнувшими! раскрывшими… да нет, не раскрывшими, но давшими возможность пусть не раскрыть еще как следует, но хотя бы приоткрыть наконец глаза, пробудившими умы и души!.. Очень непростыми были 50-е… А какие были простыми?..

А в моем родном новосибирском «Красном Факеле» — в те же самые 50-е — ренессанс. Почему? Вроде непонятно. Нелогично. Но — ренессанс! Чеховская «Чайка»! Изумившая, восхитившая и покорившая Москву во время гастролей 1953 года. И «Зыковы» Горького! (Это, правда, еще из 1943 года спектакль, но я-то его увидел в 50-е.) А позднее — «Сирано де Бержерак» Ростана, «Бесприданница» Островского, «Село Степанчиково» Достоевского, «Живой труп» Толстого! А до того: «Вей, ветерок!» Яниса Райниса, «Песнь о черноморцах» Б. Лавренева, «Свадьба с приданым» Дьяконова, «Женихи» Токаева. А сколько еще не назвал! Классика. Мировая и отечественная. И национальная. И современная. Рискую не попасть в общую струю — сейчас ведь принято костерить, мешать с помоями, с грязью, изничтожать все, что у нас было между 1917 и 1985 годами, — но я люблю время моей молодости. Больше того, мне даже неловко перед

современной молодежью за то, какими мы в их возрасте были счастливыми… Что поделаешь — неловко.

По сусекам дневников и записных книжек

10 января 93 г. Москва. (Читая «Былое и думы» А.И. Герцена, хотя Герцен у нас тоже получается одним из «врагов» нынешних «реформ», «перестройки» и, особенно, «переосмысления».) Странная вещь, что почти все наши грезы (Герцен имеет в виду юношеские их с Огаревым «грезы» в 14–15 лет, в возрасте «теоретического знания и практического невежества») оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?». «Былое и думы».

А это не счастье наше неохватное, не благодарность наша величайшая судьбе, коммунизму (идее, а не партноменклатуре), Советской власти, что наши грезы юношеские (моего поколения) оканчивались только торжеством! И ничем другим не могли оканчиваться! Это — не счастье? Не благодеяние для развивающегося, входящего в жизнь индивидуума? «Эх вы-и…» Отрицатели. «Ошибконазыватели» нашей семидесятилетней истории… Темнота вы. И пошляки. Недоумки. «Мышление, выбор не даны вам природой…» Чужого голоса перепеватели. Чужих пошлостей. Если не пакостей…

К вопросу о пользе гласности для юности… Не брехливая и ничем не сдерживаемая гласность нужна юности, а разумная ясность.

Хорошее было время… Голодное, холодное, бесштанное, но… замечательное! Давно утих, улегся оголтелый разгул свободы 20-х годов, когда «освободившиеся» ото всего (и от совести и разума в том числе) наглые и нахальные псевдоинтеллектуалы и авангардисты «сбрасывали Пушкина с корабли современности», «Рафаэля с Растрелли расстреливали». В школьные программы давно и прочно вернулась классика. Не вся еще, но вернулась! И не только в школьные программы. В театрах страны ставилась не «чернуха», не абсурд, не порнография с защитой свободы интересов «сексуальных меньшинств» (гомосеков, зоофилов, некрофилов и тому подобных искателей радостей), а классика. Ну, были, конечно, и «Незабываемый 1919-й» с холуйскими панегириками «вождю всех времен и народов», и неискоренимый Корнейчук со своими антихудожественными иллюстрациями к передовицам того времени, но были (и на сценах, и на экранах в виде фильмов-спектаклей) и Шекспир, и Эдмон Ростан, и

Шеридан, и Лопе де Вега, и Гольдони. А наши? И «Недоросль», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Маскарад», и Островский, и Сухово-Кобылин, и Чехов, и Горький…

Когда-то, в бытность мою еще студентом Щукинского училища, мне запала случайно в память вскользь оброненная, не впрямую, фраза нашего дивного, восхитительного Бориса Николаевича Симолина, читавшего нам историю изобразительных искусств и историю костюма (а истории развития музыкальной культуры — не было! Ну по-че-му, в театральном-то ВУЗе?.. По-моему, и до сей поры нет. Как можно воспитывать — и выпускать! — актера, режиссера без знания истории музыки?..) А фраза, оброненная Симолиным, была о том, что, в общем-то, государственность и художественная культура никогда не развивались в прямо-пропорциональной зависимости: мол, чем сильнее государственность, тем пышнее цветет культура, — нет! Всегда наоборот. В обратно-пропорциональной зависимости: чем сильнее и надежнее расцветает государство, тем более слабеет, хиреет культура, искусство. И наоборот: чем хуже идут дела у государства, тем ярче, пышнее, свободнее вспыхивают достижения культуры. (Правда, сегодняшний момент, кажется, являет собой исключение из этого правила: сегодня, вроде и государство не очень пышно цветет, и культура… как-то незаметно, чтобы торопилась со своими достижениями, воспользовавшись этими временными послаблениями в поступательном движении нашего государства.)

Такого, конечно, как обязательного к усвоению студентами, преподаваемо быть не могло в наше время — середина 50-х! — да и сегодня вряд ли… (стало быть, чем сильнее мы укрепляем наше государство, тем вернее губим культуру? А чтобы поднять культуру — надо распустить или разогнать государство?)… Но поскольку мысль эта не казалась нашему Борису Николаевичу абсолютно пустой и никчемной, то не высказать ее, не обронить, хотя бы вскользь, — он не мог. А что нами лучше и вернее усваивается: ежедневно занудно вдалбливаемое или оброненное вскользь? Только бы заметить, услышать, обратить внимание, не прохлопать ушами, не пронестись в привычной душевной конфронтации ко всему занудно-вдалбливаемому, — не пронестись своим вниманием мимо этого случайно оброненного.

Мне кажется, наша государственность после войны и до самой смерти Сталина чувствовала себя совсем неплохо, а в искусстве, особенно самом массовом, зрелищном, зрительском, театре и кино, пышным цветом цвел Корнейчук и иже с ним, не столь громкие и заметные, как он, но нисколько не менее вредные и противные (ну, может, вредные — менее, поскольку вот

с ходу не приходят на память, слава Богу, забылись, а Корнейчук крепко засел в мозгах). И — в то же время! — советские экран и сцена прямо-таки «кишели» классикой! Русской, советской, мировой, национальной! И американская киноклассика «Золотого века» их кинематографа как раз добралась до нас «в качестве трофея» из отбитой у Гитлера Европы. И французы с англичанами. А тут и итальянский неореализм подоспел. И опять же — свобода выбора была: кто наслаждался Кочетовым, Бабаевским, «Белой березой» Бубеннова и «Алитетом, уходящим в горы» Семушкина, а кто с жадностью, восторгом и вседушевным приятием ловил проблески интеллигентности в пьесах Симонова («Так и будет!»), Погодина («Сонет Петрарки», «Маленькая студентка»), Крона («Второе дыхание»), в прозе Виктора Некрасова (я говорю только о 50-х годах и о том, что было разрешено, было доступно всем).

И ведь не бесплодными оказались 50-е (как время взросления и осмысления себя в мире и мира вокруг себя для моего поколения). Мое поколение дало, на мой взгляд, абсолютно бесспорные ценности в области духа: тут и Распутин с Вампиловым, однокурсники Иркутского университета в 50-е годы; и Шукшин с Тарковским, однокурсники ВГИКа (мастерская М.И. Ромма) в то же время; да и еще, поди, найдутся…

(Была, была у нас свобода выбора. Была! И Достоевский не был сожжен, как (судя, правда, только по кинохронике) в Германии фашисты сжигали Маркса, Гегеля, Гете и прочую гордость немецкого народа. Не переиздавался Достоевский в то время — это было, но в библиотеке и у букинистов был вполне доступен. И Бунин был доступен, и Есенин. В школе их не очень «проходили», но называть — называли. А тут, к концу 50-х, пошли один за другим Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон, уж в публикациях и переизданиях, не только то, что уцелело от изданного в 30-е годы. Да, кстати, к концу 50-х и Достоевского начали переиздавать, и прочих. Кто хотел — вполне мог читать. Но всегда ведь приятней вину за собственную лень, нерадивость, бездеятельность свалить на «притеснения», на условия, обвинить кого-то, но только не себя…

А может, вот это и нужно для преподавания литературы в школе? Свобода выбора? А? Не определенно-директивное: Онегин хоть и «лишний», но с декабристами якшался, сам чуть не стал декабристом (в уничтоженной 10-й главе) — значит, почти что положительный (полностью положительных до Революции вообще быть не могло); Ленский — «носил бы стеганый халат» да еще и возможному декабристу противостоял — чуть ли не в отрицательные его! Сатин в «На дне» — уж чего в нем

положительного? Шулер, забулдыга, босяк, но у него: «правда — Бог свободного человека» — стал быть, положительный. А Лука — утешитель, не борец, да еще в Бога верует — куда ж его? К тому ж положительный полюс у нас уже занят Сатиным — в отрицательные Луку-Иуду… Вот если бы не это! Не куда учителя укажут, а то и сам основоположник самого соцреализма, лет через 30 после написания своей, в свое время прогремевшей и покорившей мир гениальной пьесы… А почему бы тогда не следовать заветам Льва Толстого, который к старости, по-моему, отрекался ото всех своих художественных произведений как от выдуманных и неправдивых? Давайте последуем этим заветам классика и не будем Толстого вообще читать, не то что в школе «проходить»… Вот если бы не это! Не определенное. Не директивное. Не «или-или», а свобода?

Была, была у нас свобода. Пусть не разумно предоставленная, мудро и предусмотрительно дозированная, пусть случайная, разгильдяйская, но — была! Я вон, например, позволял себе в 1953–54 учебном году, заканчивая 10-й класс, когда «оттепель» еще и не начиналась (я имею в виду: у нас, в Сибири), только-только Сталина похоронили да Берию «разоблачили» — в общем до «плюрализма» было еще далеко, — а я как-то позволял себе не ненавидеть «утешителя» Луку в «На дне» Горького (чуть не написал: «Нижнего Новгорода»…) и кулака Якова Лукича Островнова в «Поднятой целине» Шолохова. Вроде, велено было их ненавидеть и осуждать, а я вот не ненавидел и не осуждал. Целиком не осуждал. Нет, конечно, сцена убийства Хопрова, на которое Яков Лукич вынудил Половцева, и которое организовал (или помог организовать), а сам и трясся от страху при исполнении, и блевал после, — эта сцена никаких хороших чувств к Якову Лукичу не вызывала. Но вот как он «к агрономам прислушивался» да культурным хозяином стал — ну что ж в этом-то плохого? Погоревать только, что «жизня так повернулась», что вместо развития своих культурно-хозяйственных способностей пришлось Лукичу убийствами и прочей античеловеческой пакостью заниматься.

А Луку из «На дне» и вовсе осуждать вроде не за что было, хотя к этому настойчиво призывал сам «основоположник». Правда, несколько позже призывал, не когда писал, где-то в начале 1900-х годов, а уже ближе к 30-м. Потом, уже взрослым, я узнал, что не я один не доверял позднейшим призывам основоположника. Первый исполнитель и полноправный соавтор Горького в деле создания образа Луки, народный артист СССР Иван Михайлович Москвин, тоже, оказывается, не верил этим позднейшим «осуждениям» Горьким своего Луки, не верил и не

скрывал этого.

«Люблю я эту роль очень, — признается в статье «Мой Лука» И.М.Москвин в декабре 1940 года в связи с выступлением на тысячном спектакле «На дне», — … как мне было горько, когда Алексей Максимович в 1932 году стал отказываться от своего Луки… писал… что такие утешители «утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Утешители этого рода — самые умные, знающие и красноречивые. Они же потому и самые вредоносные. Именно таким утешителем должен был быть Лука… Но я, видимо, не сумел сделать его таким». Вот с последними словами я с Алексеем Максимовичем согласен и прибавлю еще от себя, что когда он писал Луку, то он не то что не сумел сделать его вредоносным утешителем, но и не хотел. Иначе, чем объяснить то его огромное волнение во время чтения «На дне» у нас в театре, когда в сцене Луки с умирающей Анной он остановился в середине монолога Луки от мешавших ему слез и, вытирая смущенно глаза, сказал: «Здорово написано…»

И это мое «инакомыслие» было какое-то спокойное (И.М.Москвин тоже вроде никак не поплатился за свое несогласие с «основоположником»), И я — мыслил себе «инако» и мыслил. Можно было. Никто не грозил мне ни Голгофой, ни эшафотом, ни даже проработкой на комсомольском собрании. Никто не убивал меня, не распинал и даже не порывался. (Судя по «нонешней» прессе, это в наше время никак не допускалось!). Допускалось. Никаких ни эксцессов, ни притеснений, ни «репрессий». Все было тихо. Должен сознаться, Яков Лукич и Лука не завладели целиком моей душой, как в свое время — каждый в свое — д'Артаньян с компанией, Лопухов, Кирсанов и Рахметов, Павка Корчагин, Печорин, Кола Брюньон, Григорий Мелехов и пр. Лука и Яков Лукич нравились мне не целиком и безоговорочно, а… местами. Не было могучего внутреннего позыва, потребности бросаться в бой за них, отстаивать, защищать. Да в общем-то никто на них (на Луку с Лукичем) особенно оголтело и не нападал.

А вот в 1960-м году в шкоде-студии МХАТ я видел дипломный спектакль «На дне», где Лука был специально (режиссерски, постановочно) дискредитирован, смешан с грязью, раздавлен (морально), как таракан, и уничтожен в полном соответствии с позднейшими заветами автора и «основоположника». В 3-м действии, после того, как Василиса обварила Наталью, а Пепел убил Костылева, в дополнение к ремаркам Горького (у Горького 3-е действие кончается общей суматохой, скандалом, а в 4-м только выясняется, что во время

этой суматохи Лука куда-то исчез), — в студенческом спектакле, по опустевшей после суматохи сцене долго и непривлекательно мечется Лука, чтобы зритель успел сообразить, какой он нехороший, несмотря на все свои сладкие речи, эгоист и себялюб. Тут трагедия, а он трясется за себя (раз тут убийство — значит, будет полиция, проверка документов, а у него их нет, надо спасать свою шкуру), а прикидывался таким проникновенным христианским альтруистом, страдальцем за всех, помощником, утешителем, спасателем всех и вся.

«Завет» был исполнен, «утешитель» Лука заклеймен. Но все ведь видно было! Все можно было уже разделить: вот на потребу моменту…даже не моменту, а недалекому «направлению ума» начальства на тот момент, — вот холуйская, рабски исполнительная, профессиональная режиссура: раз «ложь — религия рабов и хозяев» — значит, это плохо, значит, и носитель этой философии мелкий обманщик и пакостник, лишь бы запудрить всем мозги своей якобы добротой, а запудрив и охмурив всех, — и пользоваться этим, нагреть на этом руки. (Хотя чего уж там шибко жирно «нагревал» для себя Лука? Ну, переночевать пустят, хоть в грязи, да в тепле, не под открытым небом… Горький, видимо, забыл к 1932 году, что в пьесе он сам возражает своим позднейшим «заветам» устами Бубнова про Луку: «Много он врет и без всякой пользы для себя».)

А ведь это замечательный пример четкой работы примитивной «командно-административной», а точнее — холуйской философии, которая свято убеждена была, что народ — быдло, что мы — страна безнадежных идиотов, которым все надо разжевывать и в рот класть, сами мы никогда в жизни не разберемся, не поймем, что такое хорошо, а что такое плохо. И сам Горький к 30-ым годам своими «заветами» погрешил в пользу этой философии… А кто у нас без греха??!

А в 1900-е годы молодой и «анафемски» талантливый Горький писал, создавал свою великую (а может, гениальнейшую и величайшую!) пьесу не для баранов, не для идиотов — для умных. Для образованных. Для просвещенных.

Для свободного человека, человека с истинно свободным выбором — пожалуйста: вот Лука, очень добрый, очень хороший, милосердный, замечательный (кому какое дело: с паспортом или без? Пьеса для людей писалась, для Человека. Не для могучей армии позднейших, добровольно «обездушевших», добровольно доведших свои мозги до полной атрофии, ампутировавших самим себе души и мозги за полной их ненадобностью и даже какой-то досадной, мешающей «подногамиболтающестью»…). Пьеса писалась когда-то для нормальных, живых еще, разумных, sapiens,

которые могут понять и разделить: вот это — Лука, а вот это — его философия. И сам по себе, как человек, он может быть очень милым, славным и симпатичным, но философия его, утешительство, ложь его, пусть святая, во спасение, но — ложь, это — для слабых, для маленьких. Сладкая ложь во спасение — она не надолго, не навсегда. Правда — страшней, жестче, а то и жесточе, но надежнее. Она не рухнет, как ложь. Закалил себя, взрастил в себе силы, способные выдержать горькую и страшную правду — зачем тебе сладкая недолговечная ложь? Ложь — религия рабов и хозяев, правда — вот Бог свободного человека! Сатин не такой благостный и удобный в общежитии, как Лука (хотя тоже немаловажно, как его характеризует тот же Бубнов: «Ты, Киньстеньтин, никого не обидел»)! Чисто по-человечески Лука гораздо милей и привлекательней Сатина, но философия, мне лично, дороже и предпочтительнее сатинская: «Правда — вот Бог свободного человека!» Не нужна мне ложь — религия рабов и хозяев.

Зачем в школе, по позднейшим и не самым праведным заветам Горького, вколачивают в юные мозги, что Лука и его философия — это плохо, отвратительно? Зачем наталкивать Человека, навязывать ему, Человеку, какие-то мысли и выводы? Почему не довериться Человеку? Не поверить в него? Как доверялся ему и верил в него на заре века молодой Горький?

Зачем по поводу Ленского в «Евгении Онегине» вдалбливается только половина гениальной пушкинской антитезы:

Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рожден:
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:

В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел.
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Зачем, почему нам вдалбливали только то, что Ленский «носил бы стеганый халат», «пил, ел, скучал, толстел, хирел», когда у Пушкина с той же долей вероятности, только в первую очередь, было предположено, что Ленский мог быть рожден «для блага мира»?..

А может, я зря «копья ломаю»? Я ведь сталкивался с преподаванием литературы в школе очень давно, в конце 40-х — начале 50-х. А сейчас… Может, там давным-давно, в школе-то, все совсем не так? Может, там давно уже никто никому ничего не вдалбливает?.. Никто никому ничего не навязывает…

Иду я сегодня, 14 декабря, и радуюсь: наконец-то над Москвой, которая до середины декабря простояла черная какая-то… нет, не слякотная, не противная, но какая-то… не русская. Среднеевропейская какая-то… И даже не декабрьская среднеевропейская, а скорее октябрьская. И вот! Наконец-то: «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе…» «В полдень дождь перестал, и, что белый пушок, на осеннюю грязь начал падать снежок…» «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях»… «…только крыши, снег и, кроме крыш и снега, — никого…»

Господи! Да сколько же их у нас! Да каких!! Это только первое, что наугад посыпалось… А сколько еще! Если порыться в памяти, на книжной полке!.. И подумалось опять о преподавании: а что, если не настырно: «Зима, крестьянин» — и только! И — всем наизусть! Как штык! Как один!.. А если на выбор? Хочешь — Пушкина, а хочешь — Пастернака, Бунина, Заболоцкого, Блока, Есенина… и опять — как снега!.. Всех не перечислишь…

Когда-то Пушкин не выказывал больших восторгов по поводу того, как у нас было поставлено образование: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»… Это в его-то время — «понемногу», «чему-нибудь и как-нибудь»!.. Не видал он нашего…

(времени). И тем не менее слова «интеллигент», «интеллигенция» в обиходе у нас имеются… Что-то мы ими обозначаем, называем… Я знавал (и не одного!) работников «интеллектуального» труда, вполне достойных — конечно, по меркам нашего времени — этого определения, да еще и творческих работников, художников, которых передергивала судорога отвращения при упоминании имени… Пушкина. И я не могу их винить! Это не вина их, это — беда. Я им только соболезную! Они — несчастные жертвы нашей системы воспитания и образования. Лично меня моя школа так Пушкиным не запугала, но любовь-то к нему, всеохватную, всепронизывающую, не остывающую («Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..» — а мое сердце как не малюсенькая частичка того самого, тютчевского, «сердца России»?), заронила, возбудила во мне, воспламенила и разожгла не школа.

Был у нас, опять же в Щукинском (и не только у нас, и в школе-студии МХАТа читал он, и, кажется, в ГИТИСе, а может, и еще где) замечательный лектор по зарубежной литературе Александр Сергеевич Поль. Эрудированнейший, остроумнейший, очаровательнейший Александр Сергеевич Поль. И читал он нам свою «зарубежную литературу». И что бы он нам ни читал: древних ли греков, римлян, средневековый ли роман, вагантов и миннезингеров, Ренессанс в Италии, Франции, Испании, Англии или английский роман XVIII века, — не было, по-моему, лекции и темы, в которой он не помянул бы, не вставил, не зацепил бы Пушкина. Еще Петрарка 600 с небольшим лет назад очень точно подметил, что «всякое учение… гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником». (Тоже ответ на вопрос, как преподавать литературу в школе: любимые слушателями наставники очень не помешали бы в этом деле…) Ну а у нас, поскольку наш Александр Сергеевич (Поль) был всеми нами, студентами, и мной в том числе, горячо и нежно любим, — вот я и призадумался: уж если такой бесспорный для нас тогда и истинный авторитет, как А.С.Поль, шагу не может ступить без Пушкина, стало быть, тут что-то неспроста!.. А уж дальше само пошло-поехало: заново раскрывались (и открывались мне, как в первый раз!) и «Евгений Онегин», и «Капитанская дочка», и «Борис Годунов», и критические статьи, и исторические заметки, и письма, и лирика — и везде блеск ума, слова, чувства, искренности, остроумия! И еще не всего я прочел его — стало быть, впереди сколько радости! До конца жизни не исчерпать! Мне по крайней мере…

А вот обременять нежные отроческие мозги «Евгением Онегиным» (не знаю, как сейчас, а мы-то «проходили» «Онегина»

в 8-м классе, т. е. в 14–15 лет. Ну куда же? Что там можно понять в 14 лет?)… И чем больше вдалбливать — тем большую идиосинкразию вызывать и к Пушкину, и ко всей литературе вообще. То же самое по поводу «Войны и мира», по поводу Достоевского… Ну, разве что «Бедные люди»? Да и «Севастопольских рассказов» в школьной программе я что-то не помню…

Мой дед, из крестьян Пензенской губернии, бывший на год моложе Сталина, т. е. родившийся в 1880 году, закончил до революции, даже до всех еще наших революций, еще в XIX веке церковно-приходскую школу (считай, начальное образование, наших примерно 4 класса) и железнодорожное училище на помощника машиниста (считай, наше ПТУ). И на экзамене по русскому и литературе (не то поступая в училище, не то уже учась, за какой-нибудь курс) — писал о Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче. Стало быть, в программе были «Старосветские помещики», а у нас их даже не поминали. А чему они учат… Тьфу, слово приевшееся, осточертевшее… И неточное! «Учат»… Не «учат», научить никого ничему невозможно. Учится человек сам. Если захочет. А не захочет… Так о чем они, «Помещики»? На что они настойчиво и неотвратимо обращают наше внимание? К чему они, к какой мысли, теме могуче и властно приковывают наши души? Да к милосердию же! А чего в наших душах сегодня такой невосполнимый дефицит? Да его же, милосердия! А сколько же его умной щедрой рукой, сердцем разлито по нашей классике?! Неиссякающие родники! Животворные. Изобильные. Черпай — не хочу… Не хотим. Из программ убираем. Не возвращаем в них, в программы… Почему??? Почему в школьной программе нет П.П. Бажова? Почему о Б.В. Шергине у нас вообще единицы слыхали, даже среди интеллигенции? О них человек со школы должен знать! Там и юмор, и язык, и нравственность, и милосердие, и мудрость…

Как преподавать литературу… Наверно, не долдонить, не вколачивать такие «мысли», чтоб получалось, как в когда-то известной песенке:

> Раскольников попал в тюрьму,
> Базаров — сложная натура[8],
> Герасим утопил Муму —
> Вот вам и вся литература…

Наверно, как-то рассыпать, разворачивать перед юношеством все неохватные богатства, весь калейдоскоп, всю мозаику великой

русской и мировой литературы. В теснейшем взаимодействии с уроками истории. С уроками эстетического воспитания, музыки. Как воспринимать пушкинских «Бориса Годунова» или «Капитанскую дочку» без знания истории? И какое же знание истории «смутного времени» или «пугачевщины» без Пушкина? Какое знание междоусобиц предтатарского периода русской истории без «Слова о полку Игореве» и какое знание «Слова» без знания истории того периода? А Бородин с Мусоргским разве при этом помешают?

А чего бы и кино давно не взять на вооружение?! Тьфу, опять: «вооружение»… Въелись термины. Не на «вооружение», на службу, на помощь. «Александр Невский» эйзенштейновский — разве не помощь, не подспорье в изучении истории XIII века? По личному своему опыту могу сказать: начало XVII века во Франции, наверно, не самое славное и судьбоносное время во французской истории, но мое лично внимание навсегда приковано к истории Франции именно этого периода, и виной тому — искрометные, неувядающие, вечные, животворные «Три мушкетера» А.Дюма-отца. А сколько блестящих исторических фильмов сняли в свое время американцы! Даже не столько строго «исторических», сколь по-дюмовски, по-мушкетерски заразительных, неотразимо притягательных, завлекательных, которые властно притягивают твое внимание, не отпускают его, заставляют лезть в эту историю, копаться, ковыряться в ней. И какие-нибудь «300 спартанцев» (только старый, не новая антимусульманская агитка…), и «Королевские пираты» с божественным Эрролом Флинном, и «Мария Антуанетта», и… и… и… Почему это все не привлекать? Почему этим всем не завлекать? Не слепо. Разбираясь. Разбирая: где история, где правда, где выдумка, где «завлекалочка», а где идеология снимавших в свое время и в своем месте?

Я как-то с ходу не припомню, чтобы в какой-то области художественного творчества какой-нибудь великий мастер одновременно был бы и великим учителем. Чаще как-то тоже: или — или. Или мастер, или учитель. Или Репин, или Чистяков. А может, тут тоже какая-нибудь закономерность? Может, в мастере должно, обязано превалировать индивидуальное, личностное, пристрастное?! Как вон, скажем, во Врубеле или в Тарковском. А учитель должен без особых углублений в одних, погружений в них и восторгов перед ними, и без резких, часто чисто вкусовых неприятий других, — учитель, наверно, должен рассыпать, развертывать перед учеником, учениками беспристрастно (!) все богатство, все разнообразие того, что имеется в данной, освещаемой им, учителем, области на сегодняшний день. А уж

ученик пусть свободнень-ко выбирает сам. Что его душе ближе, соответственнее, понятнее, приемлемей.

Со свободой расквохтался… Свобода хороша не всякая, не абсолютная. Дай-ка, вон, полную свободу ребенку — он и дом спалит, и себя угробит. Свобода хороша разумная, про-све-щен-на-я. Как вон Е.Р.Дашкова говаривала: «Свобода без просвещения породила бы только анархию и беспорядок». Что мы сегодня и имеем, в полном соответствии с предсказаниями Первого Президента Российской Академии Наук?..

В общем-то… Все наши российские страдальцы и великомученики, гордость наша и опора, чьими заботами и стараниями мы до сих пор еще живы и образ человеческий не напрочь еще потеряли (хотя уже близки к тому…), — все они, любя Россию, жизнь и силы ей до конца, до капли отдавая, все свои силы недюжинные несли на алтарь просвещения российского. И уж какие титаны были! Какие богатыри! Ильи Муромцы!! И Сергий Радонежский с Андреем Рублевым. И Михайло Ломоносов. И Пушкин со всем своим феерическим XIX веком. Да и Ленин…, хотя его сегодня наша «легкоязычная и празднословная Русь» (как когда-то ее величал Б.В.Савинков, не всю Русь, часть ее, а вот эту самую, легкоязычную и празднословную), записала у нас уже эта «Русь» «с легкостью необыкновенной» Владимира Ульянова в «главные преступники XX века»… А этот «преступник» объяснял когда-то, на какие «преступления» он зовет и какие ему для этого нужны «сообщники»: «стать коммунистом можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые накопило человечество»… И правительство российское при нем, говорят, чуть ли не первый и последний раз в истории, было самым интеллигентным в Европе! (потом быстренько вернулись «на круги своя»). Ну как же не преступник? Россию-то!.. К этакому звать?! И невзирая на все призывы и труды титанические титанов наших, мы непоколебимы и несокрушимы в нашей темноте и бескультурье…

Как вот тут литературу преподавать… Кабы я знал… Не скрыл бы…

Из записных книжек

Февраль 1955 г. Акмолинская область (Северный Казахстан), станция Колутон, Мостопоезд 453.

Нету хозяина. Люди только теряют время, приходя на работу: ни работы, ни отдыха, ни заработка. Отнимают еще время труда

и отдыха собрания. Формализм голый, чепуха. С народом разговаривать не умеют, не умеют слушать людей. Умеют «выбирать президиум», «вести протокол», «принимать данное решение за основу» и голосовать: «Как? За каждого в отдельности или в целом?» — «Б це-елом!» (чтоб скорей эта волынка кончилась) … Присутствующие избираемые обязательно дают себе «самоотвод» (никак это слово-то не могут правильно выговорить): «Там по вечерам заседают, а у меня вечерами с желудком плохо бывает, не могу!» — «Там днем заседают». — «Ну все равно не могу… По состоянию здоровья… Са… это… самоотвод у меня…» Собрание дружно соглашается дать «самоотвод» товарищу…

А люди — славные. Русские, рабочие, веселые, все время скулят над кем-нибудь…

23 марта 55… (ст. Мариновка) мост 640 км с 15 февраля. Идеал нашел себе: Ивана Соловья! (бригадир у меня был Ваня Соловьев) Русский мужик! Дело свое знает! И здорово. Да и больше, чем здорово. Веселый!! Драться — «не любит»… но и его не тронь! Не боится ни хрена. Смеется!! Вот и мне бы туда же… За ним… За «Максимом» — Б.Чирковым, за крючковскими «Климом Ярко» и «Парнем из нашего города»… Вот куда!..

Еду сегодня в Мариновку, в клуб. В бильярд играть, на девок смотреть… Одно мешает: сам себе не верю… На подлость ради удовлетворения физиологических потребностей не полезу. Это не «бляди», как их объединительно именуют мужики, не проститутки. Простые люди, без «идеологии», подчиняются своим нормальным биологическим инстинктам, за деньги их не купишь. Их можно обмануть… и быстро, легко обмануть лаской, благодаря их простоте. А это уже будет подлость… и кроме того, это повлечет за собой вагон всяких последствий, которые будут не столько страшны, сколь паскудны…

…Вспомнились мне тут почему-то Василиса и Васька Пепел из «На дне» Горького… Кто из них, мужиков и баб, больше виноват в таких историях? Пожалуй, мужики… Но ненамного: они сильней от века, независимей, а потому подлей немного…

Глазки серы, глазки серы,
Глазки сероватые…
Ты завлек, а я любила —
Оба виноватые…

Да и при чем тут «вина» чья-то? И тех, и других — тянет. Счастье или несчастье того или другого зависит от того, насколько ты сам (или сама) человек. Хоть и без «идеологии», но настоящий, цельный. И с кем ты сошелся, с кем судьба тебя свела-

столкнула: с человеком ли, или с бугаем-осеменителем, Жрецом (или Жрицей) любви и прочих плотоядных удовольствий, с сукой ли подлой и дешевой… или с такой «идеологически подкованной» кукушкой, как я… А отсюда и моя история начинается, да чем-то кончится… Может, и ножом под ребра… если хвостом не завиляю да не поползу в сторону в самом интересном месте этой истории… (А народ вербованный — ве-е-се-олый в Казахстане был: кто отсидев, «отбыв срок», вернувшись из мест «не столь отдаленных»; кто зарезав кого-то на родине и спасшись от тюрьмы вербовкой…) Ну да хрен с ним со всем!.. Одного боюсь: как вдруг полюбит меня, урода, а я опять, как кукушка, хвостиком помахаю да и улечу…

25 марта 55… Оптимизм на меня снизошел в этом Казахстане, в Мостопоезде! (?) Люди здесь — веселые! Это очень много значит. Вербованные, переселенцы, «путешественники», искатели приключений! Может, у оседлых грустнее жизнь? Не забыть. Проверить…

Из записок от зрителей

«Скажите, пожалуйста, Вы родились не в деревне? Если нет, то откуда Вы знаете так хорошо деревенскую жизнь?»

«Как Вам ваша роль в фильме «Давай поженимся»? В начале фильма вроде не очень интересный мужчина, а в конце — лучше и не надо! Что-то родное-родное…»

Опять о любви

Я люблю тебя.
Это значит —
Я желаю тебе добра.

Вероника Тушнова

Самая спорная глава

В 1941 году, когда началась война, мне было 4 года и 8 — когда она кончилась. Так мое поколение, — дети войны — мы росли в основном в женском царстве; меня, вон, до семи лет бабка просто в женскую баню с собой водила… И что же это за царство было? Ну, что женщины в войну уберегли нас, детей, т. е. спасли поколение, выкормили и вырастили, и весь тыл на себе вывезли — это известно всем. Забывается часто, не помнится, но в общем-то известно. Но я еще благодарен своим бабушкам и маме… а может, и Революции 1917-го года, моде, введенной ею в первой половине века в среде демократической трудовой интеллигенции: не носить женщинам никаких побрякушек, безделушек, серег, колец, браслетов… Не уподобляться своим первобытным и полудиким предшественницам… а также сорокам, воронам, обезьянам, которые так обожают все яркое, блестящее, сверкающее, привлекающее, развлекающее, завлекающее… Да и никто из женщин вокруг в моем детстве-юности: ни учителя — в школе и мама друга, ни медики — бабка моя и мама другого друга, ни техническая провинциальная интеллигенция — родители, их друзья, однокашники, сослуживцы, ни домохозяйки простые полудеревенские — тоже мамы друзей — никто не сверкал искусственной позолотой. Я помню их лица, глаза — стало быть, их душу.

Прекрасные глаза, и прекрасные души… Быть может, они, мои родные, не принципиально не носили безделушек-побрякушек, может, время было такое, трудное, вкалывать надо было, не до красования, но, возможно, благодаря именно такой среде формирования я отношусь к женщине, как к Человеку. Совсем не такому, как мы, мужики, противоположно не такому… Оттого, может, так неотступно влекущему этой своей противоположностью, загадочностью. А все эти блестки, побрякушки… Мне на месте женщин было бы крайне обидно: обладать такими феноменальными, сказочно-чудесными

качествами и достоинствами, а привлекать к себе внимание, обрамлять себя такой дешевкой и мишурой. Как если бы картину позднего Рембрандта, как бы излучающую из себя тепло и свет, заключить в какую-нибудь яркую, нескромно кричащую, базарную, аляповатую раму. Записалась у меня когда-то, 23 мая 1977 г., в записную книжку вот такая мысль из романа Ирвинга Стоуна о Микеланджело «Муки и радости»: «А она, откинув голову, засмеялась… Вслед за ней засмеялся и он, и голос его, проникая в звуки ее голоса и сливаясь с ним, словно бы притрагивался с лаской к волшебной его плоти и сущности. И он знал, что это был тоже род обладания необыкновенного, редкостного, прекрасного и святого»…

И дальше моя реакция на эту… мысль? позицию? В общем на ЭТО: «Вот это-то я и ненавижу: обладание. Это ж… эгоизм, индивидуализм, это какая-то непорочная порочность. «Я Вас любил так искренно, так нежно», — вот тут все человеческое! И слова, и чувства, и стремления, и мечты, и желания, а… обладание?., пусть даже такое «редкостное и святое», но все равно обладание — это же… самоудовлетворение какое-то… Я овладел! Я обладаю! Я!!! Это, по-моему, от животного. От зверя, от скотины… От той самой обезьяны, которой подключили электрод к точке «удовольствия» в мозгу и которая, найдя кнопку замыкания, давила на нее до тех пор, пока не сдохла. Дообладалась…

Это не Микеланджело был таким, это Ирвинг Стоун такой. Индивидуалист беспросветный. Стоун нам не указчик. Да здравствует Б.Н. Симолин!»

Борис Николаевич Симолин читал нам когда-то в Щукинском училище «Историю изобразительных искусств» (ИЗО — как у нас сокращенно ее называли) и «Историю костюма». Что он был за человек, я не знаю, не знаю, был ли он коммунистом или сознательным марксистом (поминал вскользь, как вернулся в шинели… не то с Гражданской, не то с Германской, но кто из его сверстников не возвращался с этих войн?..) Но идеологию он исповедовал явно марксистскую, научную, материалистическую. И при этом — не скучную! Не пошлую, подневольную, а живую, блестящую, захватывающе интересную, неотразимо завлекательную! А когда рекомендовал нам литературу к разделу «Искусство доцивилизованного периода» (палеолит, неолит и пр.), к продиктованному не в последнюю очередь «Происхождению семьи, частной собственности и государства» Энгельса опять же вскользь заметил: «Завидую вам — такая вам радость предстоит…» Почему у меня навек в мозгу застряло это его замечание? Почему поразило? До того ни в школе, ни в вузе

на лекциях по марксизму никто никогда радости от общения с классиками марксизма-ленинизма мне не обещал. И не ошибся ведь Борис Николаевич! Была радость! И от общения с Энгельсом, и от общения с Лениным. С Марксом сложнее было — труднее, тяжелее он в мозги укладывался, а тут была радость, причем с каждым своя, одна на другую не похожая! Про Ленина еще Савва Морозов когда-то говаривал, что «это философия политического мордобоя». А лихость и удаль разве не привлекательны для юного сознания? А Энгельс — другой: тихий, нежный, ласковый, но так нежно и ласково отделает, смешает с пылью, дерьмом какого-нибудь Дюринга, что не знаешь, на месте чьего противника хуже было бы оказаться: на месте ли ленинского, подвергнутого «политическому мордобою», или на месте энгельсовского, ласково и нежно изничтоженного, смешанного с землей…

Вот чем был для меня Борис Николаевич Симолин. Никакому Стоуну со всеми его «обладаниями», эгоизмами и индивидуализмами, пусть самыми «редкостными, прекрасными и святыми», не перешибить во мне посеянного Вами, незабвенный Борис Николаевич. Вечная Вам моя восторженная память и Аллилуйя!

И к женщинам…. К Женщине поэтому я отношусь не как к раскрашенной, расцвеченной игрушке, елке, «мочалке», «телке», которой приятно попользоваться, которой престижно обладать, а как к Человеку. Немного не такому… Совсем не такому! Противоположно не такому, но — человеку!

Да нет, конечно же, я не прав… Нынче совсем не то. Мужик ноне пошел дурной, примитивный… А без него, без мужика, каким бы никудышным он ни был, без него бабе все равно — никак. Мужик для бабы — если не как каменная стена, то хотя бы как объект заботы нужен. А этот инстинкт в женщине, инстинкт заботы о ком-то… Без этого инстинкта человечество быстренько вымрет, как динозавры или мамонты. Стало быть, мужик нужен. А чем его, «нонешнего» дурака, завлечь-привлечь? Безделушками да побрякушками. И самой все-таки веселей, когда на тебе что-то блестит да посверкивает. Внутри-то все равно пусто, так хоть снаружи пускай.

Да, конечно же, я не прав… Все это глупости, детские мои впечатления и измышления. Только куда ж без них? Все ведь мы вышли из детства, как кто-то умный сказал.

Не отпускает детство. Февраль 1946 года. Позади четыре года жуткой войны, а у нас в тылу, в Сибири, — бескормицы, неустроенности, изматывающего труда на износ — «все для фронта, все для победы». Мне не было еще девяти лет, учился я во втором классе. Переехали мы с матерью из «города»

(Новосибирск) в Кривощеково, на левый берег Оби, в четырехэтажку. Одна комната в четырехкомнатной коммунальной квартире № 8, кажется, на последнем четвертом этаже. В первой комнате жила с мамой Дорой Инна Чичаева (на два года старше меня, больная каким-то ужасным миллиардным туберкулезом — все война, ее следы, даже за тысячи верст ото всех фронтов), в другой дядя Саша, очень добрый, веселый, с неполным комплектом зубов, не то монтер, не то слесарь, в третьей — мы, а в четвертой — Юрка Денисов, младше меня года на три-четыре, с папой Колей и мамой Музой (отчества не помню ни одного). У Музы тоже вроде какой-то туберкулез был (или наметки, подозрения на туберкулез). Работала она внизу, под нашим подъездом, в продовольственном ларьке, куда поднималась с торца четырехэтажки высокая лестница, а за лестницей была ледяная горка, с которой мы катались на чем ни попадя (горка происходила, вероятно, от выплескивания с крыльца воды, которой мыли пол в ларьке). Так вот, с этим юным Юркой Денисовым как-то был устроен такой «брифинг», как теперь выражаются:

— Юрка, мамку любишь?

— Не-а.

— А папку?

— Не-а.

— А бабушку?

— Не-а, — не в настроении, видно, Юрка был.

— А дядю Сашу?

(Дядя Саша из второй комнаты был им, Денисовым, не то родственник, не то так, по доброте душевной, постоянно, когда мог, с Юркой и посидеть оставался, и так возился.)

— Так дядю Сашу?

— Не-а.

— А компот? — нашелся веселый дядя Саша.

— Ага-а! Люблю-у-у!!

И вот кто особенно распространяется о своей любви к женщинам, кто стремится обязательно и только к «обладанию» (и чаще вовсе не к «святому и редкостному») — мне эта их «любовь» напоминает скорей все-таки любовь к компоту, чем к мамке, папке, бабушке или вообще к человеку. Нет, «компот»-то я тоже любил… А кто не любит? Что я, не живой, что ли? Но где-то чуть не с младенчества все-таки различал, ощущал, что любовь к компоту и любовь к человеку хоть и именуется в русском языке одним словом, но разнятся, отличаются друг от друга, хотя в чем-то и сходятся. Не случайно, не наобум названы они одним словом: нам приятны, желанны и «компот», и любимое существо.

Но есть все-таки и различие! А есть у русского народа еще замечательно точное обозначение любви не к компоту, а к человеку: жалеть. Любить можно и компот, а вот жалеть — только любимое существо. Правда, современная женщина сама немало делает для того, чтобы к ней относились, как к «компоту», к вещи… К товару!

Любовь не к компоту, а к человеку, к существу, влекущему и желанному, я ощутил, осознал годам к десятиодиннадцати. С девчонками мы учились раздельно: мы в мужской школе, они — в женской. У нас в 4-м «А» оказался мальчик из нашей пятиэтажки, постарше меня года на два, Коля Басалаев (где-то он сейчас, где все они, кого так цепко держит моя детская память?). Оказались мы с Колей на одной парте, и долгие совместные возвращения из школы — через весь «Соцгород», через поле до наших «этажек» — все это способствовало общению и даже дружбе, которая вроде и начиналась, но потом, классу к седьмому, рухнула из-за какой-то глупости. А пока не рухнула, в четвертом еще классе, поведал мне Коля, как другу и наперснику, о своей любви (не больше и не меньше!) к Ире Озеровой. Да чуть ли и не взаимной еще?! Какая там взаимность могла быть? В наше-то время… Разве только на словах? Это у нас на Руси нередкая вещь — на словах-то… Многочисленные «победы» наши: и над недругами, и над прекрасным полом… Коле пусть было лет 12–13, а Ире никак не больше 10-ти, училась она на два класса младше нас, она — во втором, мы в четвертом. Но вот поведал Коля другу о своей любви. И что же друг (впервые в жизни столкнувшийся еще и с такой любовью!)? А друг, не долго думая, тут же и сам влюбляется. В кого? А в ту же Иру Озерову! А чего мудрить? Только обратить внимание и увидеть, что мордашка у Иры круглая, носик — задорный, глазки смеющиеся… Чего мудрить? Что может быть лучше и привлекательней всего этого? Ну… друг там, правда, влюблен… Да и «взаимно»… Но ведь влюблен только, не женат же, слава богу. Потом, разве сердцу прикажешь? Ему не прикажешь. А оно вот приказало: только Ира ему, сердцу, мила и нужна. И никто больше! Какая там у Коли до сообщения мне была с Ирой «взаимность» — это меня как-то не трогало и даже не интересовало. Во всяком случае, потом мы, кажется, любили Иру «на пару», вместе, особенно даже друг дружке и не мешая. А потом также «на пару» и разлюбили. И даже отомстили! За что?…Но — отомстили! Плюнули каждый на ее фотографию, отнесли и опустили в ее почтовый ящик (вряд ли она или ее близкие смогли даже понять, что это была «месть»).

Но это была моя первая любовь! Так как же она протекала? Я, по-моему, ни разу с Ирой даже не заговорил, хотя любил ее

преданно и упорно с 4-го по 6-й класс включительно, 3 года! Некое постоянство (или занудство? как угодно) — свойственно моему характеру, а вместе с ним, наверно, и душе. Так как же протекала первая моя? Глагол «протекать» чаще употребляют в отношении болезни, но ведь многие и весьма уважаемые товарищи считали и называли любовь болезнью. Петрарка в XIV веке, еще до нашей Куликовской битвы: «Коль не любовь сей жар, какой недуг меня знобит?», попозже Пушкин: «Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей», и почти совсем недавно Цветаева: «Мне нравится, что Вы больны не мной…» Да и другие примеры наверняка найдутся. Так как же у меня-то? Первая моя! Ни разговоров, стало быть, никакого общения, конечно же, не было. Любил, так сказать, визуально, издалека. Правда, после шестого класса, когда Колю наша совместная любовь уже утомила, а я — ничего, держался еще, летом в пионерлагере написал я Ире записку.

Не мудрствуя лукаво, прямо и определенно: «Ира, я тебя люблю. Ответь: да или нет». Ира, видимо, слегка ошарашенная такой прямотой, не нашлась и не решилась ответить ничего более, как на той же бумажке одним словом: «Да»… Ну а как и что дальше делать после таких ответов, я как-то не вполне отчетливо еще себе представлял. И все мое «общение» с Ирой как этой запиской началось, так ею же и кончилось. А в седьмом классе заполыхала во мне новая (аж до девятого!) любовь. «И так далее, и так далее случалося», как говаривал дед Щукарь. И Коля Басалаев тут же ко мне присоединился, и старинный мой друг Эрик Малыгин, да и вообще пол-Кривощекова — если не все! — было влюблено в принцессу нашу кривощековскую «ВВС» (Валя Сабитова, Васильевна по отчеству, как мы потом выяснили).

Но бесследно не прошла первая любовь! Оставила в душе зарубку, отметину Хотя «протекала» только в мечтах и грезах, умозрительно и визуально (как впрочем, и вторая, и несколько последующих…)

Первые послевоенные годы… Голодуха, холод, безотцовщина… (отец у нас умер в начале 49-го). Мой младший брат (родившийся в январе 42-го и едва не погибший от бескормицы и болезней, с которыми истощенный, ослабленный организм никак совладать не мог) на вопрос: «Боря, что бы ты мечтал поесть?» — отвечал: «На букву Пю», — что означало: картофельное пюре, слаще и желаннее которого маленький Боря ничего и вообразить-то себе не мог. К 47–48-му годам стали появляться конфеты, и шоколадные даже, но не густо. И когда мне Бог, как крыловской Вороне, посылал иногда конфетку, и при этом говорилось, что надо бы поделиться с мамой, папой или с

тем же Борей — я, как послушный мальчик, делился, но не испытывал от этого никакого удовольствия. А тут вдруг, бродя-колеся по родному Кривощекову и мечтая об Ире, мне как-то подумалось: «Эх, была бы у меня сейчас шоколадная конфетка… С каким наслаждением, восторгом отдал бы я ее Ире! Всю! Не половинку, которой я делился с мамой или Борей без восторга, а всю. И с восторгом! И как бы я при этом был счастлив…»

Рядом не было ни Иры, ни конфетки… Но мысль об этом, мечта об этом не прошла даром: я впервые ощутил, осознал в себе любовь. Не к компоту, к человеку. К дорогому существу. Любовь не ради «себя любименького», а ради нее, любимого существа, которое вот хрумкало бы конфетку, улыбалось, и ему было бы хорошо… А мне нисколько не было бы жалко конфетки, мне не хотелось даже кусочка этой конфетки! Мне было бы божественно сладко в этот миг оттого, что ей хорошо!..

Это вовсе не значит, что я всегда был таким умненьким-благоразумненьким, высокодуховным и глубокоморальным, чуть ли не ангелом небесным, бесплотным. Была и плоть. Была. Присутствовала. И не молчала. А то Пушкин бесплотный был?.. Или Петрарка?.. И упоминания или напоминания об особенно наглых и беспардонных выступлениях плоти я потом старательно вырезал бритвочкой из дневника. Из дневника-то вырезал, а из памяти чем?

Было. И очень гнусно от сознания этого на душе бывало… Потом, спасибо, опять же Пушкин поддержал:

> И с отвращением читая жизнь мою,
> Я трепещу и проклинаю,
> И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
> Но строк печальных не смываю.

А куда их смоешь? Из памяти-то… Это он! «Горько жаловался», и «проклинал», и «слезы лил», *«с* отвращением читая» жизнь свою. А мы ему низко кланяемся и два века уже благодарны, да и дальше, видимо, не устанем благодарить за то, что он не скрыл ничего от нас, ни своих жалоб, ни слез, ни страданий, ни борений. А без страданий и борений — это не душа, а так, неведомо что, словеса пустые.

Человек вообще-то рождается животным. С задатками, с возможностями стать человеком. Но человеком либо становится, либо остается животным, причем самым страшным изо всех возможных животных. Ни одно животное не убивает просто так — там или необходимость утолить голод, или борьба за самку, — только человек-животное убивает просто так, для развлечения,

тут даже вполне разрешенные, «цивилизованные», так сказать, формы убийства, как, например, охоты высокопоставленных лиц, не говоря уж об убийствах в преступном мире — убийствах изощренных, с фантазией, со смакованием…

А счастье ощущать себя человеком, в себе человека… Да его только познать надо! Хоть раз! И никакого животного счастья, пусть даже самого удачливого! — не захочешь. Ну… может, захочешь… Ведь животное-то сидит все-таки в тебе… Но человеческое — надежнее, долговременнее. Да и слаще! С чистой-то совестью!.. Почему так долговечен у человечества культ Богородицы? Да потому, что самая человеческая, самая бескорыстная у нее любовь: к детищу, к сыну своему. Любовь ради любимого, а не ради себя….

Стало быть, вот, не только плоть была. Была и душа. И она, душа, в конце концов, понимала, что «любить» — глагол переходный (переходящий на что-то вне себя, не замыкающийся на себе, не «возвратный»). Человеческий глагол, не животный.

Сейчас вдруг подумалось: а что бы я выбрал (если б надо было выбирать) — любить или быть любимым? Вот так вот, всю жизнь, такая судьба: или — или, или то, или другое, или всю жизнь только любить, но при этом, не будучи сам любимым, или, наоборот, всю жизнь быть любимым, но самому при этом не любить? Наверное, все-таки первое. Наверное, все-таки любить. Пусть мучиться, пусть страдать без взаимности, но все-таки — любить! А если тебя любят, обожают, пылинки с тебя сдувают, боготворят, молятся на тебя, а тебе — наплевать, ты — не любишь, тебе все равно — да это ж с тоски можно удавиться!

В общем-то никакого открытия я тут не сделал: к неразделенной любви весьма недурно относился еще Гете («Страдания юного Вертера»), Да и Евг. Евтушенко у нас, даром, что прошел огни, воды и медные трубы, а к неразделенной любви относился как-то трепетно, уважительно, чуть ли не с тоской и какой-то даже завистью. И она, действительно неразделенная-то, не такая уж пустая и ненужная вещь. Она душу строит (если эта душа имеется). А не имеется души — так ей, неразделенной, не в чем и завестись. Любовь, всякая, и неразделенная в том числе, заводится только в душах. Как мыши — только в продовольственных складах. Я думаю, на складах металлоизделий или химии, бытовой или промышленной, мышам особенно делать нечего. Хотя утверждать не могу, не специалист.

В вопросах любви я тоже не рискнул бы рекомендовать себя, как очень серьезного специалиста, но, опираясь на собственный опыт, мне кажется, что и строительство души, и неразделенные любови — все это более интенсивно и впечатляюще протекает и

запоминается, конечно же, в молодости. С годами и душа уже как-то оформляется, затвердевает, менее поддается влияниям и переделкам, и любовь, особенно неразделенная, уже не так въедается в душу. Нет, тоже, конечно, случаются, но не так глубоко врезаются в память и душу, как смолоду. Тут дай бог с разделенными-то разобраться…

А в общем-то все правильно. И мой умница-дневничишко подсказывает, напоминает мне, что именно так все оно и было! Невзирая на все молодые буйные бесчинства плоти, душа все-таки не дала себя забить, победить: вот запись от 21 января 1961 года (двадцать четвертый год жизни на излете): «Перечитал свой 1955 год (это когда мне 18 было). Влюблялся на каждом шагу, никакого толку, никакого ответа — страдал, плохо было. Теперь же любят на каждом шагу, только бери и наслаждайся — так опять не так! — теперь я влюбиться не могу… Опять — беда; пожалуй, даже хуже той, завидую тому времени. Очень плохо, если не влюблюсь, а надежды почти никакой: никто не удовлетворяет, никто не подходит. Даже страшней, чем в 1955 году. «Любовь хоть так же сильна, как смерть, но вовсе не так неизбежна» (Джозеф Конрад). А это очень страшно, безумно страшно, прожить без любви. А все шансы на это абсолютно реальные. Так оно все может и быть. Работа! Работа не изменила бы!

…Работы, работы хочется, взахлеб, как когда-то рабочим сцены в «Красном Факеле», по шестнадцать-восемнадцать часов, чтоб не оставалось времени ни на что, кроме сна. Работы и друзей!! Работы и друзей… Друзья далеко, работы нету. Серо и плаксиво. И скучно…».

Вон оно как, оказывается, было… С душой-то…

Застряла почему-то в памяти и никак не улетучивается сцена из давнишней моей… нашей картины «Встречи на рассвете» (производство «Мосфильм», сценарий А.Кузнецова, режиссеры Э. Гаврилов, В. Кремнев). Картину эту мало кто видел, она была изъята из проката (стало быть, у зрителя) где-то сразу же по выходе своем на экран. Удрал из Советского Союза в Англию (в «цивилизованный мир»!) автор сценария А. Кузнецов. И оттуда предал анафеме все, что сделал до того в СССР, отрекся. В печати у нас ему ответили, что не подумаем исполнять его заветы (насчет анафемы), что против него выступят его праведные комсомольские герои его книг. Но… исполнили даже с перевыполнением: изъяли из употребления не только книги, но и нашу без вины виноватую картину. Хотя мы ему слепо не верили, мы по-своему, не по-кузнецовски решили конфликт между героями, но… В этом никто не разбирался… Сбежал? Сбежал.

Стало быть, не было такого в Советском Союзе? Не было. И следов чтоб от него, ничего напоминающего чтоб не осталось! А зритель у картины набирался, заинтересованный, взволнованный, разбуженный ею зритель. Разбуженный проблемами, не сиюминутными политическими или политиканствующими, а вечными, нравственными: что такое любовь? Что такое совесть? Что такое счастье?

И вот нейдет никак из головы сцена между героинями, доярками Галей и… Люськой, кажется. Уж и имена героинь забыл, помню только лица актрис Тамары Дегтяревой и Милы Кроль и их спор-разговор: «Да где ты ее видала, любовь-то? Тот из выгоды женится, по расчету, у этой время приспело. Страшно одной-то остаться!.. А любовь… Это мы, если надо, в кино посмотрим…» (сегодня, правда, и в кино уже не посмотришь…) И хочется мне ответить, объяснить Люське и всем, кто с ней солидарен (а Э.К. Кроль неотразимо убедительна была в той сцене. Это никак не в обиду Тамаре, просто у Т.В. Дегтяревой роль на всю картину и блестяще сыгранная, а у Милы эта сцена была основной. И вот засевшей навек в душе и памяти). Вряд ли мой «ответ» кого-нибудь убедит, удовлетворит, а тем более, утешит, но ответить — чешется и язык, и душа: «Товарищи, родненькие! Та любовь красивая! страстная! Ну как в кино!», которую подразумевает в этом разговоре Люська и на которую она, как трезвый и поживший человек, давно уже не надеется и не рассчитывает (если уж сильно затоскует душа по такой любви, в Кинотеатре повторного фильма можно было в те времена посмотреть) — все равно, милая, трогательная, абсолютно достоверная, жизненная и правдивая Люська мечтает о любви потребительски. И в этом своем стихийном душевном потребительстве — не права. Даже для себя не права. Даже если и выпадет ей один шанс из тысячи, и свалится вдруг на нее такая любовь — не принесет она ей счастья! Тут как раз и заключен величайший парадокс жизни: чем больше отдаешь — тем больше имеешь, тем больше у тебя остается! И наоборот: чем меньше отдаешь — тем меньше самому остается… Скучно — только получать, потреблять, «обладать». Любить, заботиться, отдавать, т. е. производить, созидать что-то, — вот это жизнь! И — счастье!

И вот еще нашел я в своей старой записной книжке… призыв, что ли?

К самому себе? А может и не только.

«Бологое. 31 июля 1986 г.

…Не надо стесняться оставаться Человеком. Оставайся Человеком. За содеянное добро, за свершенное что-либо благородное

не жди тут же вознаграждения, как дрессированное животное в цирке. Оставайся Человеком. Собачки в цирке — и те не за одно только вознаграждение работают, а уж где-то и из привычки, из любви и верности своему старшему другу и хозяину — хороший хозяин ведь не только Хозяин, но еще и Друг! Собаке, лошади, да любому из «братьев наших меньших».

Не стесняйся оставаться Человеком.

И в любви — не рвись уподобиться скоту: получил свое — и дальше, за новыми радостями и удовольствиями. Человеческие радости не хуже скотских, не беднее. Познай их! Не стесняйся оставаться Человеком. Не бросай ни стариков, ни детей. Скоты — и те не все детей своих бросают. Учись у Людей. Их не так много в истории было, но — были! И сегодня есть. Не стесняйся оставаться Человеком. В любви, в заботе о другом, в ответственности за другого — радость! Человеческая. Высокая. Сладкая. Никакому тупому скоту не ведомая! Даже не вообразимая им. Попробуй, познай ее!»

…Вы видели когда-нибудь глаза… собаки, ребенка… женщины, залитые счастьем? Когда из них брызжет радость! Брызжет, бьет, струится неудержимо, неостановимо!.. Как вода из какого-нибудь старого, протертого полиэтиленового пакета. Таскался пакет этот где-то в кармане, в сумке неизвестно сколько времени, и тут вдруг вспомнили о нем, извлекли, чтобы насыпать в него черешни, где-нибудь, скажем, на ялтинском базаре. А насыпавши, пошли под кран помыть. Налили, наполнили пакет, а она вдруг, вода-то, во все щели, щелочки, дырки, потертости, в разные стороны, на тебя, на окружающих! Бьет, лупит, затыкай — не затыкай, зажимай — не зажимай, пальцами, ладонями — через ладони, сквозь пальцы… А вокруг — солнце! Все сверкает, сияет, переливается: и краски, и изобилие базарное, южное, и зелень, и фрукты, и лица, и глаза… Солнце и влага, под солнцем и на солнце!..

И так-то славно, когда только пакет с черешней, и базар, и солнце. А если не пакет? Если глаза? И небезразличные тебе глаза?! И если… ну не стопроцентная уверенность, но хотя бы легкое и вроде не совсем беспочвенное подозрение, что первопричиной и адресом этой брызжущей радости являешься… ты! А если еще и создателем. Созидателем ее! Этой радости?! Да что же в мире, в жизни сравнится с этим счастьем?! Какое животное самоудовлетворение? Гастрономическое, сексуальное или иное. Какое «обладание»? Какой «компот»?..

Вот что я разумею под понятием «ЛЮБОВЬ». Может, кому и сгодится? Вдруг для кого-нибудь мой опыт не пустым окажется? Хоть для кого-нибудь…

Из записных книжек

5 июня 55 г. (Казахстан) «Рим в 11 часов»… «В основу этого фильма положен действительный случай, произошедший в 1953 году в Риме на улице».

Да… Рим… в 11 часов… Великое все-таки счастье — социализм наш. Хорошая вещь, тихая, скромная в деле.

Что там будет дальше, куда еще тонкие интеллекты будут беситься-бросаться: в атом ли, или в водород, а народу, народам нужно прежде всего жить, жить. И вот эту жизнь социализм дал России. И счастье дал. Отчасти к нему привыкли (а привычное всегда надоедает), отчасти подпачкивают, марают потихоньку это счастье всякие вышестоящие фокусники. Но народ поживет еще, и долго ему еще жизнь не надоест, как иногда надоедает она тонким интеллектам (все самосарказм, самоиздевка, в свой огород камень).

А картина сильная! Нашей такой не припомню.

К Шолохову — за смыслом, жизни

Как-то попросили меня написать о моей встрече с Шолоховым. Попросить попросили, а востребовать написанное позабыли. Ну да Бог с ними.

Была такая встреча. Очень-очень давно, очень кратковременная, но — была. Длилась она минуты две-три, от силы пять, не больше. И что-то узнать за это время, да такого, о чем имело бы смысл поведать миру. Эти две-три или пять минут явились фактом, событием моей биографии, но никак не Шолохова. Но, может, именно в этом и есть смысл? Рассказать, чем был Шолохов в моей судьбе и судьбе моих друзей? А, может, и в судьбе нашего поколения… Не всего, конечно, но и далеко не незначительной его части.

Было мне 17 лет, шел 1954 год. Только что отрыдал я вместе со всем народом на траурных митингах по поводу кончины И.В.Сталина; только что отужасался с народом же: как же мы дальше будем, когда мы так «внезапно осиротели» — по выражению того же Шолохова. Ну, не совсем «только что», все то было в марте 1953-го, а тут кончался 1954-й. За это время я успел закончить десятый класс в далеком родном Новосибирске и приехать в Москву, поступить в театральное училище имени Б.В. Щукина «учиться на артиста».

Мы были очень искренними, истовыми комсомольцами — я говорю о самых близких, школьных еще друзьях, — очень серьезно относились к жизни, к идее коммунизма, к искусству — как к составной и необходимейшей части жизни народа и движения его к светлому будущему. В школе никаких сомнений ни в чем у нас не возникало. Кроме как в собственных силах и в правильности выбора будущей своей деятельности на благо общества — иной деятельности (не на благо общества) мы и представить себе (для себя) не могли. Сомнения и вопросы вне собственной персоны стали появляться уже потом, после семнадцати-восемнадцати, после школы, при первом самостоятельном столкновении с жизнью — вот тут пошли первые сомнения, первые… общественно-политические, что ли, вопросы: кто мы? что с нами? куда идем? И так ли все гладко у нас, как мы привыкли верить в школе…И дело было, конечно же, не в какой-то нашей особой «недюжинной» общественно-политической въедливости и проницательности, просто тут подоспели первые хрущевские «вскрытия», без особых, правда, осмыслений, но уже вскрытия наших язв и изъянов.

А может, это как раз и нормально? Нет, не вскрытия язв без

осмысления, а нормально и благотворно для развивающегося семнадцатилетнего индивидуума: сомневаться только в собственных силах и истово, непоколебимо верить в справедливость, правомерность и неукоснительность общего поступательного движения, течения жизни?

Как бы там ни было, в старом моем дневнике в записи от 24 декабря 1954 года вот что: «Завтра с Эркой («мой первый друг») идем искать Шолохова. О-бя-за-тель-но!»

Почему вдруг Шолохова? И «о-бя-за-тель-но»? Вероятно, веяло от него, от его произведений какой-то могучей, нелицеприятной правдой…

Самой бесстрашной, самой беспощадной из всего того, что было нам доступно тогда. А доступно тогда было не все; Горький, Маяковский, Фадеев, Шолохов, ну, «Василий Теркин» еще. Об Андрее Платонове мы даже и не слыхивали. Ни о каких Булгаковых, Цветаевых, Пастернаках, Ахматовых и не подозревали. Бунина, Блока, Есенина не издавали, их можно было за бешеные деньги «ухватить» у букинистов, а классик ли Достоевский — у меня до сего дня не безоговорочная уверенность, так как с детства впаяно в мозги: всех русских классиков у нас «проходили» в школе, а Достоевского даже не упоминали… А Бажова и Шергина мы и сегодня не шибко-то чтим, во всяком случае, детей на них не учим, не воспитываем…

Кроме Шолохова верил я тогда еще Ник. Островскому, А.С. Макаренко, но их уже не было, а Шолохов — был.

Я собирался в те поры бросать училище и уезжать. Работать! Куда-нибудь на целину! Узнавать жизнь! Узнавать правду! И испытывать самого себя. Что потом и сделал.

Из дневника

26 декабря 54. Эх, гадство! А ить жалко будет училище-то бросать… И театр — замечательнейшая таки штука!.. Но уйду, уйду. Надо. Приключений надо, смелых, веселых!

Того, что сердце требует. Ведь требует же! И чему мешает подленький трусоватый умишко. Ближе к делу! Живому, бьющемуся… К такому, чтоб захлестывало, толкало, не давая времени на «рассуждения»..

И там — или уж вылезти в люди, в человеки, или, черт с ним, пусть забьют, затолкают в самый темный дальний уголочек… Лучше там (вероятно, в «темном дальном уголочке») подохнуть, чем ползать на поверхности и портить воздух… Хоть незаметно, но верно и навсегда портить. Витьку бы забрать (Лихоносова)!.. И

— в степь! На целину, на стройку, к черту в лапы, но чтоб весело и беспокойно было! Вот еще что-то Шолохов скажет, послезавтра к нему идти…

24 декабря 54 г. Ох, как охота, как охота человеком стать! Неужели не выйдет ничего?… Ладно. Ищем Шолохова! Еще от него что-то узнаем. А дальше видно будет. Но Шолохова увидать во что бы то ни стало!

Во как надо было!.. Стало быть, для меня-то не случайной была встреча.

Как я до него добрался, доцарапался? Убей, не помню. Не назначал же он мне ни приема, ни аудиенция. Где-то у кого-то как-то вызнал адрес, узнал, как разыскать квартиру. Настырный, видно, был. «Целеустремленный».

Ведь 29-го я… до Шолохова (!) дошел.

Дошел. Почему-то один, без друга. Почему? Не помню. Где-то в Староконюшенном переулке, недалеко от училища как раз. Помню подъезд, лестницу вокруг лифта. Открыл мне какой-то… здоровенный, гладкомордый, неприветливый… Кто? Родственник? Охранник? Бог его ведает, наверно, все-таки охранник. Конечно же, никуда он меня не пускал… Спасибо, «в грудки» не толкал… И тут, пока я объяснял этому мужику, зачем мне нужен Шолохов, — я и себе-то этого отчетливо объяснить не смог бы… Ну, наверно, потолковать… По душам!.. Успокоиться, утвердиться в пошатнувшейся вере… Нет, не в Сталина, в справедливость. В разумность всего, нужность, не «зряшность»… В смысл жизни. Что не бессмысленна жизнь! И что жить — стоит. И людей любить стоит. И жить ради них стоит…

И вот тут откуда-то из темных недр квартиры возник он сам. Случайно ли перемещался внутри квартиры по своим надобностям или специально к нам на шум вышел — не ведаю. Вот что в дневнике: «Пока трепался (я) с мужиком в передней, вышел он, добрый казак донской, в гимнастерке на широкой, крепкой, как выструганной, вытесанной рубанком груди, косолапый, с жидкими, закрутившимися в разные стороны седыми волосами («шевелюра, как у поросенка»),[9] с обросшими седой щетиной щеками и белыми же жесткими усами. Рука маленькая, узкая, с вывернутым наружу, от ладони, мизинцем и грубоватой, не интеллигентской кожей. Но сжал мою руку — будь здоров! Другой рукой обнял и усами в щеку левую мне потыкался, губами не достал. Вроде показалось, что немного «выпимши»… Но, однако, нет. Не пахло ведь…

А так — свой, жутко свой (лучше, чем «жутко», не мог найти слова). И я, уродина, разулыбался, вроде и неудобно было его надолго отрывать, и мужики мешали, вякали что-то… Да и

неопределенно знал я опять, о чем говорить!.. Так и выскочил от него. Сказал он только, что глаза у меня хорошие, «крепкие» (чем потом до-олго друзья меня подкалывали, «крепкими»-то глазами). «Да ведь это опять только внешнее, только кажется! Два раза поцеловал на прощанье и «будь здоров» сжал руку… Эх, встретиться бы, встретиться бы еще с ним, но уже самому будучи человеком. Встретиться бы по делу, по определенному, большому делу…»

Вот и все. Все, что сохранилось в дневнике. А в памяти? Было на мне темно-синее длиннополое (драповое? суконное? Бог его ведает…) пальто — самое главное мое достояние и обеспечение, самое большее, что могла сделать и дать мама, чем могла она защитить непутевого сына от всех возможных предстоящих бедствий за три тыщи верст от дому. А за пазухой этого пальто, как всегда, была очередная книжка (я до сих пор читаю в основном в метро, в транспорте), в тот раз книжка журнала «Новый мир».

— Твое тут? — ткнул пальцем или взглядом в голубенький «Новый мир» у меня за пазухой Михаил Александрович.

— Н-нет, — замотал головой я, не сразу сообразив, о чем он.

— Ну, слава богу!…

Вроде спросил он: «Ну, чего тебе, сынок? Зачем пришел?..» Не то я, не то мужики эти (один мне открывал, другой, вероятно, с самим вышел), не пускавшие меня и вызнавшие тоже о цели моего посещения, коротенько и не очень всерьез объяснили: «Да вот не знает, учиться ему дальше или бросить?»

— Учись, сынок, учись! Это тебе говорит человек, который никогда ничему не учился…

Тут уж за точность цитирования не ручаюсь, но что-то в этом духе, все шуткой, все смехом. И при этом «жутко» родной и свой! Когда школьный же друг мой Витя Лихоносов через год или полтора (т. е. в том же примерно возрасте и известности) тоже добрался до Шолохова, приехал в Вешки, увидал его на крыльце и обратился:

— Я к Вам, Михаил Александрович…

В ответ тут же услышал:

— Давно жду!

Вот и все… В общем-то, все, вся «встреча», все «общение»…

И все-таки ответил мне тогда Михаил Александрович! На все мои вопросы ответил. Хотя ничего существенного, достойного запоминания, больше не произошло. Я ничего не скрыл, ничего самого важного не забыл и не упустил. Но вот этим юмором, и… «свойскостью», и усталостью — ответил! А может, это я сам себе попозже ответил? Может быть. Но не без него, не без его участия!

Он мне ответил, он. И тем, что глаза мои «крепкими» назвал. Видимо, не суетились глаза, не заискивали.

Ну, пришел человек к человеку. Не проситель, не искатель благ и выгод, просто — младший к старшему. Может, действительно, сын к отцу. На исповедь. Отца я в двенадцать лет потерял… Ну, не получилась исповедь, не случилась. Обстоятельства не сложились. Но ласку отцовскую, веру спокойную в меня — сопливого, но с «крепкими» глазами! — все это я получил. А дальше? Думай сам, сынок. Мое время уходит, твое настает. Вырулил из-под мамина крыла — так давай, ходи самостоятельно! Думай. Ищи. Твоя жизнь впереди — тебе и разбираться в ней. И в личной, своей, и в общей нашей жизни, вокруг тебя… Ты — мужик и должен жизнь в свои руки брать. И нести ее аккуратненько. И расти ей помогать. И беречь, защищать ее. Отвечать за нее.

Ничего. Все нормально. Не дрейфь! Глаза у тебя — крепкие! Все нормально. Будь здоров!

И обласкал, и приободрил. Чего ж еще? Нормально. Ответил.

«Вооще»

Немножко собственной доморощенной философии

Что поделаешь? Философии… Тянет мою душеньку к ней, окаянной. Потом, возраст. Смолоду, там по дневникам, по записным книжкам и пейзажи, и лирика попадались, а последнее время — одна философия пошла. Скорей, наверное, не философия, философствование. Но все от души! Не по принуждению. А поскольку пытаюсь рассказать душу… А вдруг не все чушь в философствованиях моих?

Я ведь, как это нынче ни печально, — коммунист. В партии никогда в жизни не состоял, но — коммунист. В душе, в мозгах. А это еще безнадежнее, чем официальное членство. Официальные-то вон как прытко брызнули в разные стороны. Как крысы с давшего течь корабля или тараканы, когда внезапно ночью свет на кухне зажгли… А если в душе коммунизм? От души-то от своей куда денешься? Не вынешь же ее за хвостик, как красную книжечку, и не сожжешь принародно… Душа только с жизнью из тела вынимается.

Стало быть, я, значит, коммунист. А коммунизм нынче не самые безоблачные и уверенные в самом себе и в своей правоте времена переживает. А вместе с ним, естественно, и материализм.

Тем временем идеализм, в полнейшем согласии с открытиями и утверждениями классиков марксизма, пока нет ни Энгельсовых, ни ленинских мозгов, способных ответить ему каким-нибудь новым «Анти-Дюрингом» или «Материализмом и эмпириокритицизмом», не спит, ожил, оправился, отдышался. Да и разгулялся.

Бог в помощь!.. Недаром умные марксисты (покойный М.А. Лифшиц) вожделели, мечтали о том сладком мгновении, когда «марксизм вновь станет гонимым учением». А мечтал Михаил Александрович о «гонимости» родимого учения затем и оттого, чтобы от него, от учения, отвалилась, отшатнулась, наконец, «могучая армия «Гвоздилиных» (русскому читателю абсолютно ясно, что под этим неопределенно-нарицательным именем подразумеваются неискренние, но ретивые и «истовые» ревнители, агрессивные приспособленцы; у друга моего в МХТИ в конце 50-х таких брезгливо называли «активистами»), А нынче эти «активисты Гвоздилины», четко держа нос по ветру, всей оравой, сбивая, топча и давя друг друга, ринулись… в религию. К

Богу. К православию, к христианству. Да и другими конфессиями не брезгуют. Они «помогут»… И религии, и церкви. Помогут так же, как до того помогли марксизму: т. е. заболтают, не вникая, даже не пытаясь, не испытывая внутренней насущнейшей душевной потребности вникнуть, разобраться, осознать. Самих себя хотя бы в мире: где ты, кто ты, что ты и для чего. Эту потребность испытывает нормальный живой homo sapiens. Не может не испытывать. А «Гвоздилины» — это совершенно особая порода. Порода, в которой «сапиенсу» просто не в чем завестись, там физически отсутствует тот орган, который мог бы оказаться «сапиенсом». Как нет у медведя крыльев, а у змеи ног, так и у Гвоздилиных нет вот этого органа, который можно было бы развить до сапиенса. У них — только желудок.

Это ведь про одного из их породы анекдот, когда спросили такого однажды, зачем тебе голова:

«Как зачем? Я ею ем».

Вот они и едят. И требуют, чтобы было что есть. А как, откуда оно возьмется — это не их дело. Их дело: требовать! И — есть! Вот они сейчас всей толпой срочно переключились на религию, на веру в Бога. Ну и слава Богу! Марксизм хоть вздохнет пока. А они и с религией устроят то же, что когда-то с марксизмом: т. е. заболтают, обгадят этим самым и предадут на следующем историческом витке.

А сейчас, пока материализм несколько растерялся, стушевался, приумолк, собираясь с мыслями, — идеализм, воспрянув духом и расправив плечи, кинулся срочно на добивание: «злую» теорию материализма «клюет, гибель скорую торопит, бьет крылом и в море топит…».

Вот только что по телевидению интеллигентный дяденька с бородой, не на русском (!), на интеллигентном английском языке нанес очередной могучий, просто нокаутирующий, а ему, этому дяденьке, может, кажется, что и вовсе смертельный удар материализму, эволюционной теории и прочим огрызкам всяческих атеистических, антиидеалистических измышлений. Он признает, дяденька, — не сам, нет, целая могучая наука якобы в его лице, что живая жизнь может возникнуть, синтезироваться из неживой материи, но в одном лишь случае из… 10 в восемьдесят седьмой степени из такого вот количества вариантов. А что же это за количество такое: 10 в восемьдесят седьмой степени, единица и 87 нолей? Если допустить, что наша земля существует 4 миллиарда лет, как кто-то подсчитал, то в 4 миллиардах лет секунд (!) всего-навсего 10 в двадцать пятой степени, а тут 10 в восемьдесят седьмой… Короче, в 4 миллиардах лет секунд столько не наберется, сколько потребовалось бы перебрать

вариантов, чтобы неживая материя синтезировалась бы в живую. Отсюда дяденька неопровержимо выводит, что жизнь могла возникнуть только сознательно, только с Благословения и Благоволения создателя! Какая защита, какой суперблок выдержат такой сокрушительный удар? Но, как ни странно, мой скромный, доморощенный материализм — держит. Может, ему только кажется, что держит? Но кажется же! А сокрушенному-то, поверженному, уничтоженному, размазанному и размозженному разве может казаться? А мне кажется! Да, больше того, меня это даже не волнует: ну и что? И что, что в 4 миллиардах лет секунд столько не наберется, сколько нужно вариантов, чтобы синтезировать жизнь из неживого? А почему этот единственный случай синтеза живого из неживого обязательно должен был ждать, пока переберутся все 10 в восемьдесят седьмой степени вариантов? А не мог случиться сразу? Где-нибудь в начале этих 4 миллиардов лет? Или хотя бы в середке? Потом откуда такая выверенная и неопровержимая цифра — 4 миллиарда? Всего 300 лет назад на Руси свято убеждены были, что мир сотворен гораздо ближе по времени: всего-навсего каких-то 7 тысяч лет тому назад. Но — тем же самым, всемогущим и всемудрым Создателем! Маленько считать научились, а ошибка вон какая выявилась:

7 тысяч лет в 4 миллиардах укладываются аж 571 428 с половиной раз! А ведь были же убеждены, да всем миром, что сотворен мир вот эти вот жалкие 7 тысяч лет назад… Хотя… если все это создавалось Создателем?.. Чего ему, Создателю, было тянуть? Разводить тоску аж на 4 миллиарда лет? Взял бы и создал сразу! Ну для приличия на 7 тысяч лет можно было бы еще растянуть, но уж 4-то миллиарда куда? Хотя в них и всего 10 в двадцать пятой степени секунд. Но ведь это «всего» по отношению к 10 в восемьдесят седьмой степени, а так-то… поди-ка, посчитай! 10 в двадцать пятой… Устанешь ведь. Да и соскучишься…

Ну да и, в конце-то концов, при всем моем настырном, упрямом, невменяемом атеизме и материализме, — ну пусть, пусть мир создан Создателем. Разумом, логосом, словом, духом, Богом, — пусть! Бог с ним! Слава Богу, никто Его (Создателя) не видел. Только казалось, что видели, а показаться мало ли что кому может… Но Бог с ним, пусть в начале всего был Бог, разум вселенский, идеальное что-то, дух, а не материя. На здоровье. Но ведь без материализма-то миру тоже никуда не деться! Без материалистических методов познания и исследования. 10 в восемьдесят седьмой степени — ведь это никакой не высший разум внушил, это человек вычислил (точно или неточно, с ошибками в какой-нибудь десяток или сотню нулей в ту или

иную сторону — не суть важно) — вы-чис-лил! Человек. Наш, простой, земной, обыкновенный. Да никуда им друг от дружки не деться, идеализму с материализмом. Они дополняют друг друга, они друг без друга завянут, зачахнут, сгинут, испарятся, расточатся, аки дым. Они, как мужчина и женщина, друг без друга — ничто, прах, конец всему сущему. Они — единство! И борьба вечная, но и вечное же единство! Ну Бог — так Бог… Создатель — так Создатель… Чего тут лбы разбивать, доказывая то, чего ни доказать, ни проверить невозможно? Но признали же идеалисты, хотя бы в лице этого интеллигентного англоязычного дяденьки бородатого материалистические методы познания и исследования (а куда б они делись?). Ну и за это, за такую радость и возможность взаимопонимания и взаимодоговариваемости могу признать и я наличие Создателя в начале всего. Бог с ним. На здоровье. Лишь бы человек не успокаивался, не останавливался в своем движении, в своем развитии, прогрессе. Не уповал на Создателя: мол, все равно все от века установлено — стало быть, все наши труды, старания, изыскания ни к чему, стало быть, нечего и дергаться, наше дело — только не грешить… Нет! Наше дело — работать, развиваться, sapiensами становиться, поскольку хоть в антропологии этот вид или тип давно создался, оформился, — в жизни, в истории с «сапиенсами» у нас, у человечества (а в России особенно), много сложнее.

Где-то на заре своей литературной деятельности А.М. Горький сделал такое, вроде бы шутливое, но не без доли истины открытие: «Везде, где я видел двоих, я слышал два мнения…, а иногда даже три и более. Это противно логике, но русскому человеку, очевидно, нимало не противно…» Не знаю, кому как, но мне это «открытие» представляется вполне правомерным и отвечающим некоторым свойствам русского характера, русской жизни. Я, к примеру, сегодня абсолютно убежден, что у нас было и сегодня есть по меньшей мере два марксизма. А то и больше! Как по Горькому. Но два «марксизма» как минимум: один — научный, философский, аргументированный, обоснованный, которого почти никто не знает, ну разве что жалкая кучка специалистов. Я свою старую тетку спрашивал, ветерана партии, труда, бывшую некогда депутатом Моссовета, вечную труженицу, честного, ответственного человека: «Тетя Мила, вот если сегодня собрать всех оставшихся еще, не разбежавшихся, как крысы с тонущего корабля, коммунистов (сколько их там еще осталось?), самых последних, верных, — собрать всех и устроить им экзамен по научному коммунизму, как Вы думаете, хоть кто-нибудь сдаст его? Хоть кто-нибудь что-нибудь из научного, философского

марксизма знает, понимает, умеет им пользоваться?» Тетя Мила моя, как честный, дисциплинированный и ответственный товарищ, тут же выкинула руку вперед: «Я первая не сдам! Ни уха, ни рыла не знаю»). Но есть у нас (был когда-то) и другой «марксизм». А то и марксизмы! Этого — море разливанное! Вот тут царство «Гвоздилиных». Тут они «правят бал»! И доправились… Это другой «марксизм». Вульгарный, хамский, демагогический, извращенный и прохиндейский. Ничего общего с первым, окромя названия, не имеющий. Просто диаметрально противоположный первому. Марксизм буквы, но не духа. И вот этот-то марксизм большинство сегодня возненавидело, прокляло (о первом они, большинство, и понятия-то не имеют. Даже представить себе не могут, как Василий Иванович в анекдоте не мог представить себе квадратный трехчлен). А меньшинство, о первом марксизме тоже не слыхавшее, в глаза его не видавшее, свято и стойко все еще верит, как во Христа, в давно дискредитировавшую себя демагогию второго.

Когда-то, во дни моей юности, был в ходу такой анекдот: в чем различие и сходство между диаматом (диалектическим материализмом) и просто матом? Различие было в том, что диамат знали немногие, но очень многие пытались показать, что знают; с матом дело обстояло наоборот: знали почти — или без «почти» — все, но очень многие делали вид, что и слыхом не слыхали, и понятия не имеют. Это все сегодня и не смешно, и даже непонятно: от диамата мы сегодня открещиваемся, как от сатанинского наваждения, а матом — щеголяем!.. Ну и сходство было: и тот, и другой в те времена бесспорно считались «мощным оружием в руках пролетариата»… Теперь бедному пролетариату только последний остался. И не только пролетариату…

Но что сегодня для меня самое смешное в этом вполне заслуженно забытом, ставшем абсолютно несмешным и непонятном анекдоте, так это то, что анекдот уже тогда улавливал и особенность того времени, и основную тенденцию, направление развития интеллектуального потенциала нашего общества с тех «святоханжеских» времен к нашим, свободным, демократическим и гласным, т. е. от истинного знания к деланию вида, к показухе. Анекдот — улавливал! А научная теория — не сделала этого, упустила. Хочется мне здесь привести свой ответ одному, школьному еще, приятелю, некогда самому искреннему, истовому, активному комсомольцу, члену, чуть не секретарю нашего школьного комитета ВЛКСМ, громче и восторженней всех оравшему «ура» в темном кинозале, когда в конце «Чапаева» или других наших, по чапаевскому стандарту сделанных кинолент, приходили, прилетали, на конях ли, на самолетах ли «наши»! И

или спасали, или хотя бы праведно мстили за погибших героически и за правое дело «наших»! Лютой и праведной ненавистью ненавидевшему всех «врагов» — белых, зеленых, коричневых и прочих «не наших». Переживавшему, сострадавшему, сочувствовавшему всем «выдающимся деятелям» и страдальцам «прогрессивного человечества», таким как Фидель Кастро, Патрис Лумумба, Сальвадор Альенде. Но когда он, приятель, узнал, что «враги» были не только враги, но еще и люди, а иногда и благородные, честные, а «наши» таковыми не всегда оказывались, — он, приятель, так же резко и непримиримо стал относиться к обманувшим «нашим». И резко переменился в отношении «врагов». А сегодня и вообще ударился в религию. И все с той же святой верой и восторженностью, с которыми когда-то верил в коммунизм и светлое будущее всего прогрессивного человечества… Ролан Быков восхитительно сыграл очень похожего на моего приятеля героя в фильме «Служили два товарища». И вот сегодня мой приятель горячо и искренне зовет, завлекает и меня разделить его сегодняшнее, вновь обретенное, самое праведное, как ему теперь кажется, надежное и верное мировоззрение. И вот я ему отвечаю…

Огорчаешь ты меня, друг. Ах, как огорчаешь. Тебе ж дали волю в 1861 еще году! В 1917-м вообще все ограничения сняли. А на днях и еще добавили, свободы-то… А ты все со своим «идолопоклонством» носишься. То «красным» поклонялся, то «белым», то Сталину, теперь вот Христу… Ну это вроде хоть понадежнее, подолговременнее, Христу-то, но…

> В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась
> Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом,
> С областей неба главу являвшей, взирая оттуда
> Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу,
> Эллин впервые один осмелился смертные взоры
> Против нее обратить и отважился выступить против.
> И ни молва о богах, ни молньи, ни рокотом грозным
> Небо его запугать не могли, но, напротив, сильнее
> Духа решимость его побуждали к тому, чтобы крепкий
> Врат природы затвор он первый сломить устремился.
> Силою духа живой одержал он победу, и вышел
> Он далеко за пределы ограды огненной мира,
> По безграничным пройдя своей мыслью и духом пространствам.

Это еще до Рождества Христова. Это Лукреций Кар об Эпикуре. Видишь, как далеко в глубь веков, в глуби веков (Эпикур

— IV–III вв. до н. э., Лукреций — I в. до н. э.) мои идеалы коренятся… Даже не «идеалы», а просто символ веры. И даже не «веры», а миропонимания. Какая «перестройка» может это отнять или поколебать? Коленки у нее (у перестройки) слабы. «Мелко она ишо плавает…» Да и совсем даже не плавает, а так… на мелкой грязи руками машет. Только забрызгала грязью все вокруг, а дела-то пока не видно.

> Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.
>
> *А.С. Пушкин*
>
> В России развилась особая привычка к новым эрам в своей жизни, наклонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день не потонул под неизбежной тенью. Это предрассуждение от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности.
>
> *В.О. Ключевский*
>
> Я обвиняю не систему, а Человека.
>
> *Ромен Роллан*

Видишь, какая у меня компания? С кем я дружу, к кому прислушиваюсь? Какие нонешние брехуны и недоумки могут все это отнять или хотя бы поколебать?

А боготворимые тобой Пушкин с Толстым тоже ведь не безукоризненны. Особенно Толстой, когда под конец жизни он отрекался ото всего, сделанного в начале. В том числе от «Детства», «Отрочества», «Юности». Да безукоризненных людей нет, не было и быть не может! Потому что все они — люди. Не боги. А Пушкин не глупил? А смерть свою не своими руками организовал?.. Но мне и не нужна их безукоризненность. Я счастлив, что они — люди! Живые. Грешные. С глупостями, слабостями и недостатками. Но поднимавшиеся до таких высот! До таких прозрений! И — низкий поклон им за это. За то, что они со своими — повыше наших! — возможностями не под себя гребли, а для человечества, для «громады», для «опчества» потрудились. Явили нам примеры возможности человеческого существования. (Не животного.) Человеческого. Прекрасного, честного, завлекательного. Пусть не всей жизнью своей, пусть отдельными прорывами, но явили же примеры! Значит — можно!

По-людски. Не по-скотски. Оно и слаще. И совесть спокойнее. И интересней. Увлекательнее по-людски-то».

Господи!.. Да в этом ли дело? Какая разница: создал ли Кто все это или оно само… создалось, образовалось, синтезировалось, эволюционировало… Главное, что Оно — есть, и не знаю кому как, а мне дак смертельно жаль будет, если Оно все рухнет, испепелится, сгинет, взорвется, словом — исчезнет.

А мы сегодня, человечество, homo sapiensbi, как никогда близки к этому! И виной, причиной этой так страшно и явственно приблизившейся к нам, надвинувшейся на нас гибели является не кто-нибудь, не Бог, не дьявол во плоти или без плоти, а мы же, человечество, homo sapiensы, «Венец Творенья»… И если во главе, в начале всего стоит Бог, разум вселенский, так почему же у этого разума довольно-таки толково и продуманно все в мире, в природе — все замечательно, исключая область «Венца Творенья»? «Венец» таких мерзостей наворотил за несколько тысячелетий своего существования. И именем Божьим… И во имя справедливости, гуманизма, человеколюбия и всеобщего счастья. Мне бы на месте Творца и Создателя крайне неловко было за такой вот «Венец Творенья»…

Евсей Мошкин в «Доме» у Ф.А. Абрамова, умирая, последнее предсмертное желание еле слышно выдыхает: «Все хочу, чтобы у людей меньше зла было…» Да разве один Мошкин? А сам Абрамов? А Астафьев? А Горький, чуть ли не анафеме у нас сегодня уже преданный: «Злоба — это глупость», «Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему Медленно? Зато — прочно! Заглядывайте всюду ощупывайте все, будьте бесстрашны, но — не торопитесь осудить» («Мои университеты»), А Бетховен: «… живите мирно и помогайте друг другу… Внушайте вашим детям добродетель. Не деньги — лишь она одна может сделать человека счастливым» (из «Гейлигенштадтского завещания»), А Данте? Ну прямо «моральный кодекс строителя коммунизма»:

Бояться должно лишь того, в чем вред
Для ближнего таится сокровенный;
Иного, что страшило бы, — и нет.

(«Ад»)

А Гёте? Фучик?.. Да сколько еще хороших людей, неглупых, разных, далеких друг от друга и во времени, и в пространстве, — сколько еще добрых больших людей на ум, на доброту тщились

направить неразумное, злобное, эгоистичное, агрессивное, до боли любимое человечество? И безымянный Автор «Слова о полку Игореве», и… и…

Так откуда ж оно берется, зло это треклятое? Где родится? Произрастает? Сил набирает? А потом вон мир сокрушает. Хорошо верующим — у них нечистый во всем виноват. Дьявол. Сатана. А как нам, бедным, быть, атеистам? (Не один же я сегодня атеист остался? Еще хоть парочку сомысленников найду, чтоб иметь право говорить не «мне», а все-таки «нам, атеистам»?). И как нам быть: дьявола у нас нет, как и Бога, а зло-то — вон оно, того и гляди затопит и погубит все. Откуда оно?

Томмазо Кампанелла вон считал, что «себялюбие — корень главных зол». И очень я ему за эту мысль и формулировку благодарен, поскольку абсолютно разделяю ее, мысль. Самого Кампанеллу я не читал (а то уж шибко начитанный получаюсь, как бы кого в заблуждение не ввести), по телевидению слыхал. Очень я образование уважаю. Так вот, услыхал я это, и тут же в восторге, что не один я в эту сторону думаю, — записал в записную книжку. А думал я об этом много-много раньше. Вот запись в той же записной книжке, но от 3 декабря еще аж 1986 года; после выписанной из Монтеня цитаты:

> «… откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к Богу во всех наших намерениях и предприятиях… не заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания… взывать к имени Его и могуществу… во всяком деле, даже в самом порочном… Справедливость свою Он являет чаще, чем всемогущество, благодетельствуя нам в меру ее требований, а не согласно нашим просьбам»…
>
> *Монтень «Опыты, кн. I, гл. VI, «О молитвах».*

А дальше я себе думаю… Идо того тоже думал: откуда зло? Наши неправедные, порочные, несправедливые намерения и желания? На которые ведь иногда у нас хватает сил и без помощи Всемогущего? И они, эти намерения и желания, были примеры, случалось, — исполнялись! Приводились в исполнение! Не раз и не два! Так откуда же зло-то мировое, несправедливость? Откуда оно берется? А не из эгоизма, случаем? Не из его глупости и близорукости? Ну, глупость, положим, не только эгоизму свойственна, ее привилегии слегка пошире распространяются… Но все же ведь эгоизму-то она более присуща!»

Эгоизм не обязательно должен быть… индивидуальным, индивидуалистичным (?)… с терминами у меня неважно — в

общем, в единственном числе: только «Я», только для себя, только под себя. А почему не может быть эгоизма семейного, кланового, национального, классового? Чтобы мне, — стало быть, моим близким, моему клану, нации, классу было хорошо и сладко… И всем моим потребностям, желаниям (праведным, неправедным — неважно!), но чтоб всем моим похотям, всему, чего только похотелось и возжелалось — всему чтоб удовлетворение было! А какой ценой, за чей счет, ценой чьего-либо обнищания, обкрадывания кого-либо, ограбления, а то и ценой жизни чьей-то — это неважно. Это — наплевать. Лишь бы мне. «Лишь были б желуди, ведь я от них жирею…» Лишь бы мне. Мне и моим, которые вокруг меня.

А уж когда я в своих поисках и размышлениях на эту тему доехал до глупости, тут мне в поддержку мощной фалангой встал и тот же Монтень: «Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны». И Гете: «… Недомолвки и предубеждения больше вносят в мир смуты, чем коварство и злоба. Во всяком случае, последние встречаются гораздо реже». И Гольбах, цитируемый Г.В. Плехановым в лекциях «Материалистическое понимание истории», стало быть, разделявшим и исповедовавшим тот же взгляд на суть данного вопроса (и я-то всех их цитирую не для того, чтоб позадаваться, мол, какой я умный да начитанный, и записывал я все это в записные книжки в свое время не для выпендривания перед самим собой, а потому что очень как-то ложилось это все на душу, отвечало, формулировало то, что мне казалось истинным и верным). Так вот Гольбах: «Невежество, заблуждения, предрассудки, недостаток опыта, размышления и предвидения — вот действительный источник морального зла… История нам показывает, что в деле управления народы всегда были жертвами своего невежества, своего неблагоразумия, своей доверчивости, своего панического страха и, в особенности, темпераментов тех, кто умел подчинять себе толпу. Подобно больным, которые беспрестанно ворочаются в своих постелях, не находя себе удобного положения, народы часто меняли форму правления, но никогда не было у них ни сил, ни способности преобразовать сущность, добраться до действительных источников своих зол, и они постоянно бросались в противоположные крайности под властью слепых страстей». Ну и сам я, ободренный такой солидной поддержкой столь уважаемой компании, чтобы как-то поддержать беседу и свою формулировку, свое скромное «открытие» (истинность которого представляется мне бесспорной)

решился вставить: «Из всех богов, из всех идолов самый кровожадный, самый жестокий, самый ненасытный — человеческая темнота и глупость! — я сказал». И записал 7 июня 1987-го в Москве, в беседе с дочерью.

Стало быть, зло-то, враг-то наш, человечества, страшнейший — совсем близко! И сколько бы мы его ни выискивали и ни уничтожали — мы никак окончательно уничтожить его не можем. Даже задеть, повредить ему не можем, потому что он еще ближе, еще замаскированней, чем самый близкий, самый коварный, самый хитрый враг: этот недосягаемый, неуязвимый враг находится не где-то вне, а внутри нас! И он — это наша темнота, глупость, необразованность, некомпетентность или, по Гольбаху: «невежество, заблуждения, предрассудки, недостаток опыта, размышления и предвидения», а от них и подозрительность к окружающим, а затем и недоверие, а уж там недалеко и до непримиримости, агрессивности и жестокости.

И ведь, как бороться с этим жутким врагом, давным-давно известно, но… Этот жуткий и коварный враг постоянно отводит наш праведный гнев и направляемые им удары прямо-таки с бесовской хитростью и увертливостью: не просто отводит, а переводит их и сокрушает ими как раз тех, кто ему, врагу нашему, всего опасней и гибельней — на умных, знающих, образованных, компетентных, интеллигентных… Вот мы генофонд-то наш и уничтожили почти. А что не уничтожили, то разогнали. И — сидим. И опять — врагов ищем! вовне! А так недолго ведь доискаться до новой гражданской войны… И опять — дружка дружку перебьем, реки и моря крови пустим, а врага, истинного врага при том даже не заденем, даже не оцарапаем. А избыть, изжить, истомить, измотать этого страшнейшего врага нашего можно только одним путем… Долгим. Страшно долгим, но единственно возможным. Бесконечно долгим, но зато прочным, надежным: про-све-ще-ни-ем!! А к чему, не уставая, не отчаиваясь, не смущаясь кажущейся неподъемностью задачи звали Русь светочи ее, заботники, радетели, великолюбы и великотруженники наши? Начиная с Нестора-летописца и предшественников его и с «Поучения» Владимира Мономаха. Да к нему же, к просвещению. К свету! И Сергий Радонежский: «Любовью и единением спасемся». И Андрей Рублев… И Михайло Ломоносов… И Пушкин Александр Сергеевич: «Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» («Капитанская дочка»).

Да и Ульянов-Ленин Владимир Ильич не завещал, не умолял,

не заклинал разве соотечественников, соплеменников: «Учиться! Учиться! Учиться!»?

А мы что? Нам — что Владимир Мономах, что Владимир Ульянов… Даже и поговорочку в самые последние, «новейшие» времена приспособили: нам что бы ни делать, лишь бы ничего не делать… Вот и сидим. Свои мозги— кои повыбили, коих повыгнали… Теперь ждем помощи от «благодетелей» из-за бугра. Ждем, кто бы добрый, мудрый и справедливый явился «княжить и володети нами»… Избрали вон двух лидеров себе — «и не бъ в нихъ правды». Того и гляди «воевати» почнем «сами на ся»… Южная Корея вон сообразила: бросила все силы на образование, и — гляди-ка — получилось! Не сразу, не вдруг, лет через 10, через 15, но получилось же! А может, и нам сообразить наконец? Успокоиться. Угомониться. И взяться потихонечку за учебу. Без восторгов. Без проклятий. Без эйфории, без экзальтации. Спокойно, по-деловому. Самим сперва сообразить что к чему. А сообразивши — и детей начать учить. А то ведь стыдно! Бисмарк вон когда-то считал, что только дурак учится на своих ошибках, а умный — на чужих. А мы и на своих не учимся! Уныло повторяем их из века в век… Может, хватит?

По сусекам дневников и записных книжек

1962 год, 25 июля.

Два года, как училище, наконец, закончил, возраст — 25 лет, а себя все еще не нашел… Да и сегодня-то — нашел ли? — с полной уверенностью сказать не могу…)

«Госсподи, господи, господи…

Мысль-то какая вдруг в меня вошла: ведь никогда нигде не чувствовал я себя так легко, просто, свободно, понятно и… не никчемно, как в Казахстане! На простом люду (среди простых людей). В Калининграде с моряками на смоленых, знойных, обласканных солнцем досках причала… (Э.Г. Кеосаян и «Мосфильм» снимали «Где ты теперь, Максим?»). Где-то, где-то с простыми… по-простому… Никогда я там чужим не был. И там я обретал спокойствие и уверенность. И на искусство-то я гляжу откуда-то оттуда, а не из своих «искусственных» рядов. И на хрена мне вся сложность и борьба в моем сегодняшнем мире без того, понятного и родного?.. Трудно, но пришел же я раз в него. Из Москвы в Колутон! (Северный Казахстан). Через страх перед холодом, одиночеством, бездомностью, но — пришел! И попал в точку! Хорошо мне было, и хотелось остаться. Хотелось остаться там… Ушел почему-то…, сбежал, изменил. Как-то бы поумней вернуться

туда… В Сибирь, в мостостроительство…

Это не чушь! Где-то я все около своей «жилы» толкаюсь: то с одного боку совсем близко подлезу, то с другого чуть не зацеплю, не врежусь в нее, но… все еще никак! Не попаду. Но где-то здесь она, «жила» моя, близко, должен я ее в конце концов настигнуть, тем более, что она гораздо проще и скромней, чем казалось в юношестве…

Кое-что по поводу «Маленькой Веры», или Мой злосчастный триумф

Это не я выдумал, насчет «триумфа»-то, к тому же и «злосчастного». Это мне редактор издательства «Искусство» Лариса Даутовна Ягункова подсказала. Сам-то с собой наедине, в душе, без свидетелей, в темной звуконепроницаемой комнате применить к себе это слово — «триумф» — я бы очень сильно постеснялся и ни за что бы не посмел. Тем более что никаким «триумфом» я это и не ощущаю. Но некоторые вот применяют. И не просто «некоторые», а редакторы, киноведы…

Кстати, название этой книги «Только не о кино» я принял по совету и настоянию той же Ларисы Даутовны. У меня были варианты: «О том, как жил, во что верил, чему служил и в чем мне сегодня каяться…». Вон как длинно, хотя в общем-то и верно, и отражает…

Ну что мне о нем, о кино, говорить? Я работал, делал его, насколько хватало силенок и разумения, а говорить… Это уж пусть другие говорят, если там есть, по поводу сделанного мною, о чем говорить. А если не о чем — так что ж и говорить?.. Как я «лепил», «вынашивал», «создавал» тот или иной «образ»?.. Это если он еще получился, образ-то. Вон Николай Сергеевич Плотников, вахтанговец, народный артист СССР, на вопрос, сколько он за свою жизнь ролей сыграл, отвечал, что ролей, наверно, не менее двухсот, а то и больше, а сколько из этих двухсот получилось образов — дал бы Бог, чтоб хоть 19… Это — Плотников!

А потом, действительно, ну что можно сказать о сделанной работе? Еще Н.Г. Гарин-Михайловский очень точно подметил, что «художественная форма очень капризная вещь: удается не то, что хочешь, а то, что выходит». Ну, буду я перебирать все «мечты», «планы», «пласты», которые я собирался, которые мне хотелось, вожделелось отразить, проявить, воплотить в моей работе, а они не отразились, не проявились, не воплотились. Почему? А Бог их ведает. А проявилось и воплотилось вдруг то, о чем ни мысли, ни намека, ни подозрения ни в голове, ни в душе не было. Хорошо это или плохо? Это природа творчества, очень верно подмеченная Гариным-Михайловским. Так что и здесь говорить мне, во всяком случае, не о чем. Но вот подсказывают и даже настаивают со стороны: «Ну как же! «Маленькая Вера»! Этот Ваш злосчастный триумф… С чего началось? Как попал в эту компанию? От чего они шли? С кем было хорошо и с кем плохо на съемках? Что

можно было выжать из этой роли и что удалось сделать?..» Вот так вот прямо наплевать на все эти «настаивания» и пожелания?

Итак, «мой злосчастный триумф»… О чем же все-таки я мог бы поговорить в связи с «Маленькой Верой»?.. Нравятся мне вот тоже всякие парадоксы. И не только потому, что «гений — парадоксов друг», а потому что парадокс — это всегда интересно! Это всегда — загадка! Есть над чем мозги поломать! Не заснешь, не скиснут мозги! Недаром, наверно, гений-то с ними в дружбе, с парадоксами. А парадоксы «Маленькой Вере» сопутствовали. И не один.

Ну разве не парадоксален вот такой, к примеру, отзыв о картине (один из самых драгоценных для меня), который я получил в Хабаровске. Закончился показ фильма в одном из кинотеатров — это еще задолго до выхода фильма в прокате, когда мы со студийной копией ездили по стране и собирали мнения: нужен фильм зрителям или нет. Закончился фильм, выходят зрители, и мы тут стоим, Люда Зайцева, Саша Негреба, ждем, пока перемотают пленку, которую мы возим с собой: мы при ней, при картине, она при нас. Тихий вечер, у нас впереди еще работа, выступление, а то и два, перед фильмом и после. Расходятся люди. Мы стоим, ждем — когда принесут коробки с картиной, посадят нас в машину и повезут. И вот отделяется от толпы один мужик. Здоровый. Покрупнее меня, а может, и тогда постарше. Подходит ко мне (к другим тоже подходили, к актерам, членам группы, но этот подошел ко мне), берет меня за руку около локтя и говорит: «Спасибо вам! Вот так нас и нужно: мордой об стол! У меня уже был один инфаркт, боюсь, как бы сейчас второго не было… большое вам спасибо!»

Вот так вот: «боюсь, как бы сейчас повторного инфаркта не было…». И— «так и надо нас, мордой об стол!», и — «Большое вам спасибо!».

Выше этой похвалы за все 30 лет работы в кинематографе я ничего никогда не слыхал.

И в то же время «Маленькая Вера» — единственный на моей памяти фильм, за который когда меня (и нас!) хвалили, я принимал это; вроде было за что похвалить; кое-что удалось, получилось… Удалось вроде, если говорить словами Гарина-Михайловского, не только то, что вышло, но даже и кое-что из того, что хотелось. Хотя не все, что хотелось. Кое-что из того, что хотелось, таки не получилось, к примеру, сцена на пляже под дождем: там не один только «папа» должен был находить, спасать и согревать «Верку» под проржавевшим катером, там и «мама» с «Витей» прибегали с брезентом, и хотелось, чтоб все они, вся семья, соединялись, спасая свою непутевую Верку, и сами около

нее спасались бы в любви, в заботе друг о друге, несуразные, бесприютные, бестолковые, несчастные, неумелые, но любящие друг дружку, заботящиеся, как умеют, друг о друге… Не вышло… Визуально не получилось. Мысль, идея была, и снято было, но — на экране не прозвучало, не получилось, пришлось выкинуть. Но кое-что получилось, было за что и похвалить, принимал я похвалы с чистой совестью, не так, как за иной фильм: хвалят тебя, распинаются, а ты улыбаешься, вроде принимаешь эти похвалы с благодарностью, а про себя-то знаешь: ну, пой, ласточка, пой, хвали, не буду же я в благодарность за твою похвалу объяснять тебе, что не за что нас тут хвалить, что просто вкус у Вас, уважаемый хвалитель, прихрамывает и весьма. Нет, здесь к хвалившим за «Маленькую Веру» такого снисходительно-пренебрежительного отношения не было, тут вроде было за что и похвалить.

Но вот когда картину ругали, костерили ее на чем свет стоит — я и это понимал. И принимал!.. Вот такого со мной никогда за все годы в кинематографе не было.

Ругали когда-то и «Андрея Рублева», и громко, страстно, убежденно. И я слишком не спорил. Нет, мнения своего не скрывал, высказывал, но не распинался, не убивался за него: не нравится? Ну и Бог с вами, я-то знаю истинную цену нашему «Рублеву», кто бы и что о нем ни говорил. Я не спорил с ругавшими, но не соглашался с ними, как не соглашался порой и с хвалившими ту или иную не стоящую похвал, неважную работу. А с «Верой» в первый, а может, и в последний раз в жизни я принимал, соглашался всей душой с хвалившими картину — и так же всей душой принимал, понимал, соглашался с ругавшими ее. Если хотите — тоже парадокс. Потом я нашел сам для себя какую-то примиряющую форму объяснения этого своего ощущения: первым делом я сказал сам себе, а потом и зрителям на выступлениях, что понятия «нравится», «не нравится» к нашему фильму не применимы. А потом и уточнил это положение уже в разговорах со зрителями двумя вопросами:

— Правда — все то, что вы видели на экране?

— Да-а!.. Правда!

— Нравится вам эта правда?

— Нет.

Не забуду одну зрительницу в Ленинграде в какой-то несуразной шляпе-берете, в каком-то бордовом платье чуть ли не из панбархата. Когда представители киноклуба, организовавшего данную встречу, чтоб «свою образованность показать», затеяли какие-то даже нам, создателям фильма и вроде бы профессионалам, непонятные разборы-переборы по поводу

«монтажа фильма», вдруг встала эта, в бордовом и в шляпе-берете, и чуть не с рыданиями, вырвавшимися из души, простонала: «Господи! Да какой там: монтаж, не монтаж… Жить-то как?!»

Вот этой женщине на этот самый главный вопрос мы нашим фильмом не ответили. И мне стыдно перед ней. Хабаровский мой мужик, «если второго инфаркта» не будет, разберется. Он — мужик. И он был благодарен, что с ним не сюсюкали, не «вешали лапшу на уши», не утешали сладкой ложью, а показали всю страшную правду.

И он приветствовал это: «Вот так и нужно нас, мордой об стол!» И благодарил за это. Но на то он и мужик. А тут — женщина. А в зрительных залах у нас, несмотря на чуть не вековую уже эмансипацию, все-таки не все еще мужики. Попадается все же и слабый пол. Тут разграничения, правда, не четки: бывает и в юбке — мужик, и в штанах — баба, но все-таки есть, есть у нас еще и слабый пол, и возраст слабый бывает, не сформировавшийся еще, не окрепший, и вот им-то, слабым или еще не окрепшим, им не всегда может оказаться на пользу жестокая, беспощадная правда. Им бы все-таки отдушинку! Пусть небольшую, ни в коей мере не в ущерб правде, но все-таки отдушинку. С ответом! С примером. С ответом на вопрос: «Как жить?» А ведь я же знаю, как жить. Да и все мы, создатели, знаем — это по частной, личной жизни каждого видно. Жить надо по-человечески. И жить можно по-человечески! И это вовсе не скучно, не пресно! А мы в фильме об этом промолчали…

Жить надо по-людски. Людьми становиться. Учиться слушать. И слышать. И детей, и стариков, и друг друга. Мужу слушать и слышать жену, и жене — мужа. Учиться взаимопониманию, взаимоуважению. Это в день не делается. «Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день» (Ч. Айтматов, «Плаха»), Истинно! Это труд всей нашей жизни. Но иного пути нет. Только став сам человеком, сможешь другого человека понять. А в стремлении понять другого — только в искреннем, истовом стремлении! — ив работе душевной по этому распознаванию, «пониманию» другого, в труде ежедневном, упорном, направленном не вовнутрь себя, а вовне, на другого, чтобы понять его, — в этой работе и сам человеком станешь. Это взаимосвязано. И это прекрасно. Хотя и адски трудно. Тот же Айтматов: «Как трудно рождалось в человеке человеческое…» Но зато этот труд и колоссальные радости приносит! Какие не снились никакому самому изысканному, самому утонченнейшему, самому рафинированному эгоисту, себялюбу.

И ведь в истории культуры, искусства, литературы, театра да

и кино сколько примеров этому! «Ромео и Джульетта» Шекспира — разве там меньше правды, чем в «Маленькой Вере»? Правды жесткой, страшной, жестокой?

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.

Кровопролитья! Это ли не дурь, не глупость? Кровавая, беспощадная, бессмысленная… Никто уже не помнит за что, но истово режут друг друга! Представители этих «равноуважаемых семей», родственники, друзья, близкие, далекие и даже слуги! Зачем? Почему? Не знают. Не ответят. Но — режут. Намного это светлее и приятнее нашей сегодняшней темноты и дурости, вроде не без правдивости показанных в «Маленькой Вере»? Но…

Там, у Шекспира, рядом с этой уходящей корнями в глубь веков дуростью, рядом с ней — яркий свет! Родившийся в ней, выросший и проросший из нее, из вековой дурости, но могучий, яркий свет любви и просвещения в лице этих детей, Ромео и Джульетты. Свет, убитый этой дуростью, но такой светлый, такой неотразимо влекущий и прекрасный. История трагичней и страшней «Веры»: сколько погибших там. Юных, прекрасных: Меркуцио, Парис и даже Тибальт, не говоря уже о героях. В «Вере» всего-навсего один папа окочурился. Кстати, ради этого только я и согласился сниматься в этой «чернухе»: папа ведь вроде больше всех дурил и даже ножичком махал, — а сердце-то не выдержало прежде всех у папы. Стало быть, дурил он не из любви к дурости, не из желания подурить, а потому, что просто иначе не умел. Папина дурость — не вина его, а беда. И достоин папа не только осуждения, но и сочувствия, жалости. Одна зрительница из Одессы написала на телевидение, что благодарит создателей фильма за то, что тема русского пьянства показана не свысока, не с презрительным осуждением, открещиванием от него, высмеиванием и отчуждением, а — с болью. А я благодарен и судьбе за то, что получилось у нас вот эта боль, и благодарен этой зрительнице из Одессы, что она эту нашу боль за наших родных темных дураков увидела и отметила. Если бы в сценарии и в планах режиссера тема боли во всей этой истории отсутствовала, я сниматься не согласился бы. Кстати, тут же, кроме поклона и благодарности судьбе и зрительнице из Одессы, наверно, еще более низкий поклон и признательная благодарность авторам фильма Маше Хмелик и Васе Пичулу, сценаристу и режиссеру, которые мне в дети сгодились бы (Вася всего на год старше моего

сына) и которые, невзирая на традиционные и чуть ли уже не обязательные сегодня непонимание и «конфронтацию» «отцов и детей», — поняли, услышали и не только отдали должное, но и сделали все для того, чтобы тема боли прозвучала, хотя эта тема вовсе не молодежная, тема преимущественно «отцовская», стариковская. Маша, Вася, ребятки, примите принародно мое восторженное удивление, глубочайшую признательность, и благодарность, и низкий поклон!

Я немножко отвлекся от «Ромео и Джульетты»…

А не слишком ли я нахально сравниваю Шекспира с Машей Хмелик, «Ромео и Джульетту» с «Маленькой Верой»?.. А почему я не могу сравнивать? Шекспиру не грозит унижение, его не унизишь, как бы низко и недостойно ни было что-либо, сравниваемое с ним; а почему не заслуживает «Маленькая Вера» чести быть сравниваемой с самыми высокими образцами? И еще неизвестно, что произвело больший шум и общественный резонанс при своем появлении: «Ромео и Джульетта» в Англии в театральный сезон 1594–1595 года или «Маленькая Вера» несколько лет тому назад у нас, да и даже в мире…

Так я о «Ромео и Джульетте». Шекспировская история намного трагичнее, беспросветнее, ужаснее, кровавее «Веры», но за все скоро четыреста лет, в течение которых человечество общается с этой историей, я не слыхал, чтоб у кого-то когда-то после общения, т. е. после просмотра на сцене или прочтения, возник бы вопрос, так больно и безответно прозвучавший в одном из ленинградских кинозалов после просмотра «Маленькой Веры»: «Жить-то как??» А у нас прозвучал…

Не скрывая, не замазывая, не вуалируя все ужасы средневековой правды человеческих взаимоотношений, Шекспир давал и ответ на вопрос «как жить?». Давал ответ образами своих пронзительно-трогательных, возбуждавших у зрителя чувство самой глубокой, сильной, нежной и светлой любви, любви, которая может быть сравниваема с любовью к близкому, живому, родному человеку, — вот образами этих своих прекрасных, живых светлых детей, детей Возрождения, детей просвещения, — вот их образами Шекспир давал ответ на вопрос: «как жить?» Вот так и жить, людьми становиться, человеками, даже если ты рожден в беспросветном мраке средневековья, во мраке бездумных, животных, остервенелых, неосмысленных отношений. Иного пути нет. Кроме этих погибших детей, кроме светлого погибшего Меркуцио, в шекспировской истории есть еще один скромный, незаметный, слегка в тени герой, который тихим примером своей жизни тоже отвечает на вопрос «как жить?» — это брат Лоренцо, монах, ученый, просвещенный, стало быть, опять же человек

милосердный, разумный, гуманный. Пытавшийся спасти детей от озверелой «принципиальности» окружавшего их массового идиотизма… Ну — не вышло! Окружающие мрак и идиотизм оказались сильнее, многочисленнее. Они получили-таки свою жертву! Да не одну! И тем не менее образ брата Лоренцо тоже не оставляет безответным вопрос «как жить?». А мы, на 400 лет позже — ну, правда, в другой стране — после того как было на весь мир отвечено и наглядно продемонстрировано «как жить», — мы, наше искусство (я о «Маленькой Вере»), умудряемся оставлять такие вопросы без ответа. Только — «мордой об стол». Ну, это мы всегда могли…

Да и не только Шекспир. И не только 400 лет назад. Отвечали на эти вопросы и задолго-задолго до того, и много-много после… Да и у нас: Горький хотя бы, Николай Островский, А.С. Макаренко, Шолохов, Платонов… А Астафьев, Абрамов? А Шергин, Бажов?… Д.А. Быстролетов. Да опять, разве всех перечислишь? Да вся классика, и наша, и мировая, только тем и занималась, что веками отвечала на эти вопросы: «как жить?» Правда, не все их слышали и усваивали, ответы-то на эти вопросы. Если бы все слышали да усваивали, давно бы рай на земле наступил, коммунизм, Царствие Божие, а у нас… Вон сегодня, я уже слыхал, самые «умные», самые решительные, авангардные, так сказать, головы добрались до главных причин, до главных виновников наших сегодняшних российских зол и бед: оказывается, во всем русская классическая литература виновата(!!!). Ну как же? Ведь это все эти… Белинские да Гоголи, Щедрины, Толстые, Островские (А.Н.) все возмущались и протестовали против «темных царств», сотрясали «устои», чем и подготовили почву для большевизма и для 1917 года… Ведь если бы не они — никакого 1917 года не было бы! Все бы у нас сейчас было прекрасно! Почти как в Америке или в Японии! Действительно, тут авангардисты наши проявляют и недюжинный ум, и прозорливость, и проницательность… Единственное, в чем им придется отказать, так это в оригинальности: не первые они на этом славном пути, трохы спизнилысь, как выражаются у нас в ближнем зарубежье; точно не помню, но не то Фамусов, не то Скалозуб уже этот рецепт выписывали:

> … чтобы зло пресечь,
> Собрать бы книги все да сжечь!

Опять меня слегка от темы отнесло… А разве Тарковский «Андреем Рублевым» не отвечает на вопрос «как жить»? И правды, и ужасов, и мрака невежества в «Рублеве» не меньше, чем в

«Маленькой Вере», только осмысление — глубже. И картина — шире. Правды и ужасов не меньше, если не больше; только рядом с ними, с мраком и ужасами, из них и сквозь них опять же — какой свет! Сколько света! И Рублев с Даниилом, и Феофан, и Бориска… И даже Кирилл! И мрак в нем, в Кирилле: и зависть, и злоба, но и какой же свет! Свет, побеждающий и зависть, и злобу, и эгоистическую обиду на судьбу за собственную бездарность; свет побуждающий, толкающий его, Кирилла, не дать Рублеву остаться верным данному «обету молчания» и тем самым унести с собой в могилу свой божественный дар, а заставить, подвигнуть Рублева нарушить «молчание» и идти «в Троицу» (Троице-Сергиеву лавру), и писать, служить: «Не Никону, Богу!» А стало быть, людям!

А дурочка? Разве мрак? Милосердие, понимание человека, принимание его, принятие, приятие, любовь к нему, к человеку. Не отторжение, не отчуждение. А это ли не свет?!

Да нет, есть же… Есть и у нас в «Вере» любовь! Есть… И мама, и папа своих и Верку, и Витю любят. Не умеют? Да. Но любят же! А Верка разве не любит своего нескладного папу? Не валандается с ним, с пьяным старым придурком? Да и с Сережей у Веры отношения тоже не без любви. Но — мало… Все равно, человеческого, людского у наших героев — у всех — мало. Мало для ответа на вопрос «как жить?». Так мне кажется, таково мое ощущение.

«О родина моя! В каком темном невежестве ты еще пребываешь!..» — сокрушался когда-то Стендаль о своей родине, о любезной Франции, где-то около 1830 года. Не видал он нашей родины полтора столетия спустя. Интересно, какие вопли из просвещенной души великого француза исторгла бы сегодня наша… «светло-светлая и украсно украшенная земля Русская»…

Опять я скатился на больную «любимую» тему? А может, в этом как раз и сказывается стройность и цельность души моей, которую я пытаюсь «рассказать»?.. Что ж поделаешь… И душа, и ее вечная тема постоянно со мною. Никуда мне от них не деться.

Из записных книжек

Москва, ночь, 1 час 40 минут 29 декабря 1993.

Хорошие ребята Вася Пичул и К°, талантливые, честные, разумные, порядочные. Объективные. Вроде бы… А философия-то у них, мировосприятие, мироощущение — иждивенческие: кто-то им должен был сделать так, а сделали не так. Но — кто-то! Для них. Не угадали. Не угодили. Поэтому они мстят. Городу… Стране,

системе… Т.Е. Парфенцевой (родственница моя дальняя в Жданове-Мариуполе, где снимали «Веру») никто ничего не должен был (она чуть постарше меня, поколение «молодогвардейцев» примерно). Она сама и горе в оккупации хлебала, вместе с городом (с тем самым, которому молодежь «мстила» потом) и с народом. И счастье знала! С народом! И потому — любит! И город свой, и юность свою и страны, наверно. Может, потому, что им, их поколению, врали меньше?.. Ведь с течением времени ложь становилась круче, наглей, непролазней. И ложь непролазней, да и детки-то балованней. Вот иждивенчество-то и развелось (от «разведения»), И развилось («развитие»)… Те поколения сами были и трудяги, и хозяева (и жизни своей, и страны). А позже — баре пошли: все им кто-то что-то должен, все им что-то не так. Ох, не правы вы, ребятушки, мне, старику, кажется…

Маяковский и наша «перестройка» сознания и истории

Я никогда не любил Маяковского. Нет, не ненавидел, просто не любил, не обожал, не упивался им. Ну, бывали моменты в юности, когда его хлесткость, афористичность, напор, непременное противопоставление себя — решительного, смелого, справедливого, праведного — всему окружающему, тупому, корыстному, мелкому, ханжескому, — заражали, увлекали. Даже подражать пытался, где-то в дневнике что-то пробовал «лесенкой» (!), с неординарной (как самому казалось) рифмой. Но в общем-то не любил. Особенно первоначальные юные опусы. С заумью, выламыванием, легким (а то и не легким!) хамством. Мне всегда все-таки нравились ясность, простота, красота, доброта, а не:

А вы
Ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб?..

Но мало ли кому что нравится… Друзья вон мои, особенно где-то в 10-м классе, упивались, восторгались Маяковским: и вдохновенные школьные сочинения по нему на пятерки писали, и со сцены читали и играли (отрывки из «Бани»), и фотографировались «под Маяковского»: руки в карманы, челюсть вперед, прическу на лоб, в углу губ — окурок! Да знавал я и позже солидных, вполне уважаемых людей, которые ценили и обожали как раз раннего Маяковского:

Вошла ты,
Резкая, как «нате!»,
Муча перчатки замш,
Сказала:
«Знаете —
Я выхожу замуж…»

А позднего, наоборот, не уважали и не любили… У меня, к примеру, к Достоевскому масса претензий, а 71.Н. Толстому вон В. Шекспир чем-то не угодил… Ну и что? На то оно и искусство, а не правящая идеология. Любая. Хоть христианская в свое время, хоть «марксистская», хоть еще какая иная, но — правящая! Где:

либо — либо. Либо исповедуй — хоть ври, хоть прикинься исповедующим! А не то — накажут. А то и до смерти. В искусстве все-таки полегче: свобода, свободный выбор. Как ни не устраивал гения Льва Толстого гений Вильям Шекспир — это никогда ни для кого не стало поводом усомниться в бесспорной гениальности того или другого. Так же и у меня: мое небезоговорочное приятие Достоевского ни на секунду не подвигало меня усомниться в его гениальности и бесспорной принадлежности к классике. Да, гений, да, классик, но не столь боготворимый и обожаемый мною, как Пушкин, скажем… Или Некрасов. Хотя и к тому, и к другому у меня тоже есть свои претензии. Особенно к Некрасову… Да может, оттого-то он, Некрасов, еще больнее, еще пронзительней любим, что эти претензии у него у самого к себе были! И он сознавал это. И не скрывал.

Читал у нас в Щукинском училище во времена моего там учения русскую литературу П.И. Новицкий, очень серьезный специалист, автор многих трудов, книг, в частности великолепной, по-моему, монографии о Б.В. Щукине. Так вот, считал наш Павел Иванович, что иногда писать стихи, т. е. выражать себя возвышенной ритмованной речью (стихи когда-то начинались с ритма, да и сегодня белые стихи еще встречаются… рифма украсила их гораздо позже), должен временами всякий нормальный человек и что это вовсе еще не свидетельствует о присутствии поэтического дара. Поэт в понимании П.И. Новицкого — это пророк, провидец, мудрец, а не просто ритмический рифмоплет. Рифмоплетение доступно всякому, пророчество, провидение — далеко-далеко не всем. И вот с таких строгих и высоких позиций глядючи, считал наш П.И. Новицкий, что в России было семь великих поэтов, только семь отвечающих самым высоким требованиям. Остальные, которым имя легион — помельче. Великих — семь. Это в порядке хронологии: Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, А.А. Блок и В.В. Маяковский.

Да, думаю, не один только наш П.И. Новицкий высоко ценил Маяковского. И были, и найдется, вероятно, еще немало безоговорочно причисляющих Владимира Владимировича к сонму самых крупных фигур в отечественной поэзии. Да и в мировой тоже. Нет, изящнейших, искреннейших, изощреннейших, изысканнейших поэтов у нас было… у-у-у, сколько! — в глазах зарябит от одного только перечисления. Но чтоб в такую вот семерку попасть, надо, наверно, что-то услыхать, что-то учуять, что-то такое угадать, понять и поведать, открыть людям, что недоступно самым блестящим, самым выдающимся, самым, как говорится, стихослагателям Божьей милостью, Божьим

соизволением… Я.М. Смоленский, преподававший нам в Щукинском «художественное слово», тоже предъявлял поэтам — истинным, великим Поэтам своей страны, своего времени, своей эпохи немалые требования; он считал, что истинный, большой, великий поэт обязан слышать… и просто — *слышит время.*

В общем, не знаю, потому ли или еще почему, но в преддверии отмененного праздника (праздника Великой Октябрьской социалистической революции, как когда-то это писалось…) — вспомнился мне почему-то «ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный»… Захотелось мне взглянуть и освежить в памяти, с чего же и отчего ему было так «Хорошо!» где-то в районе 1927 года, к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции?

Заглянул:
На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце моё,
уверен
и весел,
горд
и торжествен…
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один…
Ночь —
и на головы нам
луна…
Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны

и тверже
и злей,
как нагроможденные книги, — его
Мавзолей…
Кто костьми,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись…
А то
и пепла нет.
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите…
Ваша

подросток-страна с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.
И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!
В мире
насилья и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину
не свила?
Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише…
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,

штыки ощетинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

И встали в 1941-м! И спасли! И защитили! И себя, и мир!.. Но вот дальше… тут Владимир Владимирович не угадал маленько. Нет, 60 лет, худо-бедно угадывал, а через 60 — не выдержал, «фраернулся», как нынче выражаются, дал маху, ошибся… Даром, что если уж Поэт, да еще и великий, обязан был быть пророком и провидцем — не вышло! Всего 60 лет прорек и провидел, а дальше — оборвалось. Недопровидел… Но это уже к концу поэмы, пророчества-то свои эмоционально-заразительные и, вроде как, неопровержимые (ну, это ему, ассенизатору и водовозу, казалось, что они неопровержимы, пророчества-то; когда идут из могил под Кремлевской стеной! А тут… когда столько еще могил потревожили…). Бог с ними, с пророчествами. Там кое-какие свидетельства времени имеются. И свидетельства, которые подтверждаются и другими свидетелями, на мой взгляд, вполне заслуживающими и вызывающими доверие.

Хорошо бы, конечно, свидетеля взять понейтральней, не прокоммунистического, а поспокойней, со стороны… Ну а чем не свидетель Б.В. Савинков? Не просто нейтральный, а даже враг! В свое время лютый!

Борис Викторович Савинков… В «Советском энциклопедическом словаре» (1984) о Савинкове вот что: «Бор. Викт. (1879–1925), с 1903 эсер, один из рук. «Боевой орг-ции», организатор мн. террористич. актов. Во Врем. Пр-ве товарищ воен. министра. Рук. антисов. заговоров и контррев. мятежей. Белоэмигрант. Выступал (под псевд. В. Ропшин) как автор стихотв. и прозаич. произв. (повести, ром. «То, чего не было», 1914). Арестован в 1924 при переходе сов. границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством».

Возможно, тут не все точно. И, уж конечно, не полно.

Сперва очень недолго побыл социал-демократом, но нетерпеливая, деятельная натура его не выдержала кропотливой занудной постепенной пропагандистской и прочей «эсдековской» работы: он не только «один из рук. «Боевой орг-ции», но и вдохновитель, и идеолог террора. Он организовал убийства шефа корпуса жандармов В.К. Плеве, великого князя Сергея Александровича. Очень терзало и мучило его сознание «невыполненности своего долга перед русским террором» — это сперва, что не удалось убийство Императора Николая II (что

замечательно удалось в 1918-м в Екатеринбурге местным большевикам), а затем не удалось убийство В.И. Ленина. Все это в свое время было в планах, но не все планы и не всегда удается выполнить…

После убийства великого князя Сергея Александровича схвачен царской охранкой (где-то в Севастополе) и приговорен к смерти. За день (!) перед приведением приговора в исполнение бежит (тоже пример неисполнения планов, теперь у охранки). И в такой момент, когда его репутация (как боевика-террориста и героя) и политическая карьера (как вдохновителя, блестящего организатора и исполнителя), а вместе со всем этим и сама идея террора — когда все это находилось, казалось бы, в наивысшей своей, победной, триумфальной точке, в такой момент он вдруг разочаровывается в терроре и порывает с ним (возвращается потом неоднократно к практике, но с уверенностью в идее и с «Боевой организацией» рвет навсегда).

Везде и всегда, и в литературных произведениях, и в показаниях суду, он подчеркивает, что единственной и главной целью его деятельности было «ревностное служение к пользе отечества и интересам русского народа». И уж куда только эта «ревностность» его не заносила!.. И в террор, и во вдохновителя Белого движения, в организаторы и создатели Добровольческой белой армии, в руководители заговоров и мятежей, в белоэмиграцию, откуда (из Парижа! Чего ему там не хватало?!) в 1922–1923 гг. он волком воет, криком кричит: «Хоть на помойку, но в Россию!». И — вернулся. Не особенно заботясь, истинно ли возрождается в России «движение за Россию», как ему сообщили, или это провокация, мистификация органов безопасности. А это была мистификация. Грандиозная. Колоссальная. И его взяли. На границе. Неизвестно, стоили ли грандиозность и затраты на эту мистификацию цели захвата одного Савинкова… А может, и стоили! Ибо из тюрьмы он обратился ко всем за рубежом, кто еще лелеял мысль огнем и мечом «спасать» Россию, с призывом: не делать этого. Оставить Россию в покое, не пытать ее больше ни огнем, ни мечом. Не «спасать». Не губить. Не лить кровь русскую.

А слово его имело вес в тех кругах, к которым он обращался. Да, наверно, был какой-то и результат.

Так вот Б.В. Савинков в письме к сестре Вере Мягковой, в последнем письме от 28 апреля 1925 года писал: «Знаю твердо, что эмиграция ничего не понимает в происходящем в России и что большевики на верном пути. Россия идет в гору, а не катится вниз, как утверждают эмигранты, как утверждал и я. И сделали это не мы, не Милюковы и Керенские, а большевики. Вот главное, остальное— детали»… Идеологизированная подтасовка?

Фальсификация? Вранье? А вот из покаяния «Почему я признал советскую власть»: «Я боролся с большевиками с октября 1917 года… Я признал советскую власть, которая выдержала блокаду, гражданскую войну и поволжский голод. Это жизнеспособная и крепкая власть. Все мы знаем, что эмиграция — болото. Для «низов» — болото горя и нищеты, для «верхов» — болото праздности, честолюбия и ребяческой веры, что Россию нужно спасать. Россия уже спасена. Ее спасли рабочие и крестьяне, спасли своей сознательностью, своим трудом, своей твердостью, готовностью к жертвам»… «Не я один в глубине души признал советскую власть. Но я сказал об этом вслух, а другие молчат».

А что это за «блокаду», которую «выдержала советская власть», поминает Борис Викторович? Ага, вот и у Маяковского (хотя полагаю, другом и единомышленником Владимир Владимирович Б.В.Савинкова никогда не считал, «клеймил» его в той же поэме «Хорошо!» наряду с другими врагами и пособниками врагов. Да они и были врагами! Только, кроме того, они еще и русскими были. Не только по крови, главное, по душе: им на Россию не наплевать было. У них душа судьбою России болела. У каждого по-своему, у каждого не без путаницы, заблуждений и ошибок, но — болела! В покое их не оставляла! У каждого по-своему… И совесть, и порядочность каждому по-своему ведомы были…). И вот у Маяковского про блокаду:

Из «сюртэ женераль»,
из «интеллидженс сервис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»[10]
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра

плывут к Архангельску.
с виски, сыты по-свински…
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица, бульдожья
Британия.
Со всех концов блокады кольцо и пушки
смотрят в лицо…

Вот оно, значит, про что… Врут Савинков с Маяковским? Но как спелись! А вроде ни «спеваться», ни даже хотя бы встретиться (для «спевки»-то) ни возможности, ни желания, ни нужды никогда не имели…

Им
голодно?!
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно…
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины —
выставляют

впереди
одураченных ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
Гроба копите —
Юденича
рати
Прут
на Питер…
…идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним
идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан,—
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сентиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол,
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —

ррраз, —
кстати,
как денди,
и девушку спас, —
Леди,
спросите,
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вытая, с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен…
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но…
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
ту го!»

А это, стало быть, разудалая песенка английских колониальных войск. Англичане, стало быть, пели. Тут, у нас, в России… Лирическому герою поэмы слышно было. И, по всей видимости, не только ему одному…

На первую
республику

рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти,
и те…
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии
Со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!

И опять «враг» Б.В. Савинков «врагу» В.В. Маяковскому подпевает!: «И каждому русскому… который любит родину свою, я, прошедший всю эту кровавую и тяжкую борьбу с вами, я, отрицавший вас, как никто, я говорю ему: если ты… любишь свой народ, то преклонись перед рабочей и крестьянской властью и признай ее без оговорок» (из заявления Военной коллегии Верховного суда СССР 27 августа 1924 года).

Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль денди».

А это миротворцы и человеколюбы американцы. Тоже здесь, у нас, в России! Не у себя… Тоже герою слышно было…

Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва —

островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
С Лениным в башке
и с наганом в руке…
Но бомб страшнее
и пуль револьверных
осада голода,
осада тифов.

(Это, правда, уже из поэмы «Владимир Ильич Ленин», но про то же время, та же тема.)

… Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюдце.
Но,
как назло, есть революция, а нету
масла…

Это даже что-то напоминает… Как после августа 1991-го…

Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами

вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, — но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.
Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь…[11]
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала

кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд, из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.
забыть, где и когда пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал, —
нельзя
никогда
забыть!..
От боя к труду —
от труда
до атак, —
в голоде,
в холоде,
и наготе
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего, —
к таким
относишься
иначе.
которую
завоевал

и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами, —
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

И это все «идеология»? Идеологизация? Вранье? Подтасовка?

И все это — «неудавшийся эксперимент»? И в это во все плевать?

Хотя… перед кем я «бисер мечу»? Так все продавшие и предавшие разве поймут? Разве услышат?

Никаким Глобой не надо быть, чтобы предречь такой стране, такому обществу то, что давно уже известно у старых мудрых народов: Расул Гамзатов, по-моему, предварял свои лирические воспоминания «Мой Дагестан» старой горской пословицей: «Если выстрелишь в прошлое из пистолета, оно пальнет в тебя из пушки»!

Из Монтеня:

> «… Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченной эту главнейшую часть моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере, под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая…»
>
> «… Следуя за общей порчею нравов, пошатнулись и наши суждения. Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний прошлого (мое прочтение; у переводчика А.С. Бобовича не «прошлого», а «древности». — Ю.Н.), давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины. Велика хитрость! Назовите мне

какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем с полным правдоподобием полсотни порочных намерений. Одному богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно, при желании, вычитать в человеческой воле! Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием».

«… Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною, и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же до наших умников, то они всячески их чернят либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить все по собственной мерке,, либо — что мне представляется наиболее вероятным — от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей ее первозданной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен».

«Опыты», кн. I, «О Катоне Младшем».

Интервью с самим собой

В дни событий 19–21 августа (1991 год, ГКЧП, октябрь 1993-го еще впереди) я был в Ленинграде, снимался. 22-го на съемочную площадку приехало «Российское телевидение» брать интервью по поводу отношения творческой интеллигенции к происшедшему и происходящему. Меня… ну, трясло — не трясло, но потряхивало, что-то спирало, мешало в груди: врать я не собирался, не привык, да и не умею, а правда моя, мои мысли и ощущения как-то весьма разнились от всего того, что я слышал вокруг, да и по всем средствам массовой информации. Интервьюеры приехали самые милые и доброжелательные, да просто друзья. И — тем не менее — не по себе было. Интервью не получилось: и мысли-то мои были слишком не в унисон с окружающими, да и разбираться-то в них мне как-то не очень разбиралось: все подруги моей дочери живут вокруг Белого дома, а она последнее время дома мало ночует, все по подругам, а там, вокруг Белого дома — и события, и танки, и раненые, и даже убитые… Слегка отлегло, когда сообщили, что среди пострадавших только мужчины. А, вернувшись в Москву, узнал, что у Белого дома дежурил сын. (Вот те на! А у меня «отлегло» на сердце…) Я о нем и думать забыл: у него квартира где-то в Бибирево, причем и зачем ему «Белый дом»? А он, оказывается, не усидел в Бибирево и явился дежурить, защищать демократию, и до, и на следующие сутки после кровавых! А я в Ленинграде ничего этого еще не знал.

Короче, не получилось у меня никакое интервью. Хотя и сняли мои разглагольствования, даже два раза. Слава богу, вроде не показали. Нет, я не отрекаюсь ни от одного своего слова: меня мучает и нудит что-то в душе недовысказанное, недосформулированное, не нашедшее еще ясности и четкости в слове, в определении.

Провалилась «реакция», победила «революция», Россия ликует под новым (старым) трехцветным флагом, ликуют демократы, опечатано здание ЦК КПСС, Б.Н. Ельцину открыли счет золотым геройским звездам на его груди (слава Богу, хватило сознания отказаться). Все вроде бы прекрасно! А мне почему-то грустно… Так что же я? За «хунту», что ли? За «реакцию». Во всяком случае, не за методы, не за танки. В мирное время свои, русские, советские танки на улицах столицы России, Советского Союза пока еще… Не за танки, которые могли подавить моих детей, и не фигурально, а, как выяснилось, буквально.

Так что ж это за грусть во мне такая непонятная во дни всенародного торжества и ликования? Интересная грусть… Мне самому интересная, поэтому и беру интервью у самого себя, один на один, так сказать, без свидетелей, по душам, не для прессы…

Я счастлив, что мой сын оказался человеком, не усидел в Бибирево, а явился с пустыми руками защищать свободу от танков, которые уже показали себя не игрушкой, а вполне реальной, вполне ощутимой угрозой, для кого-то уже и приведенной в исполнение. Я повторяю, я счастлив за сына и — тем не менее, первой реакцией на сообщение о его дежурстве (днем перед трагедией и в последние сутки перед «победой» и митингом, на котором он не был, отдежурил, дело сделал и ушел спать, без митингования и ликования, что мне тоже понравилось) — тем не менее, первой моей реакцией на это была кривая улыбка и снисходительно-сожалеющее: «Дурак…»

Я рад и горд за товарища по цеху (а стало быть, и за цех, за гильдию, к которой принадлежу), я видел интервью с Виталием Соломиным в рядах защитников Белого дома. Не все и не всегда приводило меня в восторг в этом человеке, но тут: достоинство, позиция, гражданственность, смелость, скромность, честь, ум, искренность! И самому впору было завистью изойти: почему сам там не оказался? Черт с ним, без интервью, без выхода на большой телеэкран, но там, рядом, в деле, и опасном, и нужном, прямом мужском деле?..

Нет, не позавидовал.

Раньше извелся бы: почему я так не смог? Ведь это так просто! И достойно! И уважать самого себя можно!

Нет. Не позавидовал. Не извелся…

А ведь я тоже мог. Мог быть и дежурить. Не перед Белым домом, так перед Мариинским дворцом в Ленинграде. Куда, кстати, режиссер наш В.И. Тихомиров и ходил. И меня взял бы, если б я изъявил желание… А я не изъявил. Не пошел. И не жалею. И не казнюсь.

Незачем мне было туда ходить. Не для чего.

Да нет… Вроде бы нет… Незачем, не для ради чего было… Не счастлив я победой нашей демократии. И очень боюсь, чтобы сегодняшняя «победа демократии» не оказалась — как обычно на Руси. — победой не свободы, а глупости. Да не дай бог, еще и подлости. А у них — и у глупости, и у подлости — и опыта, и достижений в нашей прекрасной стране предостаточно. Гораздо больше, чем нам порой в неведении и благодушии представляется. Нет, если кто-то тут же с ходу решит, что раз я не за демократию, так, стало быть, за «хунту»… Как вот тут убедить и доказать?..

Около 70 лет нам казалась неубедительной позиция Максимилиана Волошина в революции и Гражданской войне:

> Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию,
> Другие, разнуздав стихию,
> Хотят весь мир пересоздать…
> И там, и здесь между рядами
> Звучит один и тот же глас:
> «Кто не за нас — тот против нас!
> Нет безразличных: правда с нами!»
> А вслед героям и вождям
> Крадется хищник стаей жадной,
> Чтоб мощь России неоглядной
> Размыкать и продать врагам…
> А я стою один меж них
> В ревущем пламени и дыме
> И всеми силами своими
> Молюсь за тех и за других.

«Молюсь»! За тех и за других. Вот такая вот долгое время непонятная нам позиция. А сегодня я ее как-то очень понимаю. Хотя сам атеист. И вроде бы не молюсь. Вообще — не молюсь. А за тех и за других — молюсь!

Я не за методы, не за танки (свои танки и в своей же столице!), не за подлог, не за обман, но меня угнетает абсолютная и непоколебимая убежденность победителей — демократов, что раз методы (ГКЧП) были преступными и противозаконными — то, стало быть, преступными были и замыслы.[12] А я вот, старый дурак, ничего преступного в объявленной программе ГКЧП не увидел. Окромя некоторых неразумностей. Более того, в этой программе очень много того, что мне кажется сегодня насущнейшим, необходимым стране и народу.

… Может, оттого-то мне и грустно во дни всенародного ликования? Оттого, что очень мало трезвых голосов? Оттого, что почти никто их (эти трезвые голоса) не слышит, упиваясь ликованием. А ликование тоже на месте не стоит. Уже пошли погромы, война с памятниками, витринами… А проблемы растут своим путем: продовольственная, топливно-энергетическая, нравственно-воспитательная. И еще одна, тоже как-то проглядывавшая в программе путчистов: я, извиняюсь, все-таки патриот, хотя не поручусь, что при нынешнем бурном развитии событий это определение не сможет превратиться в определение «предателя», «антидемократа», «антиперестройщика» и прочие

всякие неприятные, а то и опасные «анти»… И как патриот, я испытываю жгучий стыд за свою великую державу, которая столько внесла в сокровищницу мировой культуры (и науки, и искусства, и изобретательства!), а сегодня с чистой совестью и ничем не замутненным чувством собственного достоинства обращается с протянутой рукой к Западу… Волнуется: не огорчат ли наши реформы и поведение «товарища» Буша, каких-нибудь аргентинских предпринимателей… Мне, старому дураку и патриоту, почему-то ближе другая позиция: уж коли загадили, запакостили собственный дом — не бросать его, не продавать за бесценок все, что не успело в нем сгнить и имеет хоть какую-то ценность, и не бежать за милостью к соседу: авось, что-то подаст, а то и расщедрится и пустит пожить, хоть под забором — у соседа и под забором-то чище и комфортней, чем у нас в доме сегодня… Ну а мне все-таки ближе и кажется более достойной другая мысль: засучить рукава, подтянуть ремень и попытаться самим навести порядок в собственном доме. Тем более, что природа и история наградили нас изумительно прекрасным, сказочно богатым «домом» — местом обитания (а может, тем и испортили нас, разбаловали?).

«О, светло-светлая и украсно украшенная земля Русская»… — начинал когда-то, в XIII еще веке, безвестный автор свое очередное «Слово о погибели Русской земли»… И мне трудно не согласиться с древним автором: действительно «светло-светлая» и «украсно украшена». И действительно, постоянно приводит ее Господь на край гибели…

По-своему, по-атеистически, я твердо убежден, что это дело рук не мудрых и милосердных Божиих, а неумных наших, человечьих, особенно той части человечества, которая населяет вот эту самую «светло-светлую и украсно украшенную» шестую часть земной суши. И наша страсть к безудержным ликованиям по поводу любых наших побед, мнимых или истинных, очень часто, если не постоянно, уводила нас от разрешения грозящих, надвигающихся на нас проблем; а проблемы, вовремя обратить внимание на которые нам так часто не позволяла наша приверженность к ликованиям, — эти проблемы, постоянно и постоянно, в течение тысячи лет существования Руси, а то и дольше, приводили нас на край гибели, а то, бывало, и за край…

Вот и грустно мне…

Мелькнула у меня еще 19 августа в Ленинграде вроде бы дурашливая, шутейная мысль: а не инсценировка ли весь этот путч бездарный и придурковатый? Мелькнула эта же самая мысль и у нашего водителя Володи в ленинградской киногруппе, где я работал. Потом ее, эту мысль, два дня подряд внушал слушателям

и зрителям автор передачи «600 секунд» Невзоров, и еще кто-то высказывал в интервью и разговорах. Были и противники этой мысли, но поступающая информация, как ни странно, чем ни дальше, не столько опровергала эту чушь, сколько заставляла вновь и вновь к ней мыслью возвращаться… Ну да Бог с ней, инсценировка или не инсценировка…

Пусть не инсценировка. Но… что абсолютно бесспорно и в чем трудно возразить тому же Невзорову, заявившему об этом еще 19 или 20 августа, — это инсценированная или нет, но абсолютная и окончательная победа, да просто разгром демократами коммунистов (чему всей своей глупостью и бездарностью и способствовали устроители путча, стремясь, полагаю, к противоположному).

По законам ассоциативной памяти почему-то лезут в голову гитлеровские дела 1933 года, когда его команда спалила Рейхстаг, обвинила в этом дураков-коммунистов и тем самым смела их с политической арены, провозгласив себя спасителями и освободителями отечества. Ну, правда, там все было продумано заранее, по полочкам разложено и выполнено буква в букву, а у нас-то вполне могло быть и случайно…

Словом, случайно или спровоцированно, но сегодня мы имеем полный и окончательный разгром и демонтаж КПСС и всех ее структур. Ну что ж? Победителей, говорят, не судят. И совершенно справедливо говорят, ибо, сколько известно из истории, обычно судили не победителей, а чаще, почти всегда, а то и без «почти», т. е. всегда! — судили победители! И уж они судили! И присуждали: кому костер, кому гильотину, кому расстрел, кому ГУЛАГ… Что-то новые победители предложат… Кое-что они уже предлагают, правда, не совсем новое: в Эстонии, в Молдавии уже обыски, уже привлечения без особых фактических подтверждений, по одному только подозрению в симпатизировании путчу. А на пресс-конференции со «спасенным» президентом страны народный депутат Ю. Карякин, ярый неукротимый антисталинист — стало быть, демократ, милосерд, представляющий Академию наук — стало быть, вроде даже и интеллигент — и вдруг заявляет: «Михаил Сергеевич! Как Вы могли допустить окружить себя и приблизить к себе эту банду? Ведь у них по рожам видно, что они преступники и предатели». «По рожам! Здра-асте! Вот тебе и интеллигентность. И культура, и милосердие, и «презумпция невиновности». А сталинисты не «по рожам» определяли преступность человека, причастность его к «вредительским», «вражеским» действиям? И чем меньше улик против человека — тем больше ненависть к нему и уверенность в его дьявольском коварстве. Уверенность,

продиктованная «классовым чутьем». Интуицией, по-нынешнему говоря. А какая интуиция ведет сегодня интеллигента, демократа, антисталиниста Ю. Карякина, что он «по рожам», сразу, определяет степень виновности и причастности человека к преступлению? И все это не стесняясь телекамеры, на всю страну, а то и на весь мир… Не смущаясь того, что это не пьяные посиделки с друзьями на кухне, а пресс-конференция с президентом пока еще супердержавы, и сам ты здесь не кухонный балагур, а народный депутат, и облек тебя народ доверием в надежде и уверенности, что ты хотя бы думаешь перед тем, как говорить, а, тем более, выступать…

Виновных надо наказывать, но только получив неопровержимые фактические доказательства их вины. А заблудших я бы тоже не силком перетягивал в свою веру, а сел бы рядом с ними да поразмыслил, да выяснил все обстоятельства и причины их «заблуждений», да подумал бы: а может, под этими «заблуждениями» кроются какие-то объективные причины, которых я в своей святой убежденности и уверенности в собственной правоте недоглядел и недоучел? Если уж презумпция-то у нас невиновности. Подлог, обман — это преступление, а заблуждение… Разве не была убеждена святая инквизиция, что Джордано Бруно и Галилей заблуждались?

Мне давно и упорно кажется, что не исповедование тех или иных политических взглядов (верных или неверных, ложных или истинных) заставляет людей прибегать к насилию, не особенно заботясь о его правозаконности. Замечательно у Дрюона в «Проклятых королях» сформулировано: «Насилие — это последнее прибежище людей, *не умеющих мыслить».* Чем меньше знания — тем меньше понимания, тем больше страха, страхов, недоверия. И то, что сегодня демократы в Эстонии и Молдавии (информация с экрана ТВ) уже начали противоправные преследования «путчистов» (тех, кто им *кажется* причастным к путчу) — все это подтверждает — для меня — правоту этого моего взгляда. Вот и не «ликуется» мне…

Ладно. С победой вас, господа демократы! Поздравляю. Инсценировано или нет, но разгромили «врага», уделали. Хотя я, темный человек, никак слово «враг» в применении к соотечественнику без кавычек употребить не могу. Все-то мне, старому дураку, кажется, что никакие это не «враги», что это все та же наша лютая, безжалостная, беспощадная, не останавливающаяся и перед кровопролитием борьба с инакомыслием в собственной стране. Как при Иване Грозном, при Петре, при Екатерине, при всех Александрах и Николаях, при Сталине. Ладно, с «победой»… Но ведь проблемы-то,

декларированные путчистами ГКЧП, остались! А я уже слышу, как с экрана телевизора кто-то снисходительно-пренебрежительно заявляет: «Ну кого это может волновать? Разве что совет ветеранов?» — приглашая вроде бы вместе и посмеяться над такими ничтожными, несерьезными да к тому же поверженными в прах оппонентами. И опять мне не смешно.

Встает перед моим внутренним взором мама моего школьного еще друга… назовем ее Мария Андреевна. Дочь крестьян, раскулаченных в свое время, которая вроде бы должна была быть обиженной «коммуняками» в то время и удовлетворенной сегодня победой демократии и крахом «коммунизма». Так нет же! Мария Андреевна — учительница, коммунист. Все отдавшая Родине: мужа, сгинувшего в 1941-м где-то под Вышним Волочком (могилу разыскали только в 70-е годы), бывшего тоже учителем и коммунистом; вырастившая двух сыновей, тоже коммунистов, один — доктор наук, другой — ведущий инженер. А была еще и дочь: где-то около 1945 года, когда, оставшись с тремя малышами на руках, вкалывала Мария Андреевна без продыху не за страх, а за совесть (сколько работали учителя и сколько получали всем известно), и вот где-то около 45-го года заболел младший, родившийся в 1941-м, не знаю, успел или не успел отец его увидеть перед уходом на фронт… А тут: мама «пашет» с утра до ночи, малышня растет и развивается сама по себе, и младший заболевает чем-то страшным, не то дифтеритом, не то скарлатиной. А маме некогда, она на работе. И маленького братишку выхаживает пяти- или шестилетняя сестра. И выходила! Спасла брата! Только сама не уберегласъ: заразилась и умерла. Пяти- или шестилетняя дочь коммунистов!

И ничего никогда ни от партии, ни от правительства, кроме веры в правоту нашего дела, Мария Андреевна не имела. И все отдала. И ребят: и своих вырастила, и чужих — сколько? И в НКВД ее сотрудничать приглашали («сексотом» — секретным сотрудником, то есть доносителем); да всех наших матерей приглашали, моя мама дурочкой прикинулась, а Мария Андреевна отказалась. Кстати, какой-то английский шпион на пенсии, характеризуя в своих воспоминаниях все разведки мира, нашу удостоил звания не самой «идеологизированной» или там «фанатичной», но «самой многочисленной и самой жестоко й». Так вот от доносительства Мария Андреевна отказалась, хотя тогда, наверно, это было не так просто сделать, как сегодня болтать об этом. Отказалась, потому что, видимо, не считала, что это полезно и необходимо Родине и народу. А тому, что считала полезным и необходимым, отдала всю себя без остатка.

А мы сегодня, запрещая, «приостанавливая», распуская, разгоняя, изничтожая КПСС и посмеиваясь над ветеранами, которых «это может волновать», мы, демократы, и, стало быть, вроде гуманисты, провозглашающие и исповедующие высокую нравственность и милосердие, — мы плюем сегодня в лицо всем таким ветеранам, как Мария Андреевна… Мы, христолюбивые, высоконравственные (в отличие от «коммуняк»), милосердные демократы. Плюем в лицо! И Марии Андреевне, и всем таким, как она. А их, я думаю, немало в стране. И уверен, что это не самые пустые и никчемные для страны люди. А мы — в лицо. Всю жизнь их, отданную стране и людям, зачеркиваем, да еще и ухмыляемся при этом. А Мария Андреевна плачет. Мария Андреевна в ужасе: в какую же новую бездну сорвалась и ринулась «бойкая необгонимая Русь-тройка?»… Ринулась со всех ног, как обычно, все круша на своем пути; ринулась — а куда и зачем? — тоже, как всегда, «не дает ответа»…

Да и моя мать, не коммунистка, с судьбой более спокойной и благополучной, чем у Марии Андреевны, но тоже вот писала своей сестре: «… несмотря на возможную справедливость всех современных разоблачений, мне все-таки жаль нашей искренней веры, пусть даже не в коммунизм, и все же в какое-то светлое будущее, ради которого мы жили, трудились. И жизнь была такой светлой, содержательной. Вспомни свою «комсомольскую юность»… Эх, да что говорить, наше поколение было счастливее современной молодежи……у меня появляются друзья с философским уклоном в мистику, в «космические силы», верующие в «космических пришельцев», конечно, в бога (так в оригинале, в письме; «в бога» — с маленькой буквы — мама у меня атеистка), чуть ли не в антихриста. И уж конечно, это люди среднего поколения, в возрасте где-то наших детей. Старики по-прежнему верны прежним мифам и идеалам или грустят об их утрате. Как я, например. Не могу поверить, что Ленин был палач…»

Но и у Марии Андреевны еще не самое плачевное положение: рядом с ней ее парни («парням», правда, за 50, но ребята крепкие, надежные), да и внуки. Лично ее в обиду не дадут! Но все равно она — плачет. И в ужасе взирает на страну: родненькие, куда же вы?..

И я обещал Марии Андреевне, да и всем «дорогим моим старикам», их коммунизма (да и моего тоже!!), дела их жизни не выдавать и не продавать.

Да, вообще-то, наш коммунизм вовсе даже и не в опасности. Рухнуло, потерпело крах и поражение — знамя, то есть слово, 9 букв… Ну и что? Никто нашего, моего коммунизма и не касался.

Мой коммунизм — это наука, философия, мировоззрение, диалектика, а громят, втаптывают в грязь и размазывают по ней сегодня заборный коммунизм — все эти болтающиеся, нагло лезущие в глаза, ничего не говорящие, только раздражающие транспаранты; «ЛЕНИН — ПАРТИЯ — НАРОД» (?!), «Слава КПСС» (ну как не слава?) и горы еще всякой брехни и чуши. Замечательно сказано у Ч. Айтматова в «Плахе»: «Молва об истине — великая беда. Молва — как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так — любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, — молва, передавая из уст в уста, вечно искажает, во зло и себе, и истине». И еще: Христос у него, у Айтматова, в «Плахе» грустно, но пророчески предрекает: «Конец света не от Меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет. От той вражды и тех побед…»

А мы сегодня захлебываемся от счастья, упиваемся победой… Над кем и над чем?..

Мэр наш, Г.Х. Попов, очень бодро вспоминал, как Москва всегда в истории после взрывов, переворотов и трагедий «бралась за топоры», чтобы строить, восстанавливать порушенное. Сегодняшняя Москва пока что схватилась за кувалды — дорушать недорушенное!..

Какое тут ликование? Какая «победа»?..

А нашему с вами коммунизму, Мария Андреевна, ничто повредить не в силах: он — наука, он — философия. Человек может повредить человеку (чем и занимается не первую тысячу лет), но никак не мысли, не идеи, не законы природы. Можно распять, сжечь на кострах, угробить в ГУЛАГе сотни и тысячи Галилеев, Ньютонов и Вавиловых, но если ты будешь прыгать на ходу с подножки против движения, ты всегда будешь разбивать себе лоб, а точнее, ломать шею. Потому что закон инерции, то есть сохранения каждым телом состояния покоя или равномерного прямолинейного движения, Ньютон не выдумал, а только сформулировал. Ньютон мог не родиться или не открыть закон, тогда его открыл бы и сформулировал кто-нибудь другой, раньше или позже; могло не быть Ньютона, но закон был, есть и пребудет вечно. Как человечество, точнее, темнота власть предержащих упорно боролись с открытием Коперника, что наша система космическая не геоцентрическая, как всем представлялось в древности и как кажется всякому наблюдающему с Земли, а гелиоцентрическая. Уж как боролись! Джордано Бруно сожгли, Галилея заставили отречься. Ну и что? Открытие пострадало? Пострадали люди. То же и с марксизмом: мы можем разнести и взорвать все памятники, сжечь и развеять

по ветру все собрания сочинений и даже запретить к употреблению 9 букв, которыми писались ненавистные нам нынче имена, но первоначальное накопление у нас происходит неукоснительно по Марксу Да не по Марксу! По закону, Марксом только открытому И иначе никак не может происходить! Только так. Только по закону: путем спекуляции и жульничества. Как в физике (то есть в природе, которая по-гречески и именовалась этим словом: physis), как в физике все тела подчиняются закону инерции и прочим физическим законам.

Да кто его нам давал строить, коммунизм-то? Коммунистам-то? Ленину-то? То соратники-эсеры в него стреляли, то Антанта, то Гражданская война (о которой так красиво ностальгически фантазировали «шестидесятники», демократы и антисталинисты: «А я паду, паду на той, на той единственной Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»), И кто только против них, коммунистов, ни шел: и все «цивилизованные» нации со всех сторон, и цвет русского офицерства, и народные восстания: и Петлюра, и Дон, и Тамбов… И все это смогла одолеть преодолеть и совершить «преступная кучка экспериментаторов-авантюристов»? Побойтесь Бога, господа критики, если голос здравого смысла для вас не указ. Не одними же застенками большевики занимались со времени прихода к власти, были у них и еще заботы. А может, они, большевики, что-то такое угадали в направлении течения истории, до чего не додумались, чего не поняли ни Корниловы, ни Деникины, ни Колчаки, ни идеологи и вожди крестьянских, ни казачьих выступлений? А без того — если не «угадали», так кто ж тогда помог им все это совершить и одолеть?..

Как мы никак не можем понять, уразуметь очевиднейшую, не одну тысячу лет известную вещь, что ничего не стоит на месте, все течет, все изменяется. А изменяясь — частенько становится своей противоположностью. Зарождается жизнь, развивается, а потом отцветает, потом гибнет, а потом еще и гниет. А гниением, бывает, способствует зарождению и расцвету новой жизни! И так бесконечно. И в истории примерно то же. Ну неужели же Иван IV Грозный создавал (или организовывал) свою «опричнину» для того, чтобы ее 400 лет только проклинали? Наверно, для чего-то другого, а вышло это. И национал-социализм при своем зарождении вряд ли мечтал о том, чтоб стать вечным проклятьем человечества и даже тех наций, которые его наиболее последовательно и верно исповедовали.

И если сегодня в деяниях нашей «родной» коммунистической партии весьма трудно обнаружить признаки ума, чести или хотя бы совести, из всего этого вовсе не следует, что этих

привлекательных (и так занудно декларируемых ею к концу ее существования) качеств вовсе не было у нее изначально. Были! Да разве не смело бы ее бурными событиями одной только Гражданской войны 1918–1922 гг., если бы у нее не было хотя бы ума? А сегодняшний ее «ум» — вот он: путч и его результаты.

И при всей этой очевидности наши «интеллектуалы», нисколько не стесняясь и не беспокоясь о своем реноме, на весь мир объявляют, что главный преступник XX века — В.И. Ульянов (Ленин), что над компартией — а заодно и над идеей (!), учением научного коммунизма, надо бы устроить суд народов (по примеру Нюрнбергского процесса над национал-социалистической партией).

Был у нас когда-то на Руси неглупый соотечественник А.С. Пушкин, которого «как первую любовь, России сердце не забудет». Так вот он, Александр Сергеевич, в своем вольном ли переводе или фантазии от лица гильотинированного французской революцией поэта Андре Шенье говорит, ну, просто слово в слово будто о нашей истории XX века:

Мы свергнули царей.
Убийцу с палачами
Избрали мы в цари.
О ужас! О позор!
Убийцу! Избрали сами. Мы!
Никто не навязывал. Сами.

Но это, так сказать, всего-навсего предвидение и констатация, тут ничего удивительного, просто надо знать закон, так симпатично сформулированный Тарковским в «Андрее Рублеве» устами Феофана Грека: «Все глупости и подлости род человеческий уже совершил и теперь только повторяет их». (Это нам удивительно, потому что мы законов не только не знаем и знать не желаем, но как-то безумно активно и агрессивно отстаиваем свои «права» на это свое незнание и нежелание.)

А вот дальше Александр Сергеевич (кроме точного диагноза и научного предвидения на основе знания законов) обнаруживает еще ум и трезвость, чего сегодняшние наши «осмыслители» происшедшего за последние 70 с небольшим лет никак обнаружить не могут: он не обвиняет идею! Ну — не вышло по-задуманному. А когда и у кого выходило? Чтоб точно — как задумано, так и получилось… Когда? У кого? В мелочах-то редко когда по задуманному получается, обязательно с какими-нибудь коррективами, поправками, добавлениями того, чего не ожидал, а тут — революция! Всенародный переворот! И — «порывы буйной

слепоты», «презренное бешенство народа» и «страсти дикие», и «буйные невежды, и злоба, и корысть» «на низком поприще с презренными бойцами…». Но:

> Но ты, священная свобода,
> Богиня чистая, нет, — не виновна ты…

Идея — не виновата. Она все равно прекрасна и «священна». А мы сегодня… взялись косить — и себя по ногам. Нет, были, были на Руси и неглупые люди… И это они предвидели и предрекали… Выдающийся американский экономист, Нобелевский лауреат, когда-то очень ненужным и лишним нам оказавшийся и эмигрировавший в 1931 году, Василий Леонтьев считает, что с одним «рынком», без «социализма», нам наших сегодняшних проблем не решить. А мы? То готовы во всем американцам подражать и, закрыв глаза, идти за ними куда угодно, слушать и слушаться их во всем, в чем угодно, но — только не в этом: от социализма мы открещиваемся, как от дьявольщины, проклинаем его, предаем анафеме со всех амвонов, чуть ли не к стенке готовы ставить тех, кто еще осмеливается произносить это слово и призадуматься: а так ли уж оно плохо? И его ли вина во всех наших сегодняшних бедах?

А Мария Андреевна, мама моего школьного друга, старый коммунист и учительница, — плачет. Но плачет она не о коммунизме, идее не повредишь; о пустых символах, знаках, буквах тоже нет смысла плакать: назвать можно так, а можно и этак. Плачет Мария Андреевна о нас, дураках, на новом витке нашего безумия.

Ну что ж… Грустно, конечно, но что ж плакать-то. Работать надо. Мария Андреевна свое уже отработала. Конечно, обидно, израсходовав все силы, обнаружить, что силы-то кончились, а дело-то… И конца его, дела, даже и прозреть, предположить невозможно, потому что пока двинулось дело просвещения и образования страны не к свету, а в обратную сторону, к мракобесию. Но, я думаю, это ненадолго. Чего там долго делать, во мраке-то? Скучно ведь там. А свет — вот он! — весь на полочках стоит: вся классика, вся наука, вся философия. Буквы уже знаем! Заклепы с мозгов снесли. Раскрывай глаза, смотри, прислушивайся, сопоставляй. Улавливай жизнь и ее течение! И вне, и внутри себя. А если вдруг заедешь в какой-нибудь, кажущийся безвыходным тупик, — не отчаивайся, вспомни хотя бы Феофана Грека в фильме «Андрей Рублев» и его: «все глупости и подлости род человеческий уже совершил и теперь только повторяет их», а раз так, раз «повторяет», и вообще, раз что «все

новое — это хорошо забытое старое», раз так, стало быть, нечего отчаиваться, стоит только внимательно и скрупулезно порыться в этом старом, размышляя, сопоставляя, сравнивая, — и непременно сообразишь, как из сегодняшнего тупика и куда можно выбраться.

Что было, что будет, чем сердцу успокоиться

Самолеты-перелеты

Лечу в Читу, на эпизод в «Даурии», «Ленфильм», реж. В.И. Трегубович. Самому 33 года, возраст Христа…

9 июня 1970-го. Сели в Челябинске. Два часа по московскому, 4 утра по челябинскому времени. Челяба… Край химии, атома, всяких темных жизнеубойных секретов (Челябинск-40 и пр.). t +5°. Ветер. Вперемежку ревут двигатели ИЛов и ТУ По горизонту — трубы. Из них — ядовитый, какой-то химический, грязно-оранжевый дым. А над взлетным полем — звенит, орет, надсаживается жаворонок! Плюет родимый и на химию, и на ТУ и на все жизнеубойные челябинские секреты. И на ветер, и на +5° — поет, захлебывается! Живет и славит жизнь!

И я. Не так нахально и привлекая всеобщее внимание, тихо, скромно, про себя. Но — славлю! Жизнь и красоту!

10 июня (Уже в Чите)… Вчера утром пролетали над Байкалом. Глянул — а он — синий! Не на плакате Интуриста, а с десяти тысяч метров, через грязный иллюминатор и дымку утра летнего и — все равно — синий! И видны в воде, под водой продолжения (подводные) скал. А второй берег, восточный, даже и не разобрать: не то берег, не то дно отлогое под водой. И — синь! Синяя глубина. Чистейшая и беззащитная. Как глаза у Васьки (четыре месяца назад дочь родилась, Василиса). Ну что она сможет, синь эта, против какого-нибудь самого захудалого бумажного комбинатишки? Что? А ничего… Человек — все может, а эта синь… Ни-че-го… Откуда-то, с чего-то, почему-то стала вот такой синью… Да такой, что я глянул, сказал: «Мамка! Да он же синий!» — и заплакал. Нет, я знаю, что я сентиментальная сопля, и мне заплакать, что два пальца. И — все-таки!

А человек, он все может… Может всю эту синь враз перекрасить — в какой-нибудь ядовито-оранжевый цвет (как перекрасил он часть небесной сини над Челябинском)… Только как, вот если, перекрасивши-то, вдруг вздумается ему вернуть синь эту — как он вернет ее? Сможет ли? — Не знаю. Челябинскому небу вернуть синь вроде проще, но человек не спешит…

А потом подлетели к Чите и, загнув вираж над городом, сели. И я что-то влюбился в эту Читу сразу, еще не приземлившись, прямо с предпосадочного виража.

Край, а может, некогда и столица забайкальского казачества! Читинский острог основан в 1653 году казаками Петра Бекетова. (Это при Алексее Михайловиче еще, незадолго до восстания

Степана Разина и рождения Петра Великого). А потом — декабристы. Потом инженеры вели Транссибирскую магистраль железнодорожную. Этому бы краю да Шолохова! Лихой край!.. Сладкий, манящий. Где-то на улице Калинина был (а может, и сейчас есть) универмаг бывшего купца Второв а, чей универмаг, Второва-то, посейчас красуется и у нас, в Западной Сибири, в центре Томска, и чью фамилию пятьдесят дет закрашивали на фасаде и не могли закрасить: краска осыпается, и второвская фамилия опять вылезает.

Томск Томском, а вот сегодняшняя Чита еще почему-то глянула на меня глазами Новосибирска времен моего пацанства. Прямо в город детства въехал, как оно ни невозможно. Новосибирск уже давно другой, а Чита все еще где-то на том же уровне: масса неразрушенных, неразобранных старых домишек, домов, деревянных, каменных, витиеватых, наивных и милых.

А сегодня (уже 12 июня) на речку выбрался, на Читинку, к мосту трехпролетному железнодорожному, а по нему — как по заказу, в унисон и гармонию со всеми моими чувствами и размышлениями — паровоз! С высокой трубой! Ну только что раструба широкого на трубе, как в 1900-е годы, как где-нибудь на старой бабкиной открытке или на картине Левитана — только раструба нет. И не какой-нибудь маневровый на двадцать пятых путях, а по главному пути, по мосту поезд пассажирский на запад поволок: тускло светятся окошки вагонов, ярко — фонари на номерах их, и черный дым густо валит в вечернее синее небо…

И я не негодую на этот дым! Он какой-то невинный, безвредный, привычный, родной… Не оранжевый!

Речонка мелкая, грязная; по пути к ней пришлось миновать жутко вонючие свинарники — а за свинарниками, на берегу, на фоне вечернего закатного неба, под столбом с подпоркой — целуются двое! И правильно делают!

Я бы сам там кого-нибудь поцеловал, и именно там, над речкой, за свинарниками!.. Но — «вреден север для меня»…

Зато на лошади сегодня покатался — тоже хорошо! В горку лазили, через речку переходили (через Ингоду, наверно), галопчиком баловались, рысью — хорошо!

17 июня (в Чите уже восемнадцатое: третий час ночи). Лечу. Обратно. Только что снялись из Омска. 20 час. 17 мин. московского времени, 23 часа 17 минут — омского. Ночь. Луна. И вдруг — прямо в иллюминаторе, близко! — блеснула река. Оторопел. Глянул: не река — луна на крыле играет, на плоскости дюралевой. Ладно…

А вечерком, часиков в семь, полвосьмого по солнцу, обратно Байкал пролетали. Я его издали узнал. Угадал. «Вычислил».

Подлетели — а над ним облака. Сплошные. Без дырочки… Летим, летим: облака и облака. И перед самым западный берегом все-таки кончились! (А за окном опять «речка» на крыле.) Кончились облака, и глянул он, Байкал-то, чистой, хрупкой, но не синью утренней, а зеленью вечерней. И опять скалы под водой видать, и опять уходит он и уводит куда-то в прозрачную, бездонную, хрустальную зелень.

И чего это я к нему привязался? Подумаешь, два раза всего — с самолета! — и посмотрел. А прям как свой, как родной. Как Васька вон… (Коня у меня в Чите с госконюшни тоже Васькой звали.)

«Речка» на самом краешке крыла поблескивает, там где красный сигнал вспыхивает.

И, наконец, — Москва. Приземлились (23 часа 30 мин. по московскому времени). Все, как всегда, никаких сказок, никаких чудес, все нормально: середина июня, дождь, +12°… Все нормально, чудеса кончились.

Ещё о профессии

Из интервью Л.В. Голубкиной (1978–79 гг.)

— Есть ли у вас свой метод вхождения в образ?

— Скорей, может быть, не я вхожу в образ, а он в меня входит. Или — не входит. Сразу же. При первом же чтении сценария. Если не понравился человек, «образ», не зацепил ничем душу, воображение — то и не «войдет». Приглашай — не приглашай… А если нравится, увлекает чем-то — значит, приковывает к себе твое внимание, включает незаметно твою фантазию, внутреннее видение, воображение.

А уж потом, если образ увлек не только тебя, но и режиссер убедил худсовет, руководство студии, что только в твоем исполнении, воплощении он, данный образ, может и должен будет увлекать и завлекать нашего и всякого иного зрителя, какой ни подвернется на его будущем сложном и прихотливом пути по экранам, — вот тогда, потом, если все эти первые условия приняты и удовлетворены, уже во время работы на съемочной площадке, тут уже «образ» плотно и довольно бесцеремонно влазит в тебя, располагается со всеми удобствами и доходит порой до того, что диктует тебе, что ты должен делать в кадре, чего не должен и как ты должен делать то, что должен, не утруждая себя особенно объяснениями: почему ты должен поступать так, а не иначе. В «Рублевских» князьях, к примеру (я там двух сразу играл, братьев-близнецов), меня почему-то постоянно тянуло окать, говорить на «о». Я удивлялся, возмущался идиотизмом такого желания и неуместностью: какое простонародное оканье, когда в пятнадцатом веке если кого и можно было считать интеллигентным, образованным человеком — так это только и в первую голову князя: у князей власть, деньги — им и образование, и «карты, как говорится, в руки». А моих непутевых князей тянет почему-то по-деревенски окать… И только много позже я понял всю правоту и справедливость этого их странного и так и не объясненного мне желания. Против нашего НТРовского бешеного, неудержимого, скоростного века, двадцатого, сам пятнадцатый век был глухим, нетОрОпливым, ОбстОятельным, неспешным, крестьянским. Нам колоссального труда стоит перестроиться в классике на ритмы хотя бы не так уж удаленного по времени, но так непонятно далеко отстоящего от нас по темпам девятнадцатого века, а тут — пятнадцатый! Правильно хотелось им окать! Не окать им, бедным, хотелось и

требовалось, а ритму того, своего пятнадцатого века.

Так же потом влез в меня сержант Уханов в «Горячем снеге», распоряжаясь моим поведением в кадре, не спрашивая, нравится мне это или нет, ничего не объясняя… «Догадайся, мол, сама!..» Очень благодарен режиссеру Егиазарову, который не только не препятствовал этому ухановскому своеволию, но относился к нему на удивление терпеливо и где-то даже и уважительно.

Что-то похожее и с другими работами происходило, только с меньшей долей непонятного.

— *Что такое хороший партнер? И кто?*

— Для меня тот, кто не убивает во мне веру в правдоподобие всего, происходящего между нами. В кадре ли, или на сцене. Всех хороших партнеров не перечислишь. Да если и возьмешься перечислять, кого-нибудь из самых дорогих, из самых любимых непременно забудешь, пропустишь — таков уж непреложный закон стервозности. Плохих вспоминать? А, может, они и не плохие? Может, это я был им плохим партнером? Тоже, значит, не надо трогать. А хороших много было. Очень. Всяких. Всевозможных, разных: партнеров-соперников и партнеров-соратников. И те, и другие очень важны и необходимы. В телевизионном фильме «Роса» у режиссера Ниточкина был у меня партнером даже…мерин Цыган. С большой теплотой и нежностью его вспоминаю. Не как лошадь, на которой мне удалось более или менее удачно ездить, скакать, нет, именно как партнера в важной психологической сцене. Прелестный был партнер!

— *Удовлетворяет ли профессия актера?*

— А кто ее знает… Теперь уж куда, конечно, от нее денешься. Вообще у меня с моей профессией были весьма сложные отношения, и уж кого-кого, но привести себя кому-нибудь в пример для подражания в деле освоения актерской профессии — уж этого я никогда и никак не смогу. Очень не гладкие были взаимоотношения. О своих метаниях в годы учебы я уже говорил, но ведь они не прекратились и после. И ничто не в силах было им (метаниям и исканиям) воспрепятствовать: ни перелом позвоночника, года на два выкинувший меня из полноценной жизни (3 месяца больницы, три с половиной — домашнего «долечивания» и полтора года ношения жесткого корсета), ни обзаведение семьей — бросал я театр и устраивался разнорабочим во 2-ю типографию «Медгиза», бросал кино и на 8 месяцев уезжал работать лебедчиком-мотористом на Обь, на родину, в Сибирь, пытался поступить в Ленинградский или Новосибирский институт инженеров водного транспорта…

Примирился я кое-как со своей профессией вот только снимаясь в «Горячем снеге», «земную жизнь пройдя до

половины»… И очень может быть, что решающее слово в этом примирении сыграло не убеждение, созревшее, наконец, что мы — актерская профессия и я — созданы друг для друга, а просто возраст, просто усталость, просто смирение: трудновато все-таки в 35 начинать новую жизнь, совершенно новую, с нуля, отрекшись от всего привычного, приобретенного, проверенного худо-бедно тобой и тебя как-то проверившего…

— Любимые роли?

— Мне как-то ловчее называть их не «роли», а «работы». Любимые работы… Я говорю только о себе, о своих чувствах и ощущениях, у кого-нибудь, может, и роли, а я почему-то думаю и вспоминаю с нежностью, с тихой грустью и благодарностью судьбе свои любимые работы… А без любви вообще ни одна работа не делается. Я про себя опять же; может, кто и умеет работать (я имею в виду: в кино, актером) без любви, я — нет. Каждая работа, больше или меньше, но чем-то, где-то обязательно дорога, обязательно памятна.

В общем-то характер у меня… ну, может, не совсем уж сквалыжный, но не шибко-то покладистый; упрямый, «поперечный»… А, может, принципиальный?.. Я не умею и не люблю просто рассказывать, мне обязательно надо — хорошо бы! — с кем-нибудь спорить, что-то опровергать, доказывать свое! Сейчас вот вспомнил о своей работе в фильме «За облаками небо» (сценарий Ю.Принцева, режиссер-постановщик Ю.П.Егоров, производство Киностудии им. Горького), и захотелось мне поспорить и возразить, ни много ни мало, а самому К.С. Станиславскому, который когда-то утверждал, что нет маленьких ролей. Есть, Константин Сергеевич! Да еще какие маленькие. Мизерные просто! Но в чем я согласен со Станиславским, так это в том, что величина роли измеряется не временем присутствия данного персонажа на сцене или на экране и не количеством текста, ему автором отпущенного, а количеством проблем, тем, идей, количеством жизни, вмещенной в это, пусть даже короткое, пребывание персонажа на сцене (на экране). Одна из самых любимых и дорогих моему сердцу ролей — роль Степана Жерехова в фильме «За облаками небо» — работалась всего один день! Снималась, правда, два, но работалась всего один! Но зато какое же это было наслаждение и счастье — работать над ней. И мука. И страх, и отчаяние, и напряжение всех душевных сил, и борьба с режиссером — сперва борьба с ним вроде бы даже и против него, но потом, к величайшему моему счастью, оказавшаяся борьбой вместе с ним, с режиссером за результат, за глубину, за смысл, за плоть и кровь, за донесение до зрителя всей сложности и красоты этого человека, и любви нашей к нему.

Жгучей, до слез… Юрий Павлович воевал рядом с такими людьми, я их видел, жил с ними, вернувшимися искалеченными с фронта…

Для тех, кто не видел картину или забыл, напомню, в чем там суть дела: вернулся в родные места с фронта герой фильма, летчик (играл его Геннадий Сайфуллин). К нему кидается вдова его однополчанина с вопросами о муже: «Как? Где? Ведь вместе служили…» «Да, — отвечает. — Было. Помню. Сбили твоего Степана… Загорелся, потянул к лесу… Парашют помню, стало быть, вроде выпрыгнул… а дальше… Там такое было…» Дальше он ничего не видел и не знает.

Потом у этого летчика со вдовой (играла Лариса Малеванная) возникает, вспыхивает, получается любовь… И все вроде хорошо, все идет к свадьбе, но! Тревожат героиню какие-то непонятные, из разных мест приходящие время от времени на ее имя переводы. И вдруг ее осеняет: это он, муж… А зачем, почему так странно — не понимает. И просит своего «героя» и любимого найти этих доброхотов и все выяснить. И герой находит на берегу моря, в какой-то мастерской при причале Степана Жерехова, бывшего своего однополчанина и бывшего мужа своей любимой. А тот — без ног. Живой, но без ног.

И вот в небольшой сцене, которая снималась всего один день, а на экране длится минут пять, от силы десять, надо было успеть рассказать, то есть показать, что мой Степан и гордый человек, но в совместной (довоенной) семейной жизни и любви был не очень счастлив. Почему никак не мог явиться к любимой женщине, в чьей любви не безусловно был уверен (не в верности, а именно в любви!), не мог вернуться к любимой безногим уродом, инвалидом, недочеловеком… И что забрался он куда-то в глушь, к морю, чтобы подальше от цивилизации, где «самолеты не летают», потому что душой-то он навек остался летчиком, а потеря ног навек изуродовала, обезножила, обрубила ему не только тело, но и обескрылила, обрубила, усекла душу… И почему разыскал его и узнает про его непростые семейные дела бывший однополчанин, с которым они никогда особенно ни близки, ни дружны не были — «твое-то какое место в этом деле?» — есть у него что-то к его, Жерехова, жене, или с ней, или нет?.. И навек разведшая их безжалостная и несправедливая судьба: «Ты-то вон, полковник! А я…» И еще какие-то «задачи», «линии», «темы», которые должны были прозвучать, которых за давностью лет сегодня уже всех и не вспомнишь…

Когда-то, в недолгую бытность мою актером в Театре им. Ленинского комсомола, была у меня там роль тоже с несколькими «задачами», которые неизвестно как было все вместе

сразу играть. Мои герои, молодой (как и я тогда) водитель, шофер, сбил девочку. Вольно-невольно, был виноват, не был. (В финале выясняется, что, конечно же, не был, и «девочка та давно в школу бегает»), но до этого финального выяснения попадает мой герой, поскольку в общем-то не проявил мужества, испугался и сбежал, попадает в довольно-таки запутанную ситуацию. На сцене он появляется в другом месте (не там, где сбил, а там, куда прибыл, сбежавши) и должен при первом же своем появлении и нести в себе груз всего с ним произошедшего — и скрывать это за внешней бравадой. Вот как это? Начинаешь «бравировать» — никакого «груза» не ощущается, несешь «груз» — сразу виден «груз», а его надо скрывать. Ничего не получалось. А ставил спектакль Б.Н. Толмазов, народный артист РСФСР, очень толковый режиссер, истовый приверженец системы Станиславского. «Ну-ка, — говорит, — ничего мне в сцене не надо, никакого «сокрытия», никакой бравады — играй «сбитую девочку», — это на репетиции. И действительно! Ведь чтобы снять, допустим, какие-нибудь всполохи, фейерверки или еще какие-то световые эффекты в ночи, надо ведь, чтоб сперва была ночь, а потом уж в ней, в ночи, чтоб были прорывы, всполохи, эффекты. Но сперва надо, чтоб была ночь. И чтоб все поверили в эту ночь. А чтоб сразу и эффекты, и ночь вокруг… Ни того, ни другого не будет. Не выйдет. Не получится.

Вот и тут: я должен был вжиться в состояние «согрешившего», допустившего и несущего этот груз на душе, а потом, в разговоре, в знакомстве с новыми людьми, я могу бравировать и бодриться, выламываться сколько угодно, но если я нажил на донышке души состояние «согрешившего», совершившего что-то непоправимое и мучающегося этим человека, я, набравировавшись, навыламывавшись, буду возвращаться к тому, нажитому состоянию вины, греха, муки внутренней душевной, а уж где это произойдет: непосредственно в разговоре ли, в паузе ли какой-то неожиданной — имеющий глаза да увидит!

И здесь, в фильме, памятуя о том уроке Б.Н. Толмазова, захотелось мне влезть в историю, в судьбу Жерехова, в предысторию его, о которой он и рассказывает в снимавшейся сцене. Но полнее и безогляднее окунуться в эту «предысторию» мне мешал текст роли, реагирующий на сегодняшние, сиюминутные раздражители, и я просил Ю.П.Егорова убрать из текста эти места, чтобы спокойно и всецело отдаться «воспоминаниям» и пережить их — в жизни-то я ничего этого не переживал, это я мог только представить себе в спокойном, связном рассказе, а текст рассказа у автора постоянно перебивается какими-то сиюмгновенными впечатлениями,

отвлечениями, которые поначалу меня выбивали из состояния и жутко мешали. Умоляю Юрия Павловича выкинуть эти «отвлечения» — он ехидно ухмыляется и кажет мне «фигу». Куда денешься? Хозяин — барин…

Не помню уж, как я там выкручивался, может, уходил куда-нибудь за камни (снимали на причале в Гурзуфе) и сам себе рассказывал, представлял и переживал всю «историю» героя своего без всяких «отвлечений», просто историю моего персонажа, в чистом виде, так, как она когда-то с ним «произошла». В общем как-то набрал, «взрастил» в душе всю историю моего Жерехова, пару слов Юрий Палыч все-таки позволил и изменить, когда почуял, что «заиграла», «зажила» во мне судьба Жерехова, ну, а когда «зажила», тогда уже и сиюминутные отвлечения не смогли ее задавить, зажившую-то душу, а только лишь выпуклее, рельефнее, разными ракурсами ее подавали и освещали.

Вот такая «борьба» была с режиссером Ю.П.Егоровым и «против» него, и «вместе» с ним за результат, за глубину.

Съемки каждого фильма у нас — если у тебя там работы не на один день — месяца три-четыре, да потом озвучание (тонировка), досъемки, пересъемки — в общем, это всегда хороший кусок твоей жизни, сроком в полгода, а то и больше. Ну, а куски жизни, как и сами жизни, бывают разные: бывает и хорошо, и великолепно, и сказочно, божественно — особенно смолоду, — а бывает и так себе… А то и так, что и вспоминать-то не хочется… И потому свои фильмы я обычно гляжу с двойным отношением: с одной стороны, хочется абстрагироваться (от самого себя) и, елико возможно перевоплотиться в объективного, беспристрастного зрителя (что, конечно же, никогда не удается), чтобы самому понять, что же мы там наработали; а с другой стороны, каждый свой фильм смотришь еще, как смотрят люди дома любительские фильмы про самих себя, про отпуск, про туристскую поездку куда-нибудь.

«Андрей Рублев» вон снимался около года, почти целый год. И, конечно же, во время съемок была своя жизнь, новые места, новые знакомства, друзья, замечательные и интересные люди… Много всего было — плохого и хорошего, разного, — год жизни был!..

А в общем-то я слегка привираю, наверно: при просмотре своей картины вспоминаются окружающая и сопутствующая съемкам жизнь только в том случае, если картина не удалась, не захватила тебя. Когда я смотрел «Рублева» (а смотрел я его раз 18… если не 38. Я смотрю его всегда, если есть возможность, не могу отказать себе в этом удовольствии… А возможности бывали: где-нибудь после выступления о Тарковском можно сразу уехать

домой, а можно остаться и посмотреть фильм — я остаюсь и всегда смотрю; где-нибудь в Мурманске крутят ночью по телевидению ретроспективу фильмов Тарковского — я смотрю, хотя только что прилетел, выступал и с утра тоже выступать…) Так вот, когда я смотрел «Рублева» в третий, пятый или шестой раз, я вдруг ясно понял, что это было счастье. Да, счастье! Не тогда, когда я для тренировки, для того, чтобы уверенней и спокойней чувствовать себя в седле, каждый день после съемки отгонял вместе с конниками лошадей на конюшню за 4 километра — а это было… это было… не сказать как! Это испытать надо.

После изнурительного съемочного дня на отупляющей, обезволивающей жаре, в посвежевшем вечернем воздухе мы, разбитые усталостью, огромной кавалькадой переходим мост через Клязьму во Владимире, туда, за Клязьму, на выезде из города, по направлению к гос-конюшне.

— Справа под ноги! — вдруг кричит впереди головной. И все встрепенулись, очнувшись от полусонного забытья, в котором покачивались в седлах на усыпляющем шагу, ощущая под собой тепло и надежность мерно переступающей лошади и какую-то сладкую бездумную умиротворенность после напряжения рабочего дня. А напряжение было! С семи утра — грим, а с восьми — уже в седле, не слезая, ну разве что с перерывом на обед, на жаре, под солнцем, весь заклеенный в усы и бороду, в железе и мехах — княжеская боевая экипировка: кольчуга, музейная, истинная, на голове мисюрка с подшлемником, да поручи, да зерцало, да сабля с ножнами, а сверху еще соболем отороченная не то шуба, не то плащ, бурка, накидка…

— Справа под ноги! — и все проснулись, вернулись к действительности. И сурово, грубовато (в кавалерии какие сантименты?) передавая друг другу по цепочке: «Справа под ноги!», внимательно обходим какую-то дыру на мосту (как раз для конского копыта! ноги ломать…) не то от вывернутого, выдернутого столба, не то от другой какой нашей «расейской» аккуратности, предупредительности и заботливости о ближнем.

Минуем мост, переходим шоссе и спускаемся на берег, налево, к реке…

— Ну? Все там? (мол, перешли и спустились).

— Все-е! — спустились и собрались…

Солнце тем временем село. Быстро, прямо на глазах темнеет, и возле реки передергивает плечи уже не прохлада, а сырость… И тут слышишь: «Повод! Рысью марш!..» «Га-алопом!!«…А может, и без команды уже срывались в галоп и лошади, и люди, взбодренные околоречной свежестью, предвкушая близкий отдых

и ночлег. И с визгом, с гиканьем, со свистом неслись по извивающейся тропинке, успевая только нырять головой и телом под возникающие неожиданно из темноты ветки, чтобы глаза не выхлестнуло!..

А потом — пешочком. Те же 4 километра. Обратно в город, в гостиницу. Ночью. Частенько не успевая к ужину… И все равно все это было восхитительно! Не знаю, кому как — мне нравилось. Мне и сейчас хорошо от одного только воспоминания…

Кстати, общение с лошадьми сам Андрей, по-моему, тоже почитал и воспринимал, как счастье. Во всяком случае, дважды за это счастье, за это общение чуть жизнью не поплатился: у него не было возможности, как у меня, много времени отдавать этому общению, с постепенным освоением каких-то навыков, хотя бы с усвоением примитивных азов техники безопасности — в результате его дважды лошади скидывали. Один раз протащив за застрявшую в стремени ногу и что-то там в паху порвав, а другой раз, когда ему почему-то вздумалось, севши на маленькую колхозную лошаденку, махнуть ей сверху перед глазами шапкой, — она со страху шарахнулась от неожиданности, а вылетевший из седла Андрей очень серьезно разбился о какое-то подвернувшееся на грех дерево. И все равно его тянуло к лошадям! Да это и по фильму, по «Рублеву», видно. И по другим тоже. Лошади — это очень здорово, замечательно! Но это было еще не полное счастье.

И не тогда было счастье, когда нас возил по Псковской земле по древним городищам и погостам, и к Пушкину, в Святогорский монастырь, в Михайловское, Тригорское, и показывал, и рассказывал чудесный человек архитектор-реставратор Борис Степанович Скобельцын — хотя и это было очень славно и очень близко подходило к ощущению, понятию того, что принято называть «счастьем». Но — только подходило, приближалось. А истинное счастье, полное и безущербное, как я это понял и ощутил с абсолютной очевидностью и ясностью при третьем, пятом или шестом просмотре фильма, — счастье было именно в тот момент, когда я снимался… Когда я участвовал в большом, важном и нужном, в очень хорошем деле! И своим участием этого дела вроде не испортил! Я считаю «Андрея Рублева» нормальным, обыкновенным гениальным фильмом. Может, я не прав, но я так считаю. И мне особенно приятно было узнать, что я не одинок в этом своем мнении: Международным жюри в Италии «Андрей Рублев» был назван в числе ста лучших фильмов мира. (Это где-то 70-е годы, а нынче, говорят, перенесли его, фильм, в первую десятку, да и чуть ли не на 3-е место!..)

Вскоре после «Рублева» режиссер Юрий Швырев пригласил

меня еще в один исторический фильм: «Баллада о Беринге и его друзьях». К истории меня всегда тянуло, еще с первого класса, когда я увидел фильм «Александр Невский», впервые услыхал о Дмитрии Донском, о Куликовской битве, когда впервые прочел (или мне прочли) «Тараса Бульбу». Но как-то в школе мне с историей не повезло, почему-то я ее не учил. Не знаю уж, кто здесь был виноватее: учителя, не сумевшие меня достаточным образом заинтересовать, или собственная могучая лень. Да, конечно, лень!.. Но вот теперь наконец я до истории добрался! Окунулся в нее, влез, с наслаждением, с неиссякающим, неубывающим, а все возрастающим и возрастающим интересом. У меня интерес к истории еще и личный, интимный, что ли, связанный с моим происхождением из Сибири, из Новосибирска: как? откуда и когда мы, русские, взялись в Сибири? Ну, Ермак — это легенда почти, кто его донским казаком считает, кто уральцем; за Гомера, говорят, вон тоже семь городов дерутся уж чуть не две с половиной тысячи лет. Ну, это интеллигентные греки семью городами две с половиной тысячи лет спорят между собой за право считаться родиной Гомера. Мы в этом отношении гораздо спокойнее греков, нам — «в три горы», как говорят, с Дона там Ермак или с Урала… Да и вообще: был у нас Ермак, и что он для России сделал, или его и вообще не было, а так, придумали песню: «Ревела буря, дождь шумел…», да и орем ее по пьяному делу…

А меня это все-таки почему-то волновало: кто, какие люди заселяли Сибирь? Откуда наш специфический сибирский говор? Почему он так разнится от московского и так близок тверскому, нижегородскому? Известно, что после Ермака шло дальнейшее продвижение русских на Восток: XVII век, землепроходцы. Казаки, за ними — купцы. Обтекали Урал: с севера водным путем и с юга, но тоже по воде: речками, на стругах, а где и волоком. На приглянувшихся местах рубили крепости-остроги, осваивались там, потом двигались дальше. Но кто, кто они были, первопроходцы-то? Откуда? Семен Иванов Дежнев — из Великого Устюга, говорят. По другим сведениям, из Волоко-Пинежской волости Двинского уезда, помор вроде бы. Руководитель и организатор Дежневской экспедиции Федот Алексеев Попов — холмогорский… Ерофей Павлов Хабаров — опять же устюжанин. Все — север. Все — поморы. И говор сибирский, если сравнивать с московским южным «аканьем» — ничего общего… Искал я, искал и наконец, сообразил заглянуть к Далю, а там черным по белому: «Сибирское наречие составилось из смеси новгородского с владимирским…» «Первые купцы, земледельцы, посадские, ямщики, казаки, даже духовенство — все это приливало в Сибирь

с Севера». Ага! Новгородцы, значит! Север — и Сибирь! Разыскал родственников. И на душе как-то покойнее стало… А тут еще одна радость: нашел вдруг тихого, скромного, никому почти, кроме специалистов, не известного писателя, архангельского, северного фольклориста Бориса Викторовича Шергина. Впервые я его имя встретил в одном из предисловий к П.П. Бажову: что, мол, вот Бажов у нас замечательный уральский сказитель, но не единственный в нашей культуре, был у нас, есть! еще северный архангельский, Б.В. Шергин… Мне он доставил массу радости. Отвечаю я на Ваш вопрос о любимых ролях? Видите, разговор действительно получается как-то не о ролях, а скорее все-таки о работах…

Из беседы с Александром Колбовским

— Сибирский характер… Что это такое? Как вы думаете, вы по характеру — истинный сибиряк?

— Сибирский характер? А что это такое? Я ненавижу сибирских двурушников, прохиндеев, конъюнктурщиков нисколько не меньше, чем таких же из любого другого региона страны. Никакого отношения к Сибири вроде не имели ни Шолохов, ни Ф.А.Абрамов, ни Б.В. Шергин, но как же я слышу их! Понимаю! У французов, кстати, это обозначается одним словом «entendre» — слышать, понимать. А вот своего земляка Анатолия Иванова (автора «Вечного зова» и прочего) — ну хоть убей — не слышу и не понимаю.

А кто вот мне ответит на вопрос, почему сегодня нашим детям так бедно, так непростительно мало и пресно преподают нашу героическую и трагическую отечественную историю? Я просматривал учебники своих детей, там сказано, что Америку открыл Колумб, что в исследовании Африки большую роль сыграл англичанин Ливингстон… А кто нанес на карту все и северное, и восточное побережья Евразии? Каких трудов и жертв, и героических усилий это стоило? И что это за имена на карте стоят: мыс Челюскина, море Лаптевых, море и пролив и остров Беринга? Об этом нигде ни слова — я про детские учебники говорю. Очень досадно. По-моему, заслуги участников двух экспедиций Витуса Беринга перед человечеством, и уж во всяком случае перед Россией, ничуть не меньше заслуг… да хотя бы и первооткрывателей космоса.

Двенадцать лейтенантов флота российского, выпускники созданной Петром Морской академии, «сии птенцы гнезда Петрова» по пронзительному и гениальному определению

Пушкина, прошли по рекам, впадающим в Ледовитый океан каждый по своей, и нанесли на карту, впервые в истории (!), весь этот дикий, страшный, неподсильный, пожалуй, никому, кроме русского человека, край. По Печоре шел Степан Малыгин, по Оби — Дмитрий Овцын, по Енисею — Василий Прончищев, который и погиб в этой экспедиции вместе с женой Марией, первой русской женщиной — полярным исследователем, а дошел и нанес на карту самый северный мыс Евразии бывший в экспедиции Прончищева штурманом Семен Челюскин, чье имя и осталось в названии этого мыса; по Лене и Колыме шли братья двоюродные Харитон и Дмитрий Лаптевы. А руководили всей этой колоссальной работой Витус Беринг и Алексей Ильич Чириков. Беринговы экспедиции (I и II Камчатские) — это XVIII век, 1725–1730 и 1733–1741 гг. Кстати, работавший в рамках этой же II Камчатской экспедиции историк Миллер впервые нашел в Якутском архиве челобитные Семена Дежнева, из которых стало известно, что русские люди еще в XVII веке обогнули северо-восточную оконечность Азии, после чего, уже в 1898 году, по решению Русского Географического общества этот мыс и получил имя Семена Дежнева. Беринг тоже погиб в этой экспедиции и похоронен на острове, названном его именем, а Чириков вернулся. И Америки он достиг раньше Беринга, и благополучно вернулся в Петропавловск-Камчатский (который и назван-то по имени кораблей Беринга и Чирикова: «Святой Петр» и «Святой Павел»), и завершил всю колоссальную работу по нанесению на карту пятнадцати тысяч километров береговой линии северо-востока Азии. Только об увековечении и прославлении своего имени не успел позаботиться… Но ему-то некогда было, у него других забот хватало. А мы? Беспамятные. Неблагодарные… Что мы сделали для увековечивания памяти этих людей, нашей гордости, нашей славы? Пару кораблей их именами назвали, да где-то остров, где-то мыс, где-то пролив? Но этого же безбожно мало! На этих судьбах, этих именах детей воспитывать надо, а мы? «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — считал А.С.Пушкин. Можем мы что-нибудь ему на это возразить? Но мы возражаем! Постоянно. Всей нашей практикой, всем нашим упрямым, занудным, каким-то прямо-таки бараньим повторением и повторением собственных же ошибок!.. Какового ни унять, ни остановить не можем! А может, даже и не желаем… Не желаем! Ни знать, ни уважать прошедшего, ни детей учить на его горьких и высоких примерах. Тысячу раз прав Пушкин в своем убеждении, что только «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». Да мы же сами себя обкрадываем! Их уж 250

лет как нет, тех героев наших, им давным-давно ничегошеньки не надо, это нам надо! Детям нашим. Внукам. Чтоб людьми быть, цивилизованной нацией. С историей. С памятью. С гордостью!

Но и зато какая же перспектива у нас!

Ведь герои Беринговых экспедиций, лейтенанты флота российского, «птенцы гнезда Петрова», из них же каждый — каждый! — и судьба, и история, и сюжет, и тема. И для пера, и для подмостков. И для резца, и для кисти. И для скрипки, и для оркестра. А уж для кинематографа-то! Только бери, только копай. Тут тебе и неотразимая, прямо-таки коммерческая завлекательность, и углубляющее ум и расширяющее кругозор знание, и воспитание и души, и тела, и чести, и совести!..

«Эх, ты, недотепа…» — давно хочется сказать всему нашему кинематографу, как ворчал когда-то в «Вишневом саде» у Чехова старый слуга Фирс… Если бы не метаться нам в безумных копированиях и подражаниях из одной крайности в другую, если бы с душой да с головой окунуться в собственную историю, не закрывая, конечно же, глаз и на опыт других народов, но собственную-то поглубже, поосновательнее узнать. И ведь примеры есть у нас. Как вон тот же Тарковский проник во времена Андрея Рублева. И для нашего времени кое-что открыл, глубоко и с умом проникнувши в пятнадцатый век. Весь цивилизованный Запад, которому мы сейчас из-завидовались и исподражались, кинулся тогда подражать Тарковскому, вспоминать собственную славу и гордость: итальянцы много телевизионных серий посвятили Леонардо да Винчи, немцы — Иоганну Себастьяну Баху. Ну и что, вышло у них что-нибудь? Не подражать надо, а думать. Искать. И нам — тоже! А материал у нас — вон он, под ногами — наше золото, наше богатство неиссякаемое, наша история (из которой Тарковский-то и копнул! Да как удачно!)

С моей колокольни глядючи (по моему частному суждению и убеждению)… Кроме удивительного, феноменального двойного автопортрета: Рублев и Бориска — и тот, и другой — это ж духовные автопортреты самого Тарковского, кроме пророческого предсказания собственной судьбы (Бориска — «такую радость людям сделал», а его за это и копытами власть предержащие чуть не стоптали, и оставили в одиночестве рыдать у пыточного колеса…), Тарковскому в «Рублеве» удались две главные гениальные вещи. Первая — это глубочайшее погружение в жестокие парадоксы российской истории, чем он — как ни странно! — не принижает ни историю, ни характер, ни судьбу России, а поднимает на какую-то звенящую, пронзительную высоту и свою, и нашу (!) любовь. И к этой земле и народу, на ней

живущему.

И вторая — это проникновение в душу художника! Великого, гениального художника. В его муки и радости. Что, на мой не бесспорный взгляд, не удалось сделать его западным последователям и эпигонам. А удалось все это Тарковскому по одной простой причине: потому что он сам был великим художником! Не великому художнику к судьбам великих людей, по-моему, лучше не прикасаться — толку не будет… Тарковский сам был великим художником, с бесстрашным, открытым взглядом на окружающее, на мир, с глубочайшими нравственными и философскими поисками, муками и страданиями, с величайшей мудростью, человеколюбием, правдолюбием, милосердием и самоотречением, с беспощадной требовательностью к самому себе, к своему труду, к своему искусству. Мне кажется, во все это ни перевоплотиться, ни «проникнуть» нельзя, таким просто надо быть.

Невеликий повествователь, рассказывая о великом человеке, проникает как бы через замочную скважину в интимно-бытовые подробности жизни великого человека (и нас за собой в эти подробности втягивает!) — в то, как у Баха глаза болели, как Моцарт весело и жизнерадостно хамил всем окружающим, потому что он-де гений, а окружающие — еле-еле барахло; а Верди очень как-то противно и недостойно самого себя ревновал к славе молодого и талантливого Бойто. А великий рассказчик проникает в душу того, о ком рассказывает, в муки творчества — не в спор о том, покупать ли новый загородный дом, как его отстраивать и на какие деньги, а в высокий спор двух гениев, двух гордостей русской и мировой культуры, в высочайший спор метафизика Феофана Грека, скорбного, трагического метафизика, который все видит и верно обо всем судит, только не верит в развитие. В возможность развития для человека вообще, а для русского — в особенности. И светлейшего диалектика Андрея Рублева, свято верящего, ощущающего, чувствующего всеми клеточками, всем существом своим, что любовью, милосердием, просвещением может и должна преобразиться, да, темная сегодня, да, грешная, но не безнадежная для духовного преображения душа русского человека. И не оголтело, не зажмурившись и не реагируя на вокруг происходящее, верит в это Рублев. А верит как живой и зрячий человек. Со взлетами и падениями. С провалами в черное отчаяние, но и с новыми солнечными взлетами! Вспомните, вспомните все пронзительные сцены и с Феофаном, и с Даниилом Черным, учителем. Споры чуть не до остервенения, до горького разочарования и непонимания, непринимания, не прекратившиеся даже со смертью Феофана, который и мертвым

является Андрею в минуту жутчайшего душевного потрясения в разрушенном храме… А «Молчание»? А покаяние Кирилла? Не слюнявое, показушное покаяние: «Ах, какой я был плохой, и как я в этом раскаиваюсь…», — а покаяние действенное, подвигнувшее гений Рублева на творчество, на новый взлет, на создание величайшей и бессмертной «Троицы»! Создания во имя и на благо человека, для и ради его просвещения и спасения, а для меня Рублев является одним из первых, кто созидал душу русского человека.

И становится тогда нам понятно, как, откуда и почему получил такое нетрадиционное решение «Страшный суд» на фреске Успенского собора во Владимире. Не традиционное: подгоняемые вилами чертей, в ужасе и безнадежности валящиеся в огонь и смрад, в кипящее, пузырящееся гноище преисподней скорбные души грешников, а… торжественное шествие жен-мироносиц!

— Праздник, Данила, праздник!! Какие ж они грешницы? Нашли грешниц…

Кстати, еще пример «христианского смирения», покорности догмам и канонам Священного Писания и у Рублева, и у Тарковского… Становится понятно, с чего, откуда и почему явились людям «Троица» с идеей согласия и гармонии; и милосердный (!), а не карающий «Спас» из Звенигорода… И кому какое дело, какие были гнусные или очаровательные привычки, отвратительные или прелестные черты характера у Цицерона или у Петрарки? У Чайковского или Рафаэля? У Шопена, Рабле, Моцарта, Шекспира или Достоевского? У Тарковского или Рублева, или у безвестного мастера, отлившего чудо-колокол?..

А в этих западных нескончаемых телесериалах все замечательно и правдоподобно: и портреты, и эпоха, и интерьер, и актеры вроде здорово играют, только непонятно, откуда взялись-родились «Джоконда», си-минорная Месса, «Реквием» или «Аида»…

Пусть обвинят меня в квасном патриотизме, но, ей-богу, западному искусству такое не по зубам. Это доступно только русскому искусству. Скажу больше, социалистическому. Хотя на бесспорности этой мысли не настаиваю, но мне абсолютно серьезно, искренне и убежденно кажется: такое доступно только нашему и именно социалистическому искусству, художнику, рожденному в нашей стране, а возможно, и в нашей поруганной системе. Я вполне допускаю, что с этой мыслью прежде всего был бы не согласен сам Тарковский, и тем не менее мне так кажется… Пусть это будет моим психозом. Имею я право на психоз? Сам-то про себя я твердо знаю, что никакой это не психоз, а самая что ни

на есть правда истинная. Западное искусство всегда было более индивидуалистическим. Хотя в лучших своих образцах поднималось до уровня общественного, т. е. социалистического («Песнь о Роланде», «Дон Кихот» и пр.), а русское искусство, русская классика всегда, начиная со «Слова о полку Игореве» — да раньше! — с летописей и «Поучения Владимира Мономаха» всегда было общественным, стало быть, социалистическим. Только после 1917 года махровым цветом расцвело массовое псевдосоциалистическое псевдо же искусство. Чем дискредитировало, опаскудило и самый термин. А в лучших образцах было, есть и всегда пребудет социалистическим, т. е. общественным. И «Тихий Дон», и «Белая гвардия», и Платонов… И Тарковский! До «Ностальгии» и «Жертвоприношения» — там, мне кажется, и его свернуло в западную сторону, от общественного ближе к индивидуалистическому.

Из моей жизни в «искусстве»

Из дневника: 21 августа 1962. (Окончив в 1960 году училище, успел уже окунуться в актерский мир, поработать и в театре, и в кино). Русь… Ленивая, удалая, могутная. Родная… Где тебя сегодня найти? Ты есть еще! Есть! Добрая, большая и несуразная. Ты все та же, что и прежде, только бы поймать тебя сегодня, услышать, куда ты сегодня несешься. Талантом нужно быть на тебе. Без таланту темновато. Люблю я тебя… Песни люблю, жизнь твою, людей твоих, всю люблю, какая есть, но что я-то для тебя могу? Где мне в тебя вклиниться? Каким винтиком?

Смотрел вчера «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого. Понравилось. Все известно: и верность («Жди меня»), и разбитый ЗАГС («Третий тайм»), и счастливый конец, а все равно понравилось! Чутко, умно, человечно сделано, лучше и выше, чем «Жди меня». Очень понравилось. А никому не нравится (из тех, кто были вокруг, с кем общался)… Им вот «Иваново детство» нравится… Боже, как скучно с ними, с ихней бодростью, «юмором», благополучием… Как? Как в Русь вылезти?

…Ныть не надо. Жить надо. Понятно. Но актеры опостылели! Опостылело их самодовольно-квакающее болото, (прямо «Глумов»), а выхода нет, не видно. Ну что хорошего было в моем актерстве? В училище — только одинокие мечты да планы. В «Залпах»… (первая главная роль, фильм «Последние залпы»). Занятость? Витька (приезжал друг Лихоносов в Закарпатье на съемки. Как же без друга?!) «Любовь-война»? (И это было.) «В Минске? (вторая картина моя была: «В трудный час»; друг

Малыгин, посмотревши, телеграммой обрадовал: «Посмотрел «В трудный час» вкралась ошибочка это было два трудных часа»… Вот такие вот радости. А картина вроде ничего получилась, очень даже ничего, но это позже ощутилось, а тогда вот эти вот чувства были…). В Минске — ни хрена хорошего, потом — только Танька (жена), да кой-какие мысли относительно «Последнего хлеба» (мысли были, а сняться не довелось).

Что, что придумать? Куда деться? Денешься, как завтра Танька родит, а денег уже сегодня нет… без родов да и с кином!

Эх… образовалось бы! Где-нибудь отдыхали бы, от нечего делать что-нибудь доброе сделать бы… в шутку бы чтоб пригласили: «Оставайтесь, мол, у нас». — А я бы — всерьез! Со всеми моими и остался бы!..

Еще дети как поганцами вырастут… (на одном ребенке я останавливаться не собирался. Да так и сделал.) Поди влезь в ихнее время да в их душу, когда со своим-то тут…

Чем мне дорог Тарковский

«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» ТАРКОВСКОГО

(приз Международной критики на фестивале в Каннах 1969 г.)

Произведение самое грандиозное из тех, что мы видели в Каннах.

«Франс суар»

Речь идет действительно о шедевре.

«Юманите»

Этот фильм благороден и прекрасен.

«Монд»

Это фильм фильмов.

«Юманите димам»

Этот молодой гений возбуждает наше восхищение совершенной оригинальностью своего произведения

«Леттр франсэз»

Неизвестный фильм потряс фестиваль.

«Пари матч»

У меня в душе, в памяти, в очень глубокой моей любви к нему и благодарности (конечно же, ему в свое время не высказанных) живет свой Тарковский. Возможно, очень мало похожий на «всеобщего». Наверняка неполный. Мой. Локальный. Но поскольку не без любви и благодарности живет он во мне, мне кажется, что эти мои к нему и любовь, и восторги, и благодарность тоже, может быть, чего-нибудь стоят. А может даже смогут чем-то и дополнить всеобщую сегодня любовь и благодарность к нему.

Что я могу сказать о Тарковском? Наверно, только то, что сам знаю, с чем сам сталкивался. А сталкивался я с Тарковским 60–

70-х годов, а это был по моему ощущению и твердому убеждению совсем другой Тарковский, нежели позже… Ну, может, не совсем, но все-таки… «Вращается весь мир вкруг человека, — ужель один недвижим будет он?» — когда-то вполне справедливо замечал А.С.Пушкин. А мир вокруг Тарковского «вращался»… И весьма ощутимо, весьма по-русски. Конечно же, и он менялся. Не мог не меняться.

«Горькая детоубийца — Русь!..» — как тоже не без справедливости сетовал несколько позже Максимилиан Волошин. Так вот горькая детоубийца Русь» — в который уже раз! — выродила чудо! Себе на радость, на гордость, окружающим на зависть…

Но сколь богата и неиссякаема ни была всегда Россия на таланты, рождение их и восхождение, — во все эпохи и провалы своей истории неумных-то рук у нее всегда оказывалось столько, что никакое изобилие талантов ни в какие времена никогда не поспевало ни ускользнуть от них, ни увернуться. От неумных рук своих. Ну нельзя же назвать «головами» то, что давило Тарковского. Только «руки». Вот эти вот самые. Да одного ли только его? Во все времена… Во всех областях человеческого знания и творчества. С чего мы в свое время «Слово о полку Игореве» на 600 лет потеряли? Иго виновато? Сейчас… Кроме татарского ига, которому вполне естественно было наплевать на нашу гордость и культуру, своих дураков и разгильдяев с тем же «татарским» отношением к нашей культуре мало было? Чудо еще, что нашли. Найдем ли книгу академика Вавилова, писанную без всякого татарского ига в наше время в нашей тюрьме?.. Я не очень хорошо помню ужасы татарского ига, но ужасы ига наших неумных рук — вот они! Здравствуют по сей день. И, как это ни печально, кажется, ни на пенсию, ни в отставку, ни в архив не собираются…

А Тарковский… Вроде бы я отвлекся от темы. А вроде и нет. Потому что тема России, всех ее бед и тягот, и загадок, так до сих пор никем не постигнутых и не разрешенных, была самой ключевой, самой становой, самой больной и неотпускающей темой моего Тарковского, того, которого я знал; когда я его знал.

Особенно близки мы с Андреем не были. Хотя я снялся у него в двух фильмах, хотя где-то в застолье, поднимая за меня тост, он однажды сказал: «Я не имею чести быть другом Юры…» — стало быть, дружбу со мной вроде почитал за честь; хотя был я у него дома раза два-три (раз где-то на проспекте Мира, потом на Мосфильмовской), пару раз он у меня был. Когда у меня произошли крупные сложности, он при встрече очень участливо справился: правда ли или брешут люди? Но вокруг него всегда

столько толпилось народу… В шутку ли, а может не совсем, он опасался переезжать на «Мосфильм», потому что: «будет приходить… (такой-то) — за жизнь толковать…» (Слава богу, называл не мою фамилию.) Так что народу вокруг него и без меня хватало.

Больше всего я — как гражданин, как личность, как некая условная единица восприятия культуры, что ли, если можно так выразиться, — больше я получил все-таки от его фильмов, чем от личного общения. Да, наверно, это и правильно! Чего бы стоило его творчество, если бы личное общение с ним давало больше, чем общение с его творчеством?

Он всегда ориентировался, адресовывался, рассчитывал как-то на умного зрителя. Он стеснялся делать фильмы для дураков. Вся советская кинематография, в подавляющей своей массе, — не стеснялась, а он стеснялся. Может, именно поэтому руководство «не понимало» и не принимало Тарковского? Руководство знало, какой и чьей страной оно руководит, а этот… Упрямо делает и делает фильмы для каких-то… ну, явно же, не из этой страны!

Что же лично мне дают фильмы Тарковского? Тарковский для меня является… представляется мне нормальным режиссером кино (как Шаляпин был нормальным оперным артистом, Пушкин — нормальным поэтом, Рахманинов — нормальным композитором и т. д.) Все остальные, ну не все, конечно, но все-таки подавляющее большинство, кто к этой норме приближается, кто стремится, кто только мечтает, а кто и… (и очень немалое количество!) движется в диаметрально противоположном направлении. Как-то примерно так же он и сам считал: когда очередное мосфильмовское руководство (опять же: «руки»!) не принимало очередную его картину (не помню, не то «Зеркало», не то «Сталкер»), оно, руководство, мотивировало это свое неприятие тем, что оно, дескать, «не понимает», о чем картина.

— Ну и что? — отвечал Тарковский. — Я не понимаю ни единой картины, которые выпускает «Мосфильм». Кроме «Калины красной», вот это я понимаю, а больше ни одной не понимаю, — ну и что? Тем не менее, все они выходят…

Шукшина, стало быть, он воспринимал как «норму», а все остальное — «не понимал»…

На «Днях советского фильма» в Польше в 1985 году, когда там только-только улеглись волнения, связанные с «Солидарностью», в одном из киноклубов меня спросили о моем отношении к Тарковскому и, в частности, к фильму «Андрей Рублев», в котором я снимался (Тарковский в это время был где-то за границей, информации о нем у нас не было никакой, фильмы его не шли). Я понимал, что вопрос был не «невинный».

Ну не провокация, но, во всяком случае, как у нас выражаются: «проверка на вшивость»: буду ли я выкручиваться и как?

Я ответил, что считаю — это не официальное мнение нашей кинокритики, кинополитики, а только мое, личное, частное, — так вот я считаю «Рублева» обыкновенным, заурядным (то есть нормальным!) гениальным фильмом. Что, по моему мнению и соображению, он, «Андрей Рублев», занимает в русском кинематографе примерно такое же место, как «Война и мир» Толстого в русской литературе.

Как русская литература, русская художественная культура учили меня любить Родину… Понимать ее, узнавать и — любить. Любить. Ужасаться, сокрушаться и содрогаться ее трагическим, непоправимым ошибкам — и тем несокрушимее, неистребимее любить ее! И Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и Герцен, и Салтыков, и Чехов и многие-многие другие из прошлого, Шолохов, Булгаков, В.Ропшин (Б.В.Савинков), и другие из нынешнего века, — так и Тарковский (для меня) тихо и скромно, но твердо, достойно, неискоренимо встал в этот ряд и продолжил ту же миссию.

Как-то в каком-то интервью какой-то японский корреспондент мне заметил: «Очень интересно было услышать, что Вы подчеркиваете реалистичность творчества Тарковского в «Андрее Рублеве». А мы за рубежом знаем Тарковского как великого мастера символического кино. Причем знаем, что в этом тайна и привлекательность его творчества». Ну не знаю, в чем там тайна и привлекательность Тарковского за рубежом, я говорю о себе (могу говорить только о себе), о своем отношении к Тарковскому, своем восприятии его. Сам я — реалист. По натуре, по душе, по идеологии (мировосприятию). И естественно, что мне дорога именно эта сторона его творчества — реалистическая. Но в общем-то и все его «странности», если на них смотреть философски, — это нормальный художнический, а может, и художественный реализм. Конечно, он никакого отношения к нашему ортодоксальному, дурацкому, так называемому «социалистическому реализму» не имеет (который, кстати сказать, ортодоксальный-то в подавляющей, непобедимой, ликующей массе своей не был «реализмом», даже «социалистическим»). На мой непросвещенный взгляд, социалистическим было вообще все русское искусство, начиная со «Слова о полку Игореве», в отличие от западного искусства, где гораздо сильнее была индивидуалистическая струя. А наши-то, в литературе ли, в музыке, в изобразительном искусстве — Иисусы Христы, князья, цари, самозванцы, «лишние» люди, «новые», разночинцы, офицеры-белогвардейцы, коммунисты, Гришки Мелеховы (да и Андреи Рублевы с Феофанами Греками, не говоря

о Даниилах Черных) — сроду же не за себя, все не за себя, все за людей, за «громаду», за «мир», за «опчество»! Страдают, борются, воюют, мучаются, маются, но не за себя же! А понятие «социалистический» с понятием «общественный» тоже ведь как-то связано?

А все «странности» Тарковского — это всего-навсего индивидуальное восприятие мира, окружающего. Всякий воспринимает мир через призму собственной индивидуальности, а художник — особенно. Без яркой индивидуальности он просто не художник.

В последние годы мне почему-то все время приходится оправдывать, защищать реализм Тарковского: «Мне дорог Тарковский-реалист…» озаглавлены мои воспоминания в сборнике «О Тарковском» (М., «Прогресс», сост. М.А.Тарковская, 1989 г.); «Он ни разу не оскорбил мой реализм» — нахожу еще в каких-то своих ответах какому-то журналисту… — стало быть, вроде очевидно и бесспорно, что Тарковский у нас — великий религиозный художник-символист, ну с незначительными вкраплениями реализма, каковые только я, по капризной склонности к этому бесперспективному, изжившему себя и никому не нужному направлению, упрямо и занудно пытаюсь воскрешать и отстаивать.

Я не поклонник позднего Тарковского, может, под конец жизни там у него и развились, и проявились и религиозность, и символизм. Может, если все это расцвело и проявилось к концу жизни, — может, оно и поначалу где-нибудь в душе гнездилось, может быть. Но вовне не выплескивалось. Не помню. Никакой религиозности. Ни даже какого-нибудь заметного, обращающего на себя внимание символизма. Кроме реализма я в нем, в моем Тарковском 60–70-х годов, с которым я общался и работал, кроме реализма — да ничего я в нем не помню! Не то, чтобы он занимался там своими символизмами и религиозностью и только из деликатности не обижал во мне моего трепетно обожаемого реализма, нет. Когда мы работали и на «Рублеве», и на «Зеркале», ничего кроме реализма я в нем не помню. Нормальный живой реалист был. Да еще какой! Не дубовый и пресный псевдореалист, какими тогда кишели советская литература и искусство (да и сегодня кишат! Только оперативно знаки поменяли, плюсы на минусы), а живой, тонкий, умный, пронзительный, парадоксальный, всеохватывающий, в обстоятельности исследования не уступающий Льву Толстому, а в беспощадности отображения — Михаилу Шолохову. Где-то, кажется, в Кембридже, шолоховский реализм был назван «свирепым», а Тарковский в «Рублеве» нежнее?

Мне помнится другое: как ему навязывали, пытались всучить, подсунуть религиозность. Вот это я помню. А зачем бы, казалось, навязывать человеку то, что у него бесспорно имеется?

Я знаю, что на Западе есть высочайшего класса мастера лжи и подтасовки. Сами рассказывали! По «Голосу Америки» собственными ушами слышал. Только фамилии мастеров не назвали, поскромничали. Нашим дурачкам и брехунам и не снились такие высоты в этом мастерстве.

И вот эти мастера пытались навязать Тарковскому религиозность, причем очень и очень квалифицированно. «Андрей Рублев» был закончен в 1966 году, потом кажется, был отправлен на Каннский фестиваль, но потом наши киновласти чего-то испугались и срочной телеграммой вернули уже уехавший фильм прямо с границы. Но как-то из-под полы (не по официальным каналам) фильм на фестиваль все-таки попал и был показан. Но кто его туда неофициально доставил, они же произвели над фильмом маленькую операцию (по линии лжи и подтасовки гениальную!). Как всегда кончался фильм?

Рыдает у пыточного колеса колокольный мастер Бориска на руках у утешающего его Рублева, заговорившего, наконец, нарушившего свой же обет молчания и возвращающегося к людям, к жизни, к творчеству! Камера опускается на догорающие головешки костра, которые вдруг расцвечиваются (после двухсерийной черно-белой картины!). Вступает цвет. Звучит и набирает силу хорал. Камера скользит по частям и деталям рублевской «Троицы», написанной в самом конце его жизни, уже после «Молчания», после времени, показанного в фильме. Медленно скользит камера по божественным рублевским краскам, набирает силу хорал, достигает, кажется, вершины, апогея и вдруг — тишина. И во весь экран — Спас из Звенигорода, из Звенигородского чина, Рублевский милосердный лик Спаса.

Тишина… Потом где-то далеко — удар грома. Струйки воды побежали по лику. Шум дождя. И вот уже дождь заливает весь широкий экран. За завесой дождя не видны дали, а на переднем плане — луг, замызганные крестьянские лошаденки с провалившимися от работы и старости спинами щиплют траву. И все заливает дождь… Концепция фильма абсолютно реалистическая: вот эта страшная, темная, грешная, несправедливая жизнь родила вот это сказочно-дивное, великое духовное искусство, но сама жизнь… как была, так и осталась (пока, или не пока, как кому понравится, кто как поймет…) — сама жизнь так и осталась темной, беспросветной…

Что же сделали «мастера», из-под полы доставившие фильм на фестиваль? А они отрезали в конце «лошадей под дождем». И

весь реализм концепции летит! Рушится. Получается сразу же религиозный фильм: через все страдания Рублев пришел к Богу! А если кто этого не понял, так «Голос Америки» разъяснял, когда «Рублев» уже официально добрался до очередного международного кинофестиваля. Это в 1969 году я слышал своими ушами: «Вы помните, дорогие друзья, какой замечательный фильм показали нам тогда, в 1967 году устроители фестиваля? Как Рублев через все страдания пришел наконец к Богу! (А чего было Рублеву «приходить», когда он никогда и никуда от Бога не уходил, с детства или с юности был монахом и иконописцем?! — *Ю. Н.)*. А что нам привезли сейчас? Официально?! Советские власти заставили Тарковского приделать фильму этот сусальный, так не идущий ему конец: какие-то грязные лошади под дождем…»

Я снимался в «Рублеве», знал историю создания фильма и всех его последующих мытарств и злоключений, кажется, во всех деталях и подробностях, но перед лицом такой рафинированной, квалифицированнейшей лжи даже я дрогнул: «А кто его, Тарковского, знает… может, он и правда в каких-то там своих, мне не известных вариантах и приводил Рублева к Богу?..» А варианты у него были!.. Только я три помню…

При встрече с Андреем я рассказал ему, в какие сомнения поверг меня «Голос Америки», и спросил, не было ли оснований для таких выводов, то есть не было ли у него каких-нибудь вариантов, когда бы картина кончалась ликом Спаса Звенигородского, а не лошадьми под дождем? «Ты что, обалдел?! — ответил Андрей. — Никогда в жизни такого не было».

Вот это было. Это я помню.

Где-то около 1969 года привезли мне из Парижа вместе с сообщением, как и где, в каких кинотеатрах и как долго идет наш «Рублев», буклетик с кратким содержанием фильма, с объяснением французам, далеким от нашей жизни и истории, что они увидят. Автор текста не назван, некоторые даже убеждены, что никакой это не француз, а наш русский эмигрант написал. Вот заключительные строки этого «объяснения»:«…появляется другое простодушное существо, дитя народа, которому поручена забота отлить большой колокол, который ознаменует возрождение Святой Руси. С муками и напряжением дело было чудесным образом совершено. Вопреки сомнениям флорентийских послов, презирающих этот дикий крестьянский народ, колокол зазвонит чисто и светло.

Чудо этой удачи рассеивает сомнения Рублева. Он снова возьмет свои кисти, и фильм закончится постепенным детальным

раскрытием Троицы, главного произведения художника. Цикл завершен, русский народ на пути к своему единению находит свое первое духовное чудо, и лошади, символ жизни и надежды, радостно фыркают под всеочищающим дождем».

А насчет религиозности… Ну, конечно, естественно, что моя память тоже не идеальна и не безупречна. И конечно же, наверно, она с большей готовностью служит мне, моим склонностям и взглядам, им на помощь кидается в первую очередь, их поддерживает, из всего многообразия фактов, ей (моей памяти) знакомых, она более цепко выхватывает те, что подтверждают мою правоту, верность моего мироощущения. Все это так. И вполне естественно. И все же! Ну где, где в «Рублеве» религиозность? То, что герои «Рублева» говорят и мыслят категориями Священного Писания, а не «Краткого курса истории ВКП(б)»? Так это чистейший реализм, а не религиозность: никакими другими категориями люди того времени мыслить и не могли. А может ли позволить себе истинно религиозный человек (себе — как автору, своим героям) столь вольно толковать Священное Писание, как это в фильме у Тарковского делает Андрей Рублев? На что ему Феофан Грек замечает: «Ой, смотри, договоришься ты!.. Сошлют тебя на Север иконки подновлять…» И это религиозность? Не знаю… Насчет реализма — знаю, а насчет религиозности… А весь Запад почему-то давно и упорно навязывает Тарковскому символизм и религиозность (и не только Запад…).

«Что у него главное — религиозность, избранность? Или тяготение к символам?» Шеман Вильгот, шведский кинорежиссер, актер, писатель, критик, сценарист… Ему вторит Северин Кусмерчик из Варшавы: «К каким символам… стремился Тарковский? В чем заключается его «религиозность»?»

«Религия играла важную роль в жизни Тарковского, он всегда стремился к встречам с религиозными людьми, с интересом обсуждал с ними вопросы веры» (Михал Лешиловский, шведский монтажер, режиссер).

Ну вот не помню я, чтобы «всегда» Андрей «стремился к встречам с религиозными людьми»! Революционных демократов даже прошлого века и Герцена — не любил. Крепко. Это помню. (Хотя в душе не согласен с ним был, но помню! Куда денешься?) Помню, как он любил, обожал русские иконы, иконопись в полной святой убежденности: «Ну, это все любят…». (Я вовсе не разделяю этой его убежденности.)

Помню, как он, самозабвенно закатив глаза, как глухарь на току пел под гитару почти всегда одно и то же: переделку Г.Шпаликовым на мотив романса «Я встретил Вас…» — «Прощай,

Садовое кольцо…».

Знаю, что безоглядно бросался в драку — за друга ли, за честь женщины… и вообще за честь и достоинство человека (и за свою в том числе), за справедливость. Вообще за все, за что стоило и стоит всегда бросаться в драку. Это все знают, но не все бросаются. А он бросался! Помню, что он обижал людей. Вольно, невольно, но обижал. Самых дорогих, самых близких, самых верных. Мужчин, женщин, родных, друзей, коллег, соратников (меня не обидел никогда, может, потому, что мы не были слишком близки?). Страшно мучился этим, страдал, переживал, но… было. Знаю. Помню. А насчет стремления к религиозным людям?.. Не знаю. Не помню. Не видел. Никогда не замечал.

Иосиф Бродский где-то заметил, что русской интеллигенции свойственно обожествление народа («обожествление народной массы, въевшееся в плоть и кровь русской интеллигенции». И.Бродский «Об Ахматовой»), Есть такая болезнь, такая беда, чего греха таить… И беда эта, с виду такая невинная, очень много вреда приносит. (Может, именно поэтому, что с виду кажется столь невинной?) Первым, кто мои мозги повернул в сторону этого греха нашего и осознания колоссального вреда от этого греха, был Тарковский. «Андреем Рублевым», нашим общим фильмом, он это сделал. Фильм «Андрей Рублев» для меня лично является не столько моим произведением, в коллективном авторстве которого я каких-нибудь своих полтора процента имею (да нет, поменьше, полтора — многовато), сколько произведением, воспитавшим меня. И воспитывающим! Не перестающим воспитывать. Как «Война и мир» Толстого… Как Микеланджело. Да вообще как вся мировая классика. М.А.Лившиц, философ-марксист, где-то советует: «Читайте Монтеня, Пушкина, Толстого», — ия это понимаю не как навязывание Лившицем своих литературных вкусов, а как совет: вот эти вот авторы более других учат мыслить, а меня (если считать, что я как-то могу мыслить) учил этому, кроме Монтеня, Пушкина и Толстого, еще и Тарковский.

И в этом тоже реализм Тарковского. Причем самый высокий, самый весомый, самый драгоценный (с моей точки зрения) реализм — реализм мысли. Не детали, не подробности, не положения, не антуража, а реализм мышления. В этом, кстати (опять же, как мне кажется) в нашем кинематографе рядом с Тарковским и поставить-то некого… Ну, разве что Эйзенштейна. С той только разницей, что Эйзенштейну не дали сказать (я имею в виду «Ивана Грозного», 3-ю серию, «Един, но один»), Тарковскому все-таки более повезло (с «Рублевым», дальше тоже не повезло…).

Из того же парижского буклетика: «На заре XV в., когда

русский народ начал наконец осознавать свою жизнеспособность и единство, монах, богомаз и иконописец Андрей Рублев вскоре теряет известность, приобретенную при жизни.

Надо было произойти Октябрьской революции и вмешательству Ленина, чтобы его произведения, забытые и часто искаженные, вновь бы находились, изучались и реставрировались. В 1930 его иконы выставлялись в Кремле, в 1960 СССР отметил 600-летие его предполагаемого рождения.

Древние летописи отмечают его величайшее милосердие, коим он освещал грубый и жестокий мир, в котором жил. Возможно, именно это милосердие побудило его отказаться от следования византийским канонам и стать первым русским художником. Живые краски, непременно смягченные формы, нежное изящество, колорит, кроткая радость вместо испытаний и вечного страха перед Богом, суровым судией деяний человеческих. Вместо Спасителя с гневным глазом у Рублева впервые (!) Христос любящий, с дружелюбным взглядом.

И вот вокруг этой выдающейся личности Тарковский слагает гимн во славу своего народа. Фильм жесткий, но фильм необъятной надежды».

Несколько лет назад моя тогда 17-летняя дочь, собиравшаяся посвятить себя искусствоведению, посмотрела «Зеркало». И пришла в ужас. Не от картины. От себя. Бестолковой, неполноценной, ничего не понявшей, ничем в фильме (знаменитом! признанном уже тогда всеми!) не тронутой. Я не пришел в такой ужас от ее «неполноценности». Я понимал, что, несмотря на заявление Тарковского в прологе фильма устами вылечившегося от заикания юноши: «Я могу говорить», — я понимал, что сам Тарковский в «Зеркале» без «заикания» говорить все-таки еще не мог: ведь снималось «Зеркало» лет за 10–15 до «Покаяния», во времена самого глухого и могучего застоя. И я стал пытаться расшифровывать дочери все или какие-то ключевые, как мне казалось, «заикания» фильма. В частности, историю с «опечаткой». Где, на мой взгляд, гениально во времена, когда нельзя было говорить, — все-таки сказано! показано, через чушь, ерунду (приснилось, показалось женщине, что она пропустила в самом «высоком» издании какую-то смешную опечатку, которую обязательно расценили бы как «вредительскую»!) — вот через такую ерунду очень точно сказано было обо всей эпохе «культа личности». Я пытался объяснить молодой современной девице, в какой обстановке страха жила тогда вся страна, все мы, наши родители… И вдруг жена добавляет: «И ответственности!» Да! И ответственности! И это жутко важно. Это — правда. Это положительная сторона того

времени. Как страх — отрицательная. И одного без другого быть не могло! И в этом гениальность Тарковского-художника: в маленьком глупом эпизоде суметь показать все время, все! Со всеми его ужасами, сложностями, достоинствами и недостатками.

Опять — где символизм? Какая религиозность? Высочайший реализм. На уровне всех мировых классических стандартов. А может, и повыше…

А как он работал! Наш брат-актер любит посмаковать всевозможные физические «страсти» и «ужасти», которые ему якобы приходилось выносить на съемочной площадке: как зимой лето снимают да по скольку дублей и т. п. Конечно, и у Тарковского на площадке всего этого хватало. Мою сцену скачки и рубки в «Рублеве», когда мой Малый князь зарубил монаха-богомаза, мальчишку (которого играл не профессиональный актер, а студент какого-то московского техникума, по фамилии Матысик, как сейчас помню…), и тот, перевернувшись от удара, падал рядом с жалобно вызванивающей пилой, а из разрубленной шеи била фонтанчиками алая артериальная кровь… Все это было придумано, сочинено, оставалось воплотить. Как? Придумано было и сделано устройство для фонтанирования артериальной крови, найдена пила, которая, как требовалось режиссеру, покачивалась и повизгивала, только моя спортивная лошадь никак не желала скакать вровень с операторской машиной (машина должна была останавливаться на заданной точке и дать возможность оператору В.И. Юсову, выпустив меня с лошадью из кадра, наехать на крупный план умирающего и фонтанирующего разрубленной шеей Матысика). Ну не привыкла лошадь к этому! Всю ее жизнь она приучалась к обратному: не терпеть никого вровень с собой: можешь — обгоняй, не можешь… Только не вровень! Больше недели мы бились над этим кадром. Двумя руками я проводил лошадь вровень с камерой, а сабля? А рубить? А Андрею нужно было, чтоб сцена была снята только так, как он задумал, и никак иначе.

И вот каждое утро (по солнцу снимать можно было только часов до десяти утра. Спасибо, не целый день), каждое утро, нацепив на себя сорок килограммов железа… ну пусть двадцать, но не меньше! Тоже неплохо, не хило — одна только кольчуга не менее двенадцати кило, да сабля с ножнами, да мисюрка на голове, да зерцало сверх кольчуги, да поручи… Взгромождался я на своего Лира, отдохнувшего, успокоившегося за ночь, и мы выезжали на «точку».

При первом же звуке мегафона, через который нам подавали команду, моего Лира сотрясала нервная дрожь, и он, еще не сделав ни единого шага, вмиг покрывался пеной, от одного звука

мегафона, именуемого у нас «матюкальником». Мое «княжеское» седло почему-то было обито жестью (как бабушкин сундук!), и, как на сундуке, эта жесть лопалась и торчала в разные стороны, так что руки у меня были изодраны в клочья. И — все никак. Уже пошли разговоры: а не заменить ли лошадь? (А может, и артиста? — подумал я сейчас… До меня, естественно, тогда доходили разговоры только о замене лошади, но могли ведь быть и другие разговоры, которые до меня не доходили…). Вторую неделю бьемся — и никак! Пока наконец не приехал опытный конник, прежний хозяин моего Лира, поставил какой-то «шпрунт», чтоб конь не мог голову задирать — и сцена была снята. Еду я после этой съемки вдоль декорации, еле живой, истерзанный, измочаленный, на взмыленном, задерганном коне, а навстречу нам — Андрей. Я поднял саблю и направил на него, нашего «мучителя», коня. Не думаю, чтоб Андрей не понял, что это было обыкновенное дурачество, — хотя и не без доли истины, которая есть в каждой шутке, — но на всякий случай он нырнул от нас под сруб какого-то амбара или сарая.

Ну и что?! Ну и что, что нас, вчера только впервые севших на лошадей, да еще на пугливых, нервных спортивных лошадей, гоняли по болоту! Да не по одному, по разным болотам! Да не по одному разу! Хотя рядом была торная, твердая тропа, а нас — по болоту!.. А в болоте лошади вязли. Некоторые по пах. Вырывались оттуда обезумевшие, ошалелые, как ядро из пушки, шарахались и бросались со страху, сами не соображая куда (а «лошадь — животное очень сильное, но неразумное», — объясняют на первом же уроке всем, кто собирается заняться верховой ездой), — попробуй-ка тут усиди на ней!.. И опытный-то конник не всегда удержится, а уж мы… Особенно свита Великого князя в новелле «Колокол». У Малого в «Набеге» в свите все-таки профессиональные конники были (кроме самого князя), а у Великого — актеры, игравшие вельмож, послов, стало быть, солидные, пожилые люди, давно пережившие свою молодость и молодечество, когда силы и здоровье кажутся безграничными и навечными, когда их (сил) действительно во много раз больше, и ты даже представить, вообразить себе не можешь, что их возможно когда-нибудь лишиться или потерять совсем. И некоторые у нас просто и откровенно боялись за свою жизнь.

Ну и что?

Это было счастье! И когда я смотрю фильм, то вижу, что ни единой капли нашего ни пота, ни крови не пролито зря. Все было нужно. Необходимо! Все играет! А одну нашу шикарную проскачку с ханом (Болот Бейшеналиев) Андрей не удержался и через перебивку повторил. Использовал оба дубля! Тогда все

трудности, все «страсти и ужасти» только усиливают ощущение и без того безграничного счастья. Счастья — участия в добром, нужном, праведном, славном деле. А что дело именно такое, почему-то сейчас кажется — уверенность и убежденность в этом была прямо с самого начала. Да и как ей, этой уверенности, было не быть? Если везде и во всем, с первых же дней знакомства и работы, — серьезнейшее отношение, глубочайшее проникновение в материал, высочайшая ответственность за все, что он делал.

Помнил Андрей своего контуженого военрука из школы, над которым они, школьники первых послевоенных лет, глупые и жестокие, как и положено в том их возрасте, измывались и издевались, потешаясь над его примитивизмом. И который спас их, идиотов, накрыв собой боевую (!) гранату, подкинутую кем-то из них в тире, где у них проходили уроки военного дела. Ценой собственной жизни спас их, своих мучителей. Только в фильме Андрею не захотелось взрывать военрука, показалось, что так еще страшнее, еще пронзительнее прозвучит тема и их детской бездумной жестокости, и верности солдат Великой Отечественной своему долгу, делу спасения жизни на земле, делу спасения их, детей, глупых, жестоких, но своих же!

А не так же ли мы, наше общество, инфантильное, необразованное, недоразвитое и жестокое, гнало и отторгало в свое время самого Тарковского? А ведь он спасал нас! Спасал, пробуждая в нас мысль, любовь, милосердие, то есть человеческое, то, чем человек отличается, должен отличаться от животного, вытаскивал нас из мрака животной темноты к человечности, к свету, к милосердию, а мы… Вот Тарковский парадоксы наши уважал, не проходил мимо них…

Помнил Андрей, что была у военрука травма черепа (попросту сказать, отсутствовал раздробленный кусок черепа), и носил он на голове какую-то странную «чеплашку». Какую? Как это все могло быть? И могло ли? Андрей со мной и художником-гримером Верой Федоровной Рудиной едет в Институт нейрохирургии имени Бурденко на консультацию. Да, вспоминают старые специалисты, теперь впаивают пластмассовые пластинки в череп, закрывая мозг при таких травмах, а тогда были вот такие «чеплашки», пластмассовые с дырочками, очень похожие на дуршлаги. Теперь как сделать пульсацию на голове с отсутствующим куском черепа? С меня снимают гипсовую маску, по слепку черепа делают резиновую основу с полостью внутри, сверху — парик с дырой там, где рана. (Под мышкой у меня была резиновая груша, от нее шел шланг к полости в резиновой основе парика.)

Такая подготовка к эпизоду, который снимался всего два или

три дня. И почему я подчеркиваю реалистичность творчества Тарковского, когда в Японии его все знают, как великого мастера символичного кино? Все! Кроме меня…

После «Зеркала» мы как-то сидели, что-то отмечали в Доме литераторов. И вот там Андрей в том тосте за меня, о котором я упоминал вначале, сказал: «Юра, я тебе обещаю снимать тебя у себя всегда! — и тут же, слегка запнувшись, добавил: — Но я не могу обещать, что всегда буду снимать…»

На мой взгляд, по моему ощущению, весь Тарковский вышел из реалистической и демократической традиции русской классики. Но и вобрал в себя, не закрывая глаза, все достижения современного мирового кинематографа. То, что его волновали самые глобальные, самые насущные проблемы жизни общества, русского, родного; не какого-то человека вообще, а нашего, в нашей стране, в наше время — все это от русской классической традиции. Другое дело, что ему не дали в эту сторону развиваться. И все равно он успел высказаться! По самым больным современным вопросам. В XX веке у нас отмирала одна идеология (прежняя, многовековая, христианская). Правда не столько сама отмирала, сколько ей помогали «отмереть» силой. Благодаря этой мудрой «помощи» сейчас наметилась временная «реанимация» этой «отмирающей». Но все это, по-моему, дела не меняет, только несколько удлиняет процесс. На смену отмирающей шла другая, но шла, как выяснилось, особенно в последнее время, не триумфальным, всепобеждающим шествием, а оступаясь, срываясь, отступая и дискредитируя себя в, казалось бы, самые благополучные и спокойные свои моменты — и о чем же фильмы Тарковского, русского художника, русского страдальца, мученика и грешника в это время — о совести. Это когда ему уже не дали развивать свою общественно-историческую, исследовательскую линию, так блестяще продемонстрированную в «Рублеве». После «Рублева» он не сидел сложа руки, он нес руководству студии сценарий за сценарием — и все они отвергались! (Один даже нас с Лапиковым касался.) Всего их было отвергнуто не меньше четырех, а то и больше. Не дали. Не дали! Тогда пошли фильмы о совести: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер»…

В общем-то судьба Тарковского не уникальна, а тоже в традиции русского отношения к своей гордости, к своим мастерам…

В.И.Баженов (1737 или…38–1799) был академиком шести европейских академий. Перед его гением преклонялась Европа эпохи Просвещения. Ему предлагали перестройку Лувра! Он предпочел вернуться в «любезное отечество»… И «любезное

отечество» ни-че-го не дало ему сделать. В век просвещеннейшей русской Императрицы Екатерины Великой! (а что давали сделать, то тут же, по завершении, ломали!) И это — Ему, Академику шести европейских академий!! И это Екатерина Великая, одна из самых просвещеннейших правительниц во всей мировой истории!.. Все, что он сделал, что ему дали сделать, — дало не отечество (официальное), а отставной генерал-аншеф Пашков! Назло царствующей императрице заказал Баженову дом, на который мы сейчас и радуемся, которым гордимся и который у нас едва не рухнул и не утоп в тоннелях Московского метрополитена…

Была у меня думка предложить Андрею эту тему, про В.И. Баженова. Кто его знает, может, и не тронула бы она его, а может… Хорошая тема, мне кажется. Ну, да теперь уж…

В фильме «Сибирский дед», в написании сценария и диалогов которого принимал участие друг Тарковского А.С.Макаров, был у меня, «поручика Тихомирова», с моим партнером такой диалог: мой товарищ по фильму, молодой князь (которого играл ныне видный американский художник Толя Иванов), в каком-то извечном российском споре на вечную бесконечную российскую тему, не то «что делать», не то «кто виноват», спрашивал в раздражении моего поручика:

— Да при чем тут Россия?

— Да при всем она, милый мой Сережа, — ласково и мудро отвечал мой бывалый и трагический поручик.

Вот и у моего Тарковского — при всем она. Да! При всем. И теперь уж их не разделить: Россию и Тарковского. Хотя будут еще стараться. И японские «товарищи». И шведские, и польские… И наши… (вот только не знаю «головы» или «руки»?). Но будут, будут и наши стараться, чтоб перед японцами или шведами глупыми не показаться. И символизм, и религиозность в нем находить… Я как-то без японцев и шведов его люблю, по-своему. Не совсем уютно, конечно, себя чувствуешь, когда ты не в русле всеобщего просвещенного мнения. Ну да память, верная моя память, похлопывает меня сзади по плечу и успокаивает: «Не дрейфь! Прав! Ты прав! Я с тобой! Не дрейфь!» А может, я прибедняюсь? Может, я не так уж и одинок в этом своем упрямстве?

По сусекам дневников и записных книжек

30 июня 98. Тарковский (как и Пушкин) — очень суетный, живой, весь в окружающей его жизни… Не над ней, а в ней. Со

всеми ее пристрастиями и заблуждениями, массовыми и индивидуальными психозами, модами, интересами; частными и общими увлечениями, глупостями и прозрениями, догадками и сумасбродствами… Весь в них. Не над, а в них… Но и взмывает над ними — тоже как Пушкин!! Как? Почему? Непонятно… Неуловимо, но — взмывает! Не тонет в них! Проходит их как луч, как клинок, лезвие, только закаляясь в этом вареве, возносясь над ним и светя ему (тем, кто способен этот свет воспринять… Опять же, как с Пушкиным…)

3 октября 93, поезд 37, «Томич», в Москву из Новосибирска (на самолеты, на фирменный «Сибиряк» и купейные места — на все это денег уже давно не хватает. Безработный! Уволен из кино новыми хозяевами жизни… В последний раз от живой мамы…В декабре еле-еле, без самолетов-то, на похороны успел…)

Глядя из окна вагона на «пустынную, унылую» «холодную равнину», как считал — и совершенно справедливо! — А.П.Чехов, но… мою! Родненькую! Родился я здесь. Свет увидел здесь, этот…

А на Родине хорошо… Господи! До чего же хорошо на Родине!..

Осень… Роскошная! Золотая. Редкое, слабеющее, уходящее в зиму солнце. Небо в серых тучах. Облетели тополи; пожухли, побурели ясени. Изредка мелькнет покрасневшая… ольха? рябина? осина? клен? Не силен я в ботанике… И только белые березы, кажется, удержали в ослепительно желтой листве остатки уходящего солнца… Удержали и — светят им! Сами! Со всей щедростью, безоглядностью и пронзительностью прощальной ласки, ласки прощания. Под серыми тучами. Последним слабеющим уходящим солнцем…

Левитана нет на этакую красоту!.. Федора Васильева. Саврасова. Грицая.

…Серые тучи чуть-чуть подсинены… как бы старыми разбавленными чернилами. Слегка…Нежно… Не противно… А под этими подсиненными тучами — вдруг! Откуда?! — но прям рублевский голубец! (с «Троицы»), Какая-то иззелена-голубоватая пронзительная ясность, прозрачный свет и беспредельность.

А солнце рвется пролиться сквозь тучи какой-то расплавленной платиной. А под тучами в какой-то запредельной дали, но в четкой осенней просматриваемоети — то голубец вот этот рублевский, то какая-то светящаяся латунь. И все это в обрамлениц, в виньетках побуревших, пожелтевших, пожухлых берез, ольхи, кустов травы…

А весь колорит рублевской «Троицы «умиротворенно-гармонический, как бы истекающий тихой лаской, любовью, милосердием, благостностью — не из русской ли золотой и прозрачной осени взят?..

Кое-где оставшаяся еще зелень. Белесое жнивье на полях… И прощальная щедрость и ласка уходящего солнца.

«Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» — восклицал когда-то Н.В.Гоголь.

До чего ж ты хороша, Родина…

«Лицезрением живоначальной Троицы побеждайте ненавистную рознь мира сего» (Сергий Радонежский).

7 марта 98. А не элитарность ли губила всегда мир, цивилизацию? Элитарность, избранность и— разделение… Индивидуализм и — деление на расы, классы, кланы, нации… Спасал, сохранял мир, общество, человечество только коммунизм, общинность, соборность… Когда вместе, сообща, «за други своя», не за себя необыкновенного, «избранного», любименького… Коммунизм — от латинского communis — общий… и только он вытаскивал, спасал от уничтожения, разложения, самоуничтожения. Сперва первобытный, потом христианский — все равны перед Богом! — потом научный… Пока оставался научным…

И Сатана, Люцифер, (Денница по Пушкину), Падший Дух — не в эгоизм ли он впал? И — пал! Из-за и в угоду своей гордыне. Избранности… Элитарности… В эгоизм из христианского божественного праведного альтруизма…

И мой Пушкин

> Все, что украшает русскую народную душу — равнодушие к суетным земным благам, тоска по иному лучшему граду, неутолимая жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять весь мир и всех назвать братьями своими, светлое восприятие жизни, как прекрасного дара Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное спокойное отношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая цельность всего нравственного существа, — все это отразилось и ярко отпечатлелось в личности и творчестве Пушкина, как в чистом зеркале нашего народного духа…
>
> Его духовный облик был очень сложен, глубок и непроницаем, как море. На поверхности его бушевали волны страстей, в то время, как в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен, и там совершалась сокровенная работа гениальной мысли, проникающей к величайшим тайнам бытия и смерти. Его дух испытывал и вопрошал всегда и везде…
>
> *Митрополит Анастасий о Пушкине*

Мой Пушкин… «Зима! Крестьянин, торжествуя…» «Тятя, тятя, наши сети…» — ну это детство еще, зародышевое, внутриутробное, так сказать, досознательное развитие интеллекта…

— Юрочка, а какая у тебя любимая сказка?

— «Конек-Горбунок», потому что Пушкин ее любил, а я люблю Пушкина!» — гордо заявлял я спрашивающим меня взрослым. (Ершовского «Горбунка», кстати, до сего дня боготворю и изнываю восторгом и тихим счастьем, вспоминая или перечитывая.)

Но о любви к Пушкину говорить, конечно же, было рановато. Просто все тогда вокруг меня — семья, школа, радио, кино, театр — все говорило о любви к Пушкину, говорил и я. Но назвать это любовью…

Известно, что излишние разговоры, звон, забалтывание приводят к противоположным результатам. Я встречал потом людей, с юности перенапичканных Лениным (не сутью, а звоном), Станиславским, Пушкиным, которые не могли слышать самый звук этих имен… Меня их доля, слава богу, миновала: школа,

время учения в ней — не задолбали, не вызвали идеосинкразии к этим именам. В 10-м классе полюбил Ленина (очерк А.М.Горького «В.И.Ленин» и фильм «Ленин в Октябре»), в 9-м — Чернышевского, Некрасова… И до сих пор верен всем своим юношеским интеллектуально-душевным… или духовным любовям и привязанностям… Но до Пушкина еще не дозрел тогда.

«Всякое учение гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником», — заметил еще 600 лет назад Франческо Петрарка.

Во время моего обучения в театральном училище им. Б.В.Щукина не поскупилась судьба на любимых, вызывавших буйный юношеский восторг, обожаемых наставников! Одним из них был читавший нам зарубежную литературу Александр Сергеевич Поль. Остроумнейший, эрудированнейший, обаятельнейший! Лекции его — не угнетающая повинность, а праздник и наслаждение! И вот этот бесконечно уважаемый и восторженно почитаемый Александр Сергеевич, читая зарубежную (!) литературу — античную лирику, эпос, драму, средневековый роман, вагантов и миннезингеров, Возрождение в Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, французское Просвещение, немецкую «Бурю и натиск», английский роман XVIII века — и не было, по-моему, ни единой лекции, когда бы он не помянул, не зацепил Пушкина!

«Изумление, говорят, есть начало любви», — считал тот же Петрика.

А разве могло быть не изумлением, что такой уважаемый и обожаемый нами человек, как А.С.Поль, шагу не может ступить без Пушкина? Хотя читает не русскую, зарубежную литературу. Но это изумление было не началом, а только преддверием любви. Оно глубоко врезалось в память, зацепило внимание, обратило его в сторону Пушкина. А уж дальше!..

Тут только обратить внимание — и уже не вывернешься из-под власти Пушкина над твоей душой никогда!

Да и кто когда добровольно из-под счастья «выворачивался? А Пушкин — это же счастье! «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»!

Чего бы ты ни коснулся: лирики, прозы, драматургии, публицистики, критики, писем, неоконченных отрывков, выкинутых из основного текста, показавшихся ему лишними, ненужными (спасибо, не уничтоженных!), воспоминаний о нем современников. И везде, и во всем — умница! Живой!.. Гений!!. Но со всеми человеческими трогательными глупостями и слабостями, которых он, как истинный гений, не стесняется и не

скрывает. Отчего еще трепетнее любим, как сегодняшний, рядом живущий человек. Не гениальный ли автопортрет дан в образе Чарского в «Египетских ночах»?!

«Невзирая на мелочи своего характера, имел сердце доброе и благородное»…

А при этом своей мудростью, своими изумительно точными, верными, навек врезающимися в память и уже никогда не выветривающимися оттуда, блестящими…чем? Словами? Фразами? Мыслями? Формулировками? Все эти определения куцы, пресны, бедны, бледны… Это — СЛОВО! Слово с большой буквы. Слово — мысль. Слово — мудрость. Слово — самопознание и осмысление всего вокруг себя. «Суть каждой вещи вникнешь, ежели верно наречешь ея», — считали древние.

Дано было ему верно нарекать, чем до сего дня помогает нам вникать в суть происходящего. Сегодня происходящего (!), через 170 лет после его гибели…И дальше будет помогать! (Если не будем «ленивы и нелюбопытны», чем огорчался в русском характере еще сам Пушкин.)

Пушкин — это цементирующий материал нашего сознания, корневая, всепронизывающая система и основа нашей духовности и нравственности, нашей культуры. Не глупым человеком было сказано: «Пушкин — наше все!» Наши ум и совесть? — Пушкин. Честь, гордость и достоинство? — Пушкин. Любовь и нежность? — Пушкин. Жизнелюбие и жизнерадостность — он! Куда ни поворотись: политика, наука, философия, интимная жизнь и чувства, история, национальное самосознание — везде и всюду он! Потому как праведен. И умен. «Невзирая на мелочи своего характера»…

Покойный тесть мой, артист МХАТа времен Станиславского и Немировича-Данченко, первый исполнитель роли «Николки» в «Днях Турбиных» Булгакова, народный артист РСФСР И.М.Кудрявцев, серьезный и глубокий исследователь «Слова о полку Игореве» и творчества Пушкина, ценимый Д.С.Лихачевым и Б.А.Рыбаковым, считал Пушкина еще и гениальным художником (рисовальщиком).

Книжка о выдающемся русском советском ученом — биологе-генетике, сподвижнике Н.И.Вавилова, основоположнике отечественной экспериментальной биологии, предвосхитившим главные принципиальные положения современной молекулярной биологии и генетики, о Николае Константиновиче Кольцове называется «Пророк в своем Отечестве». И названия каждой главы в ней, и эпиграфы — и все из Пушкина!..

А сегодня? Затеяли у нас «перестройку», повернули к рынку, а с Пушкиным забыли посоветоваться. А ведь А.О.Смирнова-

Россет вспоминала о нем: «Золото, сказал он, есть дар Сатаны людям… Любовь к золоту была источником большего числа преступлений, чем всякая другая страсть». А мы удивляемся: с чего у нас так преступность расцвела? Да от любви ж к золоту! Коей мы предоставили полную свободу…

Решили искать свободу от «коммунистического рабства» в капитализме, и опять с Пушкиным не посоветовавшись… А у него давно все известно: «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встают дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство, с одной стороны, с другой — какая страшная бедность!.. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих правилах закона». «Путешествие из Москвы в Петербург».

Не закон ли о «священной частной собственности» имеет в виду Александр Сергеевич?..

Но уж демократия-то — вот где счастье и благоденствие! Вон как у них в Америке! А что у Пушкина про американскую демократию?

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)»… («Джон Теннер»).

Тогда, может, монархия спасет нас? Ага… Сча-ас! «…не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п.» (1821, Кишинев, из дневника).

Тут, правда, Александр Сергеевич слегка поторопился: и через 170 лет после него не стали «смешны и ясны» людям ни рабство (вон как оно в Чечне у нас процветало, и не только), ни королевская власть — это во всем мире, и в «цивилизованном», и в не… А уж «смешная жестокость войны»…

«Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна»… (вроде «Исторические записки», 1822).

Как нынче «благодарит» Европа нас за свое спасение и освобождение от фашистского рабства…

А вот в июне 1831-го (во Франции Июльская революция 1830-го, в Польше бушует восстание): «Того и гляди навяжется на нас Европа… нападает покамест не оружием, но ежедневной бешеной клеветой… Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет!»

Где Вы, Александр Сергеевич? Как Вы нужны, необходимы

нам сегодня!..

«Великий принцип возникает из недр революции 1830 года: принцип невмешательства, который заменит принцип легитимизма, поруганный от одного конца Европы до другого». Не про Буша это с его «принципом вмешательства»? Не сегодня разве рядом с нами он, Пушкин, «наше все»? А это не только что сказано: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда»?

Не знаем, как быть с нашей «непредсказуемой» историей: не то восхвалять ее, не то осуждать… А он знал!

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу!
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро…
А за грехи, за темные деянья —
Спасителя смиренно умоляют.

И все! Ведать, изучать, знать!

И выводы делать. И глупостей, допущенных прежде, не повторять!

А уж в интимных-то делах… Для души, для сердца, для совести. Для счастья быть и ощущать себя человеком!

«Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической, — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность… Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина… читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека…»— считал В.Г. Белинский.

С восхитительной, вроде бы легкой самоиронией, но так пронзительно верно, так про меня, и только про меня:

Я Вас люблю, — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У Ваших ног я признаюсь!..
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!..
Алина! Сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!

Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Нет, поминутно видеть Вас,
Повсюду следовать за Вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать Вам долго, понимать
Душой все Ваше совершенство,
Пред Вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!

Или из отброшенной первой редакции (спасибо, не уничтоженной!) гениального «На холмах Грузии»:

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Или из неотброшенной:
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

И, наконец: «Я Вас любил: любовь еще, быть может… Я Вас любил так искренно, так нежно, как дай Вам Бог любимой быть другим»… — «… единственный в своем роде перл во всей мировой литературе… в восьми строчках которого заключен целый мир неслыханной душевной чистоты, благородства и просветленности» (Д. Благой).

И чем сегодня заниматься, подскажет: «Просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии».

Ну и в завершение — опять сегодня он рядом с нами! Не вчера, не позавчера, не 170 лет тому назад, а прямо сейчас отвечает на все наши сегодняшние тревоги, сомнения, страхи, отчаяния… Чтоб «не робеть за Отчизну любезную», крепче стоять на ногах, увереннее смотреть в будущее… За три месяца до гибели, в октябре 1836 года, вот что он пишет П.Я.Чаадаеву по поводу его первого «Философического письма»: «…у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была

спасена… нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех.

…Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

И мы сегодня… Без него, может, и погибли бы, а с ним — выживем. Да еще и победим! И смурь, и дурь, и злобу… Любовью победим! Светом. Пушкиным!

И всей нашей культурой, которая могучим лавовым потоком излилась в разверстые Пушкиным ворота. И Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Некрасов… И Сеченов, и Менделеев, и Павлов, и Вавилов, и Вернадский, и Блок, и… и… и… Озарила и обогатила мировую культуру! Да еще, бог даст, и спасет ее.

О телефильме «Кавказский пленник»

— Вы сейчас будете смотреть очень странный фильм, — заявил на презентации, или, попросту, как говорили у нас когда-то в дооккупационный еще период, на премьере фильма «Кавказский пленник» Андрей Тарковский (в Доме кино еще, не «кинематографистов»), — Обыкновенно у нас кто бы ни брался за экранизацию Льва Толстого, все прикладывались мордой об стол. — (Очевидцы клянутся, божатся, что именно эти слова и были произнесены; сам я этого не помню, не помню даже премьеры…) — Здесь, как ни странно, — продолжал Тарковский, — этого не произошло. Хотя… я очень люблю актера Юру Назарова, но я никогда в жизни не взял бы его на роль Жилина, Жилин мне представлялся маленьким, вертким, жилистым… Но они меня убедили. Это — Толстой. Посмотрите.

Не дословно, конечно, не стенографически, но что-то в этом духе.

Да и все вроде говорили, что получилось. Противоположных мнений до меня как-то не дошло… Тем не менее, для особого зазнайства (что «получилось!») я повода все равно не нахожу…

Ну, было, говорили, что, мол, такой вот точно Жилин, такая Дина и другие герои прямо у Толстого и написаны… Но это, мне кажется, оттого, что «Кавказский пленник» у Толстого все-таки не столь колдовски и поголовно обворожительное произведение, как, скажем, «Война и мир» или «Анна Каренина», или «Тихий Дон» у Шолохова. Когда у каждого читавшего в воображении возникают и навек отпечатлеваются, как образы живых близких людей, — и Наташа, и Пьер, и Андрей Болконский (тетка моя, родившаяся через два года после смерти Толстого, в Андрея Болконского просто влюблена была. Как в живого человека! Долго в юности страдала от этой «неразделенной» любви). Поди тут, угадай, угоди на каждого такого «влюбленного» и «страдающего». По Андрею ли Болконскому, по Наташе ли… Когда целые поколения жили с этими героями в душе, любили их, страдали, переживали за них, как за родных и близких. Причем как невозможно найти двух идентичных, во всем, и внешне, и внутренне, похожих друг на друга людей, — так и в душах этих разных людей жили, горячо любимые ими, но друг на друга совершенно непохожие Анны Каренины, Гришки Мелеховы, Аксиньи и пр. А Жилин таких бурных чувств никогда ни у кого не вызывал, к нему дышали ровнее, поэтому моему Жилину гораздо проще было угодить зрителям, которые даже и не заметили, что внешне у Толстого Жилин совсем другой: «Жилин хоть невелик

ростом, а удал был». Один Тарковский это заметил…

Тут хитрая вещь произошла, на которую, говорили, купился даже такой доскональный знаток Толстого, как В.Б.Шкловский. На каком-то семинаре с молодыми (по отношению к нему, Шкловскому) сценаристами он бурно ратовал за дословное следование классике при инсценировках и как пример удачи при таком дословном следовании привел нашего «Кавказского пленника», чем очень рассмешил присутствовавшего на этом семинаре одного из наших сценаристов А.С.Макарова. Именно у нас никакого слепого и дословного следования классику не было! У меня в душе тоже некое крохоборство присутствует, и я помню, как меня покоробило при первом чтении сценария не дословное следование первоисточнику Особенно в конце, когда Жилин с колодкой на ноге увидел вдали казаков, посчитал себя уже спасенным и вдруг, совсем близко, заметил трех «татар», горцев. Закричал что есть мочи, был услышан казаками, их было больше, но они были далеко, горцев было трое, но они были ближе. Никто у Толстого в Жилина стрелять не собирался: увидели татары, что не успеть им схватить беглеца, и ускакали. У Толстого, как и в жизни, наверно, это были какие-то три незнакомых татарина, а сценаристы вставили двух и — героев: рыжебородого Кази-Мугамеда, взявшего когда-то в плен Жилина и продавшего его Абдул-Мурату, и самого Абдула, хозяина. И Кази-Мугамед у сценаристов решил застрелить непокорного Жилина, чтоб никому он не достался, а хозяин Абдул, полюбивший Жилина за удаль, сбил рыжебородому плеткой прицел, ушла пуля в небо! И с криком: «Молодец, урус! Джигит, урус!»— ускакал Абдул-Мурат. Не было в рассказе у Льва Николаевича ничего похожего… Но без этого сбитого в небо выстрела я бы ничего не сыграл! Я и представить-то себе не могу, как бы можно было сыграть отчаяние при виде надвигающейся гибели неминучей и резкий переход к счастью от осознания своего спасения. А тут все оказалось просто: вот она, смерть — наведенный прямо на тебя глазок ружейного дула (а стрелять горцы умели!). И вот она — жизнь, спасение, когда подбитое плеткой ружье пальнуло в небо. И в крике Абдуллы «Молодец, урус! Джигит, урус!» была не только великолепная эмоциональная точка к этому эпизоду, в нем была великая и национальная, и историческая правда! Сколько знала только наша литература тех времен примеров «куначества»! Когда военная судьба складывалась так, что враг становился кунаком, другом. И у Бестужева-Марлинского, и у Лермонтова, и у самого Толстого. И в этом «куначестве», в способности, в расположенности к нему, к куначеству, — какая-то восхитительная молодость наций — и завоевываемых, и

завоевателей! — и благородство, способность, расположенность к благородству, романтике, чести, достоинству. Не зря, ой, не зря у нас дружба народов была! Не на пустом месте. Имела она под собой и корни, и традиции, и сходство характеров национальных. Вот сегодняшнее безумие межнациональное что под собой имеет? Только дурь, только фанаберии глупые, мелкие. И кровь. Пролитую. Уже давно не мелкую…

Не может кино дословно переносить литературу на экран. Да и не надо. У каждого искусства свои законы, свои условности. Ничего общего, кроме имен действующих лиц и некоторых событий, между оперой Чайковского «Пиковая дама» и повестью Пушкина — и при том это два шедевра, два величайших завоевания русского духа, русской (да и мировой!) художественной культуры. Получилось что-то — слава богу! Не получилось?.. Ну и — не получилось, ничего не попишешь. Тихо и незаметно умрет неполучившееся, не оставив следа в памяти людской. Чего тут копья ломать? А сколько раз ничего не получалось при дословном следовании классике?..

А обращение к классике всегда благотворно. Даже если не получилось! Любое, даже самое бездарное воплощение классики убить ее не в силах! Какие-нибудь «уши» (как у Пушкина) обязательно из нее вылезут и повлекут к книжной полке, перечитать или впервые познакомиться с оригиналом после досадного знакомства с неудачным следованием ему.

Счастливый я все-таки человек!

Как вот только поделиться этим счастьем? Хотя бы рассказать о нем. Чтоб поверили, ощутили. Могут сказать: «Ну что он там плетет, заливает: «счастье»… Какое счастье? «Кавказский пленник» — счастье? Да мы это «счастье» в 4-м классе еще проходили…»

Ага, проходили… Как говорил мой тесть покойный: «Вы все «проходили»… И все — мимо!»

Ну а действительно? Ну какое такое особое «счастье» можно найти в «пройденном» где-то в 4-м еще классе средней школы, т. е. даже не на заре, а в какой-то предрассветной дреме не проснувшегося, не пробудившегося еще сознания? Так в «дреме», в непробудившемся уме, душе, сознании его и не было, счастья… Да было, было! но — не ощущалось, не осознавалось… И от «Кавказского пленника», «пройденного» в 4-м классе, остались какие-то… ну, Жилин да Костылин, а что еще? Да ничего.

И вдруг это предложение. Да от кого! От человека, к которому я относился с колоссальным уважением, слегка восторженным удивлением, неиссякающим любопытством и какой-то трепетной нежностью — от Георгия Михайловича

Калатозишвили, ласково, по-грузински, по-домашнему именуемого всеми ближними: «Тито». У которого перед тем я уже снялся в очень дорогой для меня и роли, и работе, и картине: пручиком Тихомировым в «Сибирском деде». И тут, конечно, при получении этого предложения не могло быть речи не только об отказе с моей стороны, но даже ни о каком раздумывании: да, да и только да! Но чтобы почувствовать при этом… не то, что «счастье», но хоть какое-то предощущение его… Какую-то уверенность, убежденность, что я знаю, что с этим Жилиным делать, как его играть… Этого я ни представить, ни вообразить себе не мог.

Ясно было одно: Тито (Калатозишвили) да еще Л.Н.Толстой — только да! Без разговоров! А что с этим Жилиным делать, как — все это было абсолютно темно и неясно.

Слетал на пробу в Тбилиси. Прошли поиски грима, костюма — мундир выбрали Нижегородского полка, зеленый, там ведь у каждого полка свой цвет мундира был. Выехали в экспедицию на Северный Кавказ в… уже и не вспомнишь, как он тогда назывался: Дзауджикау? Орджоникидзе? Нынче это вроде как когда-то изначала — Владикавказ… Съемки были где-то километров за 30–40, может, подальше: в ущелье Фиагдон, там, где старые башни, погосты древнего Иристона. А жили мы на окраине города в мотеле «Дарьял».

Пару дней поснимали, и подхватил я в какой-то хинкальной… а может и раньше где — дизентерию. Интересная болезнь… Когда нарывает всего лишь палец — места не найдешь ни себе, ни пальцу. А тут весь кишечник!.. Каким-то чудом уберегли меня от месячного карантина… Я-то в душе, конечно же, навек простился с Жилиным: лето кончается, натура, как у нас говорят, уходит. Кто ж меня будет ждать с моим карантином? Возьмут другого актера и — вперед! Но…

Стало быть, правду говорили, что кроме меня ни о ком не думали, никого не пробовали. (Говорят-то это всегда всем исполнителям, что он-де единственный свет в окошке, что, кроме него, и представить-то себе в этой роли никого не возможно… А потом выясняется, что на эту роль еще 199 исполнителей приглашали, да все отказались…)

Тито вообще-то никогда не врал. Не умел. Даже если это вранье порой бывало необходимо для пользы дела, а в кино у нас — дак постоянно… Но Тито вот не врал. Часто в ущерб и себе, и делу…

Поснимали недельки полторы без меня. Все, что можно было снять без Жилина. Пока я тщательно и скрупулезно изучал рисунок на кафеле на полу в туалете у себя в номере…

Кой-как поставили меня на ноги и — с термосами (с чаями, бульонами), с сухарями, под надзором врача, потихонечку-полегонечку возобновили съемки и со мной. И… недаром, видно, на Руси говорено: не было бы счастья, да несчастье помогло — до дизентерии материал отснятый шел… так себе… какой-то ни бе, ни ме… А после, с чаями-кефирами-сухарями да под надзором медицины — пошло вроде то, что надо!

Но только — «вроде». До счастья все еще было далеко. Вроде — ничего, вроде — годится, но понимания, что я делаю, зачем и для чего, — этого все еще не было. Был какой-то профессионализм, наработанный за предыдущие годы, но — и только, не более того.

И вот подошла сцена, где пленник узнает непримиримого, требовавшего его убить и стрелявшего в него старика-горца. И рассказывает Костылину про этого старика: как он всех своих сыновей отдал, благословил на борьбу с захватчиками (с русскими), а один сын у него переметнулся к русским. Так старик сам перешел к русским, нашел сына, убил его и вернулся к своим. На что Костылин реагирует: «Боже! Какая дикость…» Только у Толстого хозяин Абдул Жилину про этого старика рассказывает, а у нас решили, что Жилин сам вспомнит, узнает старика и расскажет о нем Костылину. Как вот было это играть?

Тито Калатозишвили по профессии оператор, не режиссер. Он даже языка нашего профессионального не знает. Ведь в каждой профессии существует свой профессиональный язык: у моряков, у шахтеров, у кинооператоров (которого я тоже не знаю), у актеров. Тито — изумительный человек. С честью, порядочностью, со вкусом; он очень хорошо видит, чувствует, понимает — что хорошо, что плохо, что годится, что не годится… Но как сделать (мне, актеру) то, что хорошо, что годится, — он не знает. Не скажет. Мозги пудрить, лапшу на уши вешать, изображать «знание», а потом тебя же обвинять в своей неудаче, в своем неумении, незнании — тоже не будет. Не знает. И — молчит…

Что делать? Ну, думаю, профессионально-то, с правильными знаками препинания я эту историю (про старика) изложу. Авось, сойдет… Излагаю. Вроде даже снимаем. Посматриваю на Тито: он — молчит. Но вид такой, будто это его дизентерия мучает. Никого не обвиняет, не укоряет, мучается сам, но — мучается… Ах ты умница! Ах ты, золотко ты мое! Правильно ты мучаешься! Дрянь, ерунду я делаю… хоть и с верными знаками препинания.

Но что же? Что делать-то? Он — не скажет. Не знает. Не обвинит, но и не подскажет. Не знает, не поможет. И его обвинять не в чем. Надо что-то самому. Что??

Туда-сюда мозгами, в глубины своей не очень-то глубокой

эрудиции, информированности… Ну, действительно, дикость же — сына-то родного убивать… Но — за что убил? За измену. А ведь Тарас-то Бульба тоже убил родного сына. И за то же самое! А кто для нас Тарас Бульба? Возмущаемся мы его «дикостью»? Мы немеем перед ним, мы поражены, смяты, но о возмущении, о неприятии, об обвинении Тараса ни у кого никогда, мне кажется, и мысли не возникало. Дак вот… А что, если удивиться? Как при встрече с живым Тарасом Бульбой! Много ли и часто ли мы в жизни с подобным встречаемся? Среди горцев тоже, наверно, не каждый Хаджи Мурат, а тому сам Лев Толстой удивлялся…

Пробую удивиться (рассказывая-то про старика), где-то даже с примесью восторга… да нет, не восторга, потрясения… а может, и восхищения… С попыткой понять, постичь. Гляжу на Тито — прошла «дизентерия»! Доволен. Стало быть, нормально! Стало быть — туда.

А дальше это удивление, эта святая детская открытость Жилина, любопытство, интерес ко всему окружающему (как бы тяжело, как бы жестоко и несправедливо это «окружающее» к нему ни было!) — вот эта открытость и детское радостное удивление всему в мире стало стержнем, сквозной линией моего Жилина.

Первый побег. Еще вместе с Костылиным. Стерты, сбиты ноги — в опорках, потом босиком по камням; виснет веригами, гирями на ногах капризный, избалованный Костылин; смерть подстерегает за каждым углом (и подстерегла! Не смерть, так неволя. Которая, может, и хуже смерти…), а Жилин — радуется: оленя увидел! Живого! В природе, в «натуре»! На свободе! Ну как не ребенок?.. Чем опять же вызывает раздражение трезвого и «взрослого» Костылина.

И с Диной, и с другими жителями аула — все та же детская открытость, увлеченность, интерес, любопытство, страсть понять, узнать, научиться…

И ни Лев Николаевич не перечил мне в этой избранной мной трактовке образа и характера Жилина, ни Тито не возражал. Мы вообще изумительно дружно жили: Толстой, Тито и я… Не знаю, как Тито и Толстому, но мне жутко нравилось! Я был в восторге. Вот это и было счастье.

Днем мы работали, можно даже сказать, вкалывали. Как-то просыпаемся — я жил в номере с ассистентом режиссера Гурамом Мгеладзе, прелестным, остроумным, неунывающим человеком. Просыпаемся, еще и не рассвело путем, тело все ломит, не выспались, про выходные забыли давно: осень, «натура уходит», на полмесяца я задержал всю работу со своей дизентерией, не до выходных. А вставать неохота. А на работу неохота!..

— Гурам! — потягиваясь, балаболю я. — Ну ее в болото, не пойдем сегодня…

— Точно! Пока Луиса Корвалана не освободят! (Средства массовой информации тогда отчаянно боролись за свободу Луиса Корвалана…)

Стук в дверь, заглядывает директор картины Шота Васильевич (ему тоже досталось с моей дизентерией: чуть вся работа не сорвалась!..)

— Юра! Как себя чувствуешь? Готов? Пора!

— Я сегодня отказываюсь работать…

— Что случилось? — Шота Васильич в ужасе! — Неужели опять что-то?

— Пока Луиса Корвалана не освободят…

Взрыв облегченного счастливого ржания!.. И тут же бежит взбодрить этой шуткой Тито.

Ну разве не счастье? Взаимопонимание. Взаимосимпатия. Взаимодоверие. Взаимонадежность!..

А вечера я проводил в номере у Тито. Пили чай, разговаривали… О чем угодно: о жизни, о политике, об А.Д.Сахарове очень животрепещущей в те поры тема была: его не то выслали тогда уже, не то еще только клевали, собирались высылать… О чем угодно, но только не о работе: ни о предстоящей назавтра съемке, ни об общей «концепции» фильма, роли…Все это: и «концепция», и все прочее, касающееся непосредственно съемок, — все как-то вытекало и складывалось само из общего мироощущения, мировосприятия, взаимопонимания и «взаимопринимания» друг друга. И Толстой Лев Николаевич как-то исподволь, незримо, но присутствовал при всем этом. Мы перед ним не пресмыкались, не следовали рабски, слепо и беспрекословно каждой его букве и запятой, но дух его, чуткий, мудрый, ненасытно любопытный ненавязчиво, но неискоренимо присутствовал, жил с нами. Жил! Как добрый старый бесконечно почитаемый и уважаемый, но — товарищ. Не как ментор указующий и повелевающий, давящий и подавляющий, а как интеллигентный деликатный старший товарищ.

Спать я ложился уже у себя в номере с неизменным томиком Толстого. Это были и первые кавказские повести, и «Детство, «Отрочество» и «Юность», только не перечитывание «Кавказского пленника», которого я даже и не брал с собой в экспедицию. Книжки были замечательные, полные, 1929-го года издания (уважали, оказывается, большевики когда-то культуру), с широкими комментариями, не изуродованное, искромсанное почему-то издание 50-х годов.

Замечательно мне было и с Толстым, и с Тито. Где мне удобнее было сказать по-своему, я свободно менял и знак препинания, и даже букву — и ни Толстой, ни Тито не придирались к этому: удобней — и удобней, и — на здоровье! Тито находил у Толстого какие-то неточности в изображении кавказского быта, но — не раздражающие неточности, допустимые, не могущие отвратить от общего уважения и самой теплой дружеской любви к нему, к Толстому. Это был 1975 или 1976 год, «перестройкой», переосмыслением еще и не пахло тогда, и мне абсолютно искренне и убежденно казалось, что 71.Н.Толстой на деле исповедует и проводит коммунистическую, ленинскую национальную политику: не навязывание своих великодержавных указаний и установлений, а самый искренний, самый жгучий интерес и уважение к местным законам и обычаям (прямо детское святое любопытство моего Жилина!). И весь Кавказ, когда мы там работали, ненавидел усмирителя и — завоевателя А.П.Ермолова (хотя и героя 1812 года) и обожал. Лермонтова и Толстого.

Все как-то очень складно и славно было у нас… И казаки гребенские, местные, снимавшиеся у нас на бричке в обозе (с которыми Жилин отправлялся в отпуск, или даже в отставку, до пленения еще). Снимали форсирование этим обозом какой-то горной речушки, и я побеспокоился: может, здесь неудобно переходить, слишком круто выезжать, может в другом месте попробовать?

— Да что мы? Не казаки, что ли?! Оп! Оп-оп!! — И выехали!

Потом я их озвучивал. Уже в Тбилиси, на студии, на озвучании…

Очень благотворным для картины оказалось, что снимали ее именно кавказцы, именно «Грузия-фильм». Очень благотворны оказались их любовь и знание всей кавказской стороны этой истории. Ну а уж русская сторона — это было наше со Львом Николаевичем дело…

Воспоминания об этом бесконечны… Разве можно когда-нибудь устать и остановиться вспоминать счастье?

А лошади? Мой Звари (по-моему, так звали моего коня), хоть он мне и ребро сломал, уронив пару раз и раздробив в щепы деревянные ножны шашки, а саму шашку, правда, бутафорскую, не стальную, но железную, исковеркав и изуродовав… Но эта скорость! Этот полет! Он был флайером, мой Звари (в противоположность стайеру), на длинную дистанцию его не хватало, но на коротком отрезке он развивал какие-то прямо-таки космические скорости. Как-то снимали без меня, просто ноги скачущей лошади (моего Звари ноги), с операторской машины. И

водитель машины спросил меня, с какой скоростью ему ехать. Я быстренько в уме прикидываю: Борзов бегал стометровку за 10 с небольшим секунд, стало быть, 10 м/сек его скорость, стало быть в час, в 3600 сек можно преодолеть (если силенок хватит) 36 000 м, стало быть предельная скорость человека 36 км/час. «Ну лошадь, — говорю, — км 50–60…» И вспоминаю, как при шестидесятикилометровой скорости в открытой бортовой машине не то что слезы, чуть ли сами глаза не выхлестывало ветром… Поехали они, сняли, возвращаются: «Сколько ты говорил? 60? 120 — она не отставала!» Не знаю, какие там были у них спидометры, я при сем не присутствовал, но слова такие были сказаны…

А дружба народов!., при «толстовско-ленинской» национальной политике… Вылечили и подняли меня врачи-осетины. Снимали — грузины, а уж снимались… Там и аварцы, и даргинцы, и армяне, и азербайджанцы, и русские, и евреи, и грузины, конечно же — снимала ведь «Грузия-фильм».

Толстой. Кавказ. Люди, дружба… Взаимопонимание, взаимоуважение, взаимосимпатия. Искренняя, верная. Чего еще? Вот это и было счастье! Хотите — верьте, хотите — нет… И хотя кроме того, что мне сломали ребро, я вообще не чаял живым из этого дела выкрутиться, ей-богу. Во всяком случае, если бы физические силы (а вместе с ними и жизнь) иссякли до окончания съемок — я не удивился бы. Я был готов к этому. Таких ощущений и предвкушений не «дарила» мне ни одна из всех моих работ за все годы и десятилетия в кинематографе. А Звари мой, потом мне сказали, что он где-то сразу же после съемок… «скончался» о животных не говорят, а сказать «издох»— язык не поворачивается. Не выдержал Звари напряжения…

И тем не менее! Большего счастья, чем два с лишним месяца в ущелье Фиагдон и мотеле «Дарьял», с Толстым, Тито Калатозишвили и «Грузия-фильмом» — большего счастья в своей не такой уж короткой киносудьбе — большего счастья я, пожалуй, не вспомню. Да нет, было, конечно, бывало… отдельными проблесками, прорывами. Но чтобы два с лишним месяца сплошного творческого и человеческого счастья — такое было только на «Кавказском пленнике».

Ах, если бы…

Помните чудную ленинградскую песенку: «До-ождь по ас-фааль-ту ре-кою стру-и-ит-ся, до-ождь на Фон-тан-ке и дождь на Неве»? Когда «Мокнут прохожие, мокнет милиция, мокнут которое лето подряд»? Вы слышите? Он действительно струится! Льет широченной рекой по асфальту у тротуара, и по тротуару, и через площадь, заливаясь в ботинки нерасторопному прохожему, неловкой шалопутной девчонке в модные туфельки, а она не сердится, она смеется, потому что сердиться невозможно, даже если она где-нибудь в другой обстановке на это и способна. На него невозможно сердиться, на этот веселый теплый ласковый дождь, который «по асфальту рекою струится», мчит необъятным потоком, в котором несутся, прыгают, дробятся и возникают вновь вечерние огни старого мудрого и доброго города.

Но вы вряд ли знаете деревню Тимошкино. Тихая, славная деревенька стоит на высоком берегу над широкой заливной поймой, по дальнему краю которой течет в Москву-реку тоже тихая и славная речка Истра. До этой деревни не доходят московские автобусы (до автобуса 3 км, вниз, через пойму, через мосток в три жердины, который деревенские почему-то называют «лавой», каждую осень разбирают ее, эту «лаву», и каждую весну вскладчину наводят, весело, дружно, в воскресенье, намокнут в холодной весенней воде, а после захода солнца, когда работа готова, разводят на берегу костер, пьют водку, поют песни, а из деревни за «заработавшимися», загулявшими мужьями приходят с того берега, с горы, жены и, кто смеясь, кто ругаясь, уводят веселых мужей по домам). Так вот, через эту «лаву», через Истру, да еще три километра лесом до автобуса. В половодье и ледостав, когда лавы нет, а река уже тронулась или еще не замерзла, с автобусом много-много сложнее (а нужен он всем, почти из каждой семьи работают люди где-то не близко, все ходят на автобус, всем он необходим). С железной дороги сюда даже гудки не долетают. И только часто-часто, днем и ночью, идут над поймой Истры на Внуково и со Внукова самолеты, добрые могучие лайнеры, «Аны», «Илы», «Ту».

Волею судеб я попал в эту деревушку и работал там с конца зимы, с марта, до начала лета, до июня 1964 года.

А то, о чем я хочу рассказать, произошло весной.

В Москве ведь нет весны; в Москве вообще, по-моему, нет настоящих, полноценных времен года: все как-то сглажено, стушевано, уравнено асфальтом, снегоочистительными и поливочными машинами, исполнительными дворниками. Не

знаю. Может, я не прав. Может, я просто не люблю Москву. А, может, это одна из веских причин моей нелюбви к ней, к Москве? Не знаю.

Короче говоря, здесь в Тимошкине, впервые за последние годы я увидел весну. Настоящую, полную, радостную, поющую, хмельную и торжествующую! Хотя на самый разгул, на самый пир ее, когда с ревом по оврагам ушел снег в пойму и в Истру, когда вскрылась и прошла ледоходом сама Истра, — на этот пир я не попал, конечно, оказался в это время не нужен и просидел в Москве. И все равно я видел весну! Видел, как темнело, сырело по ночам небо, как набухал влагой снег, как густел, хмелел и начинал бродить воздух, пока наконец не сдавил землю в объятиях пьяный весенний туман, в безумных, жарких объятиях, вырваться из которых, отвергнуть которые было уже невозможно. После этих объятий могло быть только одно: взрыв, кульминация, великое таинство природы и жизни, торжество и победа любви, весны, то, что всегда в целомудренных книгах и кинокартинах обозначают паузой, точками, затемнением, выразительным умолчанием (именно эту паузу в созерцании великого таинства природы мне и устроило мое целомудренное начальство). Но я все равно догадался! Все равно все понял! Хотя вернулся числа 17–18-го апреля в совершенно иную, новую, незнакомую мне Истринскую долину, которая уже оттаяла, отогрелась и ожила. Зажила, задышала… Доверчиво и бездумно распахнулась теплу и ласке весеннего солнца, нежилась в его лучах и — дышала! Всем, что в ней было, каждым уголком своим, косяками трепетного прозрачного леса, всеми оврагами, изгибами и поворотами реки. Но и это еще не то, о чем я хочу рассказать.

Прошел первый дождь. Может, даже дожди. Не помню точно. Помню только, что это благодатное явление природы работу нам опять сорвало. Весь день мы самоистязались табачным дымом и преферансом. Часам к 4–5 пополудни, вконец разбитый и измученный, проигравшийся, «с досадой тайною обманутых надежд» отыграться, вылез я наконец на улицу. Вылез и… и не смог уже ни переживать по поводу своих недавних неудач, ни идти к себе на квартиру. Не смог даже на секунду зачем-то зайти в дом. Не смог!

Прошел дождь. Над головой еще бежали охвостья дождевой тучи, догоняли главные свои силы, ушедшие мрачным, темным, но теперь уже не страшным стадом куда-то за Тимошкино, на восток, а из-под этих остатков облаков ударило уже сваливающееся к закату, но все еще сильное и яркое солнце. Но главное — был воздух! Он был настолько вкусен, настолько свеж, столько в нем, как в сказочной живой воде, казалось, таилось

силы и какой-то звенящей бодрости! В сказках эту воду отпускают склянками, кувшинами, с колоссальными трудностями и причем только самым наиизбраннейшим, а здесь — бесплатно, кому угодно, стена, целый океан! Не мог, не мог я даже на краткий миг оторваться (чтоб зайти зачем-то в дом) от этого живительного, могучего, целебного океана! И я пошел. Пошел, куда понесли меня ноги.

А понесли они меня за деревню, на бугор, и дальше вниз, с горы, в долину, к Истре, и через Истру, через «лаву», и куда-то без тропинки, без дороги в лес, в густые подводные заросли этого волшебного океана.

Как-то по радио я слышал передачу про Сицилию: «Солнечный остров!» «В Сицилии поют все…» — и я вдруг понял, как это возможно, чтоб «все пели»: чистый, просторный воздух, солнце, сверкающиее море, сверкающие звезды. И всегда чистый, свежий, певучий воздух! Там невозможно не петь. Я это вдруг ощутил, понял. Я это представляю себе. Вот такой же певучий воздух стоял после дождя в этом подмосковном лесу. Не петь было невозможно. Я шел и пел. Увертывался от капающих с веток и иголок за шиворот капель — и пел. Перепрыгивал через ямы, канавы, огибал лужи — и опять пел. Пел, пел и пел.

Наконец, напевшись, нажравшись (извините за выражение, но иного не могу применить), именно «нажравшись» последождевого воздуха и сделав порядочную петлю по лесу, выбрался я обратно к Истре и к «лаве». Посвежело, попрохладнело. Солнце садилось. Я взошел на мостик, на «лаву» эту, и остановился. По Истре и низкому болотистому прибрежью, по кустам ивняка валил на меня низкий туман, над ним холодала и гасла заря, а надо всем этим — хирургически чистая, сверкающая, холодная голубизна апрельского вечернего неба.

Я не помню, сколько я стоял. Жалко, невозможно было уходить. Казалось что оставишь, потеряешь что-то такое, чего больше уже никогда жизнь не подарит тебе. Да если и подарит даже — все равно нельзя такой роскошью раскидываться! Нельзя было уходить.

И я стоял.

За лесом, в трех километрах, как я уже говорил, большая деревня, Степаньково, что ли, шоссе, приходят автобусы, какая-то больница, что-то вроде фабрики — в общем, там уже пахнет городом.

И вдруг, откуда-то оттуда, из той (а может, не совсем из той) стороны, откуда-то сбоку, из лесу до меня долетели обрывки чистого (опять «чистого»! но что поделаешь, если после этого дождя все было чистым: и небо, и воздух, и голос, и мысли?), —

долетели до меня обрывки чистого, как выполосканного дождем, правильного, очень светлого, очень приятного женского голоса: «… о-ождь по асфальту… коо-ю струи-ит на Фонтанке и до-ождь на Неве…»

Откуда это? Очень здорово поет! И очень к месту! Неужели из Степанькова слышно? (Что это радио, я ни секунды не сомневался, но откуда?). Нет, Степаньково все-таки далеко, все-таки три километра… А может, оттуда? Орет где-нибудь над автобусной остановкой репродуктор на столбе, а по вечернему воздуху и доносится… А может, кто-нибудь с транзистором по лесу гуляет?.. Близко где-нибудь… Все-таки три километра, пожалуй, трудно преодолеть, даже репродуктору. Так я гадал, стоя на мостках над Истрой и туманом, а голос все прорывался ко мне. Сперва только на самых высоких своих нотах, а потом полнее, целиком: «Д-ождь по ас-фааль-ту ре-коо-ю стру-и-ит-ся, до-ождь на Фон-таан-ке и доождь на Не-вее… Ви-жу род-ныы-е и мокрые ли-ца, га-а-лу-бо-глазые в боль-шин-ствее!.. Га-а-лу-бо-глаазые в боль-шин-стве».

Ай, как славно! Как хорошо вливается, вплетается песня органичнейшей, неотделимой, необходимейшей частью в эту тихую, светлую, но такую пронзительную и восторженную гармонию последождевого апрельского вечера!.. Будто только ее тут и не хватало…

…А она все всплывает и всплывает, песня-то! Из лесу. Все прыгает и прыгает по своим ленинградско-музыкальным камешкам, все струится и струится, как дождь по асфальту, и по Фонтанке, и по Неве… И все непонятно откуда!

И вдруг пропала. Нету. Тихо. Жду, ловлю ухом — нет.

Потом из лесу деловито вышла девчонка, девушка, лет 20–22, некрасивая, ширококостная, в каком-то сиреневом пальто. Очень тщательно перебралась по жердям через мокрое заболоченное место перед берегом, вышла к берегу, спустилась на «лаву», прошла мимо меня, сурово, не глядя, поднялась на другой берег и пошла к деревне, почти скрываясь в уже потемневшей долине. И скоро до меня опять долетело: «До-ождь по асфальту рекою струится…», уже отсюда, из нашей долины перед Тимошкином, которою шла сейчас девушка. А я все стоял…

Когда она вышла из лесу, я сразу понял, что это она, она пела (в этот вечер и на этом воздухе нельзя было не петь). И когда она проходила мимо меня по мостику, я уже знал это. И остался стоять. А она уже поднималась к деревне, и песня опять долетала до меня теперь только на самых высоких своих местах…

Нельзя сказать, чтоб мне так уж непременно хотелось бежать за ней, что-то предпринимать, заговаривать, заводить знакомство,

гнаться за чем-то, что могло бы стать хоть каким-то, не развитием, продолжением сюжета. Нельзя сказать, чтоб я пожалел: ах, мол, дурак, рано женился, гулять бы еще да гулять. Нет, ничего этого не было. Просто мне подумалось: «Ах, если б можно было начать жизнь сначала!..»

Тут же я вспомнил, что обычно под этим восклицанием подразумевают, ну, какое-то исправление, что ли, уже имеющейся жизни. Нет. Мне не хотелось ничего «исправлять», все было правильно, все было нормально в моей «имеющейся», сегодняшней жизни. Просто мне вдруг страстно захотелось иметь в запасе еще миллион жизней! Чтоб снова ничего не знать, снова ошибаться, разбивать морду в кровь, кусать губы или даже плакать от обиды, но и снова иметь право заговорить с девчонкой на мосту, побежать за песней. Снова впервые влюбиться (не просто снова влюбиться, а снова впервые влюбиться)! Снова мучиться, страдать, делать миллионы глупостей, ругать, презирать себя, считать ни на что не способным, рохлей, неудачником, разувериться вконец в какой-нибудь возможности для себя счастья, когда ОНА, почему-то, совершенно непонятно почему — вдруг перестает с тобой здороваться, вдруг, оказывается, любит другого, вдруг выходит замуж за другого. И вдруг снова *впервые* узнать, что ты, оказывается, тоже любим! Что она (пусть уже другая «она», но все равно она!), она, оказывается, о тебе мечтала, оказывается, в ее глазах ты был Гайаватой! Мартином Иденом! Черт-те еще кем! И для чего ты срочно (опять впервые!) читаешь и «Песнь о Гайавате», и «Мартина Идена», чтобы хоть иметь представление, откуда же ты, сам ты, робкий, глупый и неудачливый, как казалось, а на самом деле такой необыкновенный (не может же ОНА ошибаться!), откуда же ты, такой необыкновенный и загадочный взялся, получился.

Нет, для этого и двух, и десяти, и пятнадцати жизней мало. Нужен миллион. Бесконечность! Это никогда не может наскучить.

Ах, если б можно было сначала!..

notes

Примечания

1

В Англии, я слыхал, к 200-летию А.С. Пушкина кто-то полистал его да и изумился: «Послушайте! У вас же Пушкин еще в начале XIX в. говорил о ваших сегодняшних проблемах умнее всех ваших нынешних политиков!»

2

Все это вовсе не значит, что Солженицын с Сахаровым представляются мне безгрешными и всеправедными апостолами и пророками. Александр Исаич — замечательный писатель (меня особенно впечатлил «Случай на станции Кречетовка», но его озверелый, оголтелый антикоммунизм, извините, работает на программу… А.У Даллеса: чтобы произошла «трагедия гибели самого непокорного на земле народа», «мы будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности»(!). А Андрей Дмитриевич — гениальный физик и очень примитивный, заБОННЕРизованный политик. Разговор не о них, а о нас, о нашей потрясающей способности моментально переходить без каких-либо усилий, сомнений, робких возражений совести от восторгов и воспеваний к возмущениям и проклятиям и — наоборот.

3

Автор этого «прозрения» и «нового мышления» когда-то начинал с просоветских пронзительно-душевных «пионерских» фильмов, но с раскаянием как-то не спешит, просто вмиг «перестроился» — и все. А про личный могучий вклад в тот «ад», в ту «цивилизацию» — молчок.

4

В Заельцовском районе города Новосибирска я родился.

5

Вон когда это было: еще никакого Аэровокзала не было, было агентство Аэрофлота на площади Революции.

Ныне возвращенный церкви и недавно вновь освященный Патриархом храм Александра Невского.

7

Из справки, выданной Томским архивом: «Шарловский Стефан Игнатьевич состоял на службе в Томском округе п. с. (путей сообщения) в должности заведующего землечерпанием Тобольского плеса с 1.IX. 1912 г. по 1.III.1914 г., заведующего землечерпанием Томского плеса с 1 марта 1914 г. по 1 апреля 1919 г. и окружным инспектором судоходства с 1 апреля по 26 октября 1919 г.» (по день своей смерти. — *Ю.Н.)*.

8

Вариант: Онегин — лишняя фигура

9

Это из тех «перлов» народной мудрости и острословия, которые мы с Лихоносовым истово и неукоснительно собирали, а частенько и пользовались ими в общении между собой.

10

Названия политической полиции и контрразведки во Франции, Англии, Польше и Румынии. Маяковский только 4 упомянул (Франция, Англия, Польша, Румыния), а я слыхал, что их 14 было! Бывших союзников России! Из «Антанты» (от *фр.* «Entente cordiale» — «Согласие сердечное)! Вон сколько доброхотов «согласно и сердечно» заботилось, чтоб большевизм — а заодно и вся Россия! — не победили, но выжили…

11

Это про поволжский голод, который и Савинков поминает…

12

И как замечательно воспользовались победители этими же «преступными и противозаконными» методами всего через 2 года! Гораздо «убедительнее» гэкачепистов: и Белый дом пылал, и трупы — не 3 задавленных, а ночами на баржах вывозили куда-то…